
ЙЕНС КРИСТИАН ГРЁНДАЛЬ
МОЛЧАНИЕ В ОКТЯБРЕ

Молчание в октябре
Йенс Кристиан Грёндаль

Аннотация
Йенс Кристиан Грёндаль. Молчание в октябре
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Аннотация

Йенс Кристиан Грёндаль — один из самых популярных писателей современной Дании. Его книги издаются как в Европе, так и в Америке.

Роман «Молчание в октябре» посвящен сложным человеческим взаимоотношениям, рисуя которые автор проявляет тонкую наблюдательность, философичность и изящество. Непростая история, связавшая так непохожих друг на друга персонажей, превращает действие романа в нервную интригу и держит читателя в напряжении до последних страниц.

Йенс Кристиан Грёндаль
Молчание в октябре

1

Астрид стоит у поручней, спиной к городу. Порыв ветра вскинул ее волосы над головой темно-каштановым бахромчатым флагом. На ней солнцезащитные очки, она улыбается. Ее белоснежные зубы удивительно гармонируют с белым городом у нее за спиной. Этому снимку уже семь лет, я сделал его на исходе дня, на одном из тех небольших паромов, которые курсируют через Тежу до Касильяша. Лишь глядя на Лиссабон издали, начинаешь понимать, почему его называют белым городом. Краски дня блекнут, и облитые глянцем изразцы на фасадах домов сливаются воедино в отблесках солнца. Низкие закатные лучи горизонтально падают на дальние дома, высящиеся друг над другом на Праса-ду-Комерсиу, на горных склонах Байру-Алту и Алфама по другую сторону реки.

Прошел уже месяц с тех пор, как она уехала. Я ничего о ней не знаю. Единственный ее след — это получаемые мною выписки из банка, отражающие расход денег на нашем общем счете. В Париже она взяла напрокат машину, а после

этого пользовалась кредитной карточкой на пути к Лиссабону через Бордо, Сан-Себастьян, Сантьяго-де-Компостела, Порту и Коимбру. Тот же маршрут, каким мы ехали в ту осень. Семнадцатого октября она сняла крупную сумму в Лиссабоне, и после этого карточкой больше не пользовалась. Я не знаю, где она. Я не могу этого знать. Мне сорок четыре года, а между тем я знаю меньше, чем когда-либо. Когда я был моложе, мне казалось, что с годами мои знания будут расти и шириться, подобно расширяющейся Вселенной. Все шире будет область моих познаний, и соответственно будут уменьшаться и сужаться пределы моего незнания. Поистине я был не в меру оптимистичен. Теперь, по прошествии времени, я должен признать, что знаю примерно столько же, а может быть, даже чуть меньше, чем прежде, да и былой уверенности во мне поубавилось. Мой так называемый жизненный опыт — это отнюдь не то же самое, что знание. Он лишь не более чем глухой и слабый отголосок моего несовершенного знания. Он точно обширный вакуум, в сердцевине которого тупо и бессмысленно колотится крошечный сгусток моего знания, подобно ссохшемуся ядру в скорлупе ореха. Мой опыт — это опыт беспредельности моего незнания, его

бездонности и понимания того, сколь многое мне еще неведомо и сколь много кажущегося в моих познаниях.

Однажды в начале октября Астрид сообщила, что намеревается уехать. Она стояла в ванной комнате над раковиной и подкрашивала губы, обратив лицо к своему отражению в зеркале. Она была уже одета, со своей обычной элегантностью и как всегда во что-то темно-синее. В ее элегантности есть какая-то сдержанность и скромность. Ее любимые цвета — темно-синий, черный и белый, и она никогда не носит туфель на высоком каблуке. Ей этого не нужно.

Сообщив о своем отъезде, Астрид поймала в зеркале мой взгляд, словно ожидая моей реакции. Она всегда красива, но особенно красивой она бывает тогда, когда мне снова, уже в который раз, становится ясно, что я не в состоянии отгадать ее мысли.

Меня всегда восхищала симметричность ее лица. Симметричные лица встречаются вовсе не так уж часто, как можно подумать. Нос чуть набок, родинка или шрам на щеке делают одну сторону лица не похожей на другую. У Астрид обе стороны лица являют собою зеркальное отражение друг друга. Их разделяет прямой нос, образующий в

профиль безупречно закругленную линию. Есть нечто заносчивое и изысканное в прямом носике Астрид. Глаза у нее зеленые, узкие, необычно широко расставленные, гораздо шире, чем у других. Скулы у нее широкие, а подбородок четко очерчен и слегка выдается вперед. Губы у Астрид пухлые и почти такие же розовые, как ее кожа. Когда она улыбается, они изгибаются чуть лукаво и понимающе, а намечающиеся морщинки веерообразными лучиками собираются вокруг глаз и уголков рта. Улыбается она часто, даже тогда, когда, казалось бы, и улыбаться-то нечему. Когда Астрид улыбается, то трудно бывает угадать ее интеллект в той непосредственности, с какой она воспринимает окружающую действительность, словно кожей ощущая температуру воздуха, солнечное тепло, прохладу тени, и создается впечатление, будто она всегда хотела быть именно в том месте, где сейчас находится, и нигде больше.

Годы стали исподволь сказываться на ее фигуре, но она все еще стройна и держится прямо, хотя прошло уже восемнадцать лет с тех пор, как она родила своего второго ребенка. И движения ее по-прежнему исполнены той же непринужденной легкости и гибкости, как в тот год, когда мы впервые встретились друг с другом.

Я бы давно уже начал ее разыскивать, если бы не получал выписки из банковского счета со следами ее перемещений. Впрочем, насколько я понимаю, она не хочет, чтобы ее разыскивали. Я спросил ее, куда она собирается ехать. Она ответила, что пока не знает. Она постояла немного перед зеркалом, все еще ожидая моей реакции. Но я ничего не сказал, и она вышла из ванной. Я мог слышать ее голос из гостиной, она говорила по телефону, но слов разобрать я не мог. Голос ее звучит расслабленно, с некоторой ленцой, а порою чуть надтреснуто, и создается впечатление, будто она слегка охрипла. Вскоре я услышал, как хлопнула дверь.

Стоя под душем, я увидел самолет, похожий в лучах утреннего солнца на светящуюся точку, движущуюся в небе между брандмауэром и крышей дома в глубине двора. Мне приходилось то и дело вытирать запотевшее зеркало, чтобы мое изображение не исчезало в мутной пелене, покуда я намыливал щеки кремом для бритья. В зеркале меня встречает все тот же недоверчивый взгляд, как будто человек в глубине его, с белой мыльной пеной на лице, хочет сказать мне, что он вовсе не тот, за кого я его принимаю. Он похож на печального и усталого рождественского Деда

Мороза, этот человек в зеркале, обрамленном плитками португальского кафеля, образующими фриз из орнамента глянцевых синих стеблей растений. Астрид откопала эти кафельные плитки где-то в окутанной туманом деревушке близ Синтры, на которую мы наткнулись, проезжая по горной дороге сквозь тоннели буйной зелени. Я проклинал все на свете из-за того, что мои ботинки были выпачканы в грязи, а она между тем придирчиво, не зная на что решиться, изучала орнаменты на синих плитках, словно для нее это было невесть как важно. У меня першило в горле от доморощенного деревенского вина, которым попотчевал меня крестьянин в куртке, вывалянной в соломе, нацедив его из бочки, стоявшей на запряженной осликом тележке. Ночью мы любили друг друга в синем отеле, и листья, парусники и птицы на гладких стенах придавали приглушенным стонам Астрид таинственное звучание, делая ее одновременно и далекой, и близкой.

Когда я наконец вышел из ванной, ее уже не было. В квартире стояла тишина. Роза почти совсем переселилась к своему новому возлюбленному, а Симон раскатывает на своем мотоцикле где-то в Сардинии. Недалеко то время, когда мы с Астрид останемся совсем одни. Мы не так уж

часто говорили об этом, вероятно, потому, что никто из нас не вполне представляет себе, что с нами будет в этом случае. В доме наступила непривычная тишина, и мы оба двигались в ней с новой, непривычной осторожностью. Прежде мы наслаждались свободой, когда дети по той или иной причине не бывали дома. Теперь же комнаты нашей опустевшей квартиры превратились в пространство, которое нам предстояло либо преодолеть на пути друг к другу, либо позволить ему разъединить нас.

Исчез целый мир звуков. Звуков, производимых другими и производимых мною. Они окружали меня из года в год, точно главные и второстепенные темы и вариации. Симфония из шагов и голосов, смеха, плача и возгласов. Какая-то бесконечная музыка, которая никогда не звучала однообразно и тем не менее из года в год оставалась все той же, потому что музыка, которую я слышал и помнил, воспроизводилась не инструментами. Это были звуки нашей совместной семейной жизни.

Наша жизнь, повторяющая себя изо дня в день и в то же время изменяющаяся от года к году. Жизнь, состоявшая из бессонных ночей, вонючих детских пеленок, трехколесных велосипедов, ска-

зок на ночь, бдений в приемных покоях больниц, дней рождения детей, деловых поездок, рождественских елок, влажных купальных простынок, любовных писем, футбольных матчей, восторгов и скуки, ссор и примирений. В течение многих лет он все ширился, этот суетный, хаотичный многоголосый мир, пока не заполнил собою все вокруг. Он простерся между нами со всеми своими хлопотами, делами, замыслами, планами и со всей своей повседневностью. А мы с Астрид стояли, каждый на своей стороне этого нашего нового мира, и в течение долгих отрезков времени могли лишь кивать друг другу и делать друг другу знаки сквозь весь этот шум и гам.

Вечерами, когда все дела были переделаны, мы, обессиленные, опускались на диван перед телевизором и устремляли взгляд на экран с его последними новостями, шоу-викторинами, старыми фильмами, и хотя ни один из нас не решался высказать своих мыслей вслух, но я уверен, что она, так же как и я, спрашивала себя, не заслоняют ли от нас все эти дела и обязанности, все эти нужные и в то же время бессмысленные хлопоты житейской рутины того, что должно было придавать всему этому смысл. Лишь много позднее мне иногда приходило на ум, что

смысл этот, быть может, следует искать не в тех отдельных, отбираемых мгновениях, которые я запечатлевал на пленке, вклеивая затем фотографии в толстый альбом — хронику нашей семьи.

Смысл, скорее всего, коренился именно в этих повторяющихся тривиальностях, в самом повторении ритма нашей жизни, в его заданности. И лишь в потоке происходящего я мог вдруг ощутить этот смысл по внезапной мимолетной легкости, разливавшейся по всему телу в тот момент когда я, пошатываясь от усталости, застывал на полпути от стола к посудомоечной машине с очередной грязной тарелкой в руках, прислушиваясь к смеху детей в глубине квартиры. Именно в такие отдельные, случайные секунды мне иногда приходило на ум, что как раз сейчас, между дневными и вечерними повторяющимися словами и хлопотами, я нахожусь в самой гуще того, что стало моей жизнью, и никогда я не буду к ней ближе.

Я понял это лишь в той тишине и пустоте, которая образовалась после того, как Симон и Роза мало-помалу отдалились от нас. Звуки в квартире больше не были музыкой, создаваемой многоголосым звучанием инструментов. Они возникали из глубины безмолвия, точно робкие сигналы,

когда я во время бритья в ванной открывал кран с горячей водой и слышал ее отклик из кухни в гудении соковыжималки, свистке чайника или долгих вздохах кофеварки. Теперь, когда в доме наступила тишина, мы подчас не знали, о чем говорить. Просыпаясь по утрам в постели рядом с ней, я разглядывал ее лицо, повернутое во сне ко мне и к первым проблескам дня. Я смотрел на нее, спящую, и видел, что ее лицо утратило свое обычное выражение, то, к которому я привык. Не было в нем той изменчивой мимики, той смены настроений, которые были мне столь хорошо знакомы, и лицо казалось чужим, непривычным, непохожим на то, которое я видел перед собой так много лет подряд. Я знал ее такой, какой видел в течение тысяч дней и ночей, проведенных вместе. Но какова она наедине с собой? Прежде мы могли ссориться по пустякам из-за того, что кому следует сделать, или оттого, что кто-то из нас чего-то не сделал. Теперь мы вдруг стали сдержанными и предупредительными друг с другом. Даже в постели мы теперь сближались с осторожной, неуверенной нежностью. Это было уже не то усталое, лениво-привычное, полусонное сближение; не было больше и той внезапно вспыхивавшей неуемной страсти, которая вдруг

овладевала нами после того, как мы укладывали детей спать и старались сдерживать стоны и вскрики, чтобы не разбудить их. Это было все равно, что встретиться снова, как будто мы были слегка озадачены тем, что это на самом деле мы, что мы еще здесь. Мы прожили вместе восемнадцать лет, Симону было всего шесть, когда мы встретились. И за все эти годы мы были наедине всего каких-нибудь несколько дней, или самое большее неделю, если не считать того октября семь лет назад, когда мы ехали через Ланды, Астурию, Галицию и Траз-уш-Монтиш.

Днем позже Астрид уехала. Если бы она все еще была дома, когда я наконец вышел из ванной, я спросил бы ее, почему она уезжает. Но она уже ушла. Когда же вечером она вернулась с работы домой и мы сели на кухне ужинать, как делали это обычно в отсутствие детей, было уже вроде бы и не ко времени спрашивать об этом. Есть вопросы, которые следует задавать в нужное время, и порой такой шанс выпадает только однажды. Не спросил вовремя — и шанс упущен. Когда я подавал на стол ужин и наливал вино ей в бокал, ее предполагаемый отъезд стал как бы уже признанным фактом, хотя она еще даже не собрала чемодан, и быть может, в самом

деле не знала, куда поедет. Мысль об ее отъезде, не покидавшая меня весь этот день, вызвала к жизни так много новых вопросов, что вопрос о том, почему она уезжает, оказался бы чересчур сложным и опасным. Я не мог бы задать его без того, чтобы все другие вопросы не высунули свои смущенные, заалевшие рожицы в наступившей вслед за этим тишине. По той или иной причине я был уверен, что, если я задам ей этот вопрос, ответом мне будет молчание. И к тому же я не хотел дать ей заметить, что фраза об отъезде, которую она обронила, пока завинчивала крышку на тюбике помады и бросала на себя последний взгляд в зеркало, помешала мне написать больше, чем полстранички статьи о Сезанне, которую я должен был начать еще неделю назад и, как мне казалось, продумал уже до мельчайших деталей. Мне вовсе не хотелось показаться ей встревоженным, испуганным юнцом или ревнивым параноиком. Мы ведь, как теперь принято говорить, взрослые люди. Не исключено и то, что беспокойство, владевшее мною весь этот день, пока я сидел за письменным столом, тщетно пытаясь сосредоточиться, было ничем не обосновано. Собственно говоря, что необычного в том, что ей захотелось немного побыть одной, разве-

яться, набраться новых впечатлений, особенно теперь, когда чувство ответственности за семью больше не связывает нас, когда мы попросту освободились от него и полностью предоставлены самим себе и друг другу?

Во второй половине дня она позвонила мне из монтажной и сказала, что придет домой попозже. Я мог слышать болтовню, доносившуюся из динамика, похожую на неестественные голоса мультипликационных фильмов, которая обычно сопровождает ее работу, когда она быстро прокручивает кадры на монтажном столе.

Положив трубку, я стал снова и снова, реплику за репликой, мысленно воспроизводить наш телефонный разговор, пытаясь уловить хоть что-то не привычное в ее интонации. Но каждое слово Астрид звучало естественно и непринужденно. Она говорила как всегда, ни холоднее, ни ласковее, чем обычно. А когда мы позднее сидели в кухне, между нами также не происходило ничего такого, что отличало бы этот вечер от множества других. Я ждал, пока она сама заговорит о предстоящем отъезде, но она, казалось, совсем о нем забыла. А может, она просто ждала, когда я прерву ее? Астрид говорила о фильме, который они как раз сегодня закончили монтировать, и со

своей обычной иронической усмешкой рассказывала о молодом режиссере, крайне серьезном и нервном субъекте, который с отчаянием смотрел, как наиболее дорогие ему отснятые кадры превращаются в рулон из обрезков киноленты. Ее работа была в известном смысле незаметной. Ей предстояло слепить историю из разрозненных эпизодов, которые режиссеры клали на ее монтажный стол, и связать их воедино она могла, лишь отсекая все лишнее. Таковы, в сущности, многие истории, и моя в том числе. Я не могу включить в нее абсолютно все. Мне приходится делать отбор между картинами прошлого, чтобы придать повествованию связность, так что моя история наверняка будет отличаться от той, какую могла бы рассказать Астрид, хотя речь в ней шла бы об одном и том же. Пока она говорила, я отмечал про себя малейшие изменения в ее лице. Оно было таким же, как всегда. На протяжении многих лет я следил за ним, замечая, правда, с большими интервалами, то появление седого волоса, которого я не видел раньше, то морщинку, которая обозначилась резче. Но в остальном оно оставалось таким же. Те же глаза встречали мой взгляд, что бы ни происходило между нами, те же уста отвечали мне, о чем бы мы ни говорили друг

другу, чтобы впоследствии помнить этот разговор или навсегда забыть о нем. Позже я лежал без сна, пытаясь воссоздать в памяти минувшие недели и месяцы. Я пробовал вспомнить выражение ее лица, его мимику, какой-нибудь жест или замечание, которые помогли бы мне разгадать то, что, возможно, вовсе и не было загадкой. Но либо никаких изменений не было, либо я их не заметил. Неужто я стал таким невнимательным? Возможно. Я плохо помню минувшие дни, они похожи один на другой, сливаются воедино, и остается лишь бездонный колодец минувшего, в котором ежедневно отражается все то же небо. Каждый день происходило примерно одно и то же.

По утрам она уходила, а я усаживался за свой письменный стол и, бросая взгляд в окно, видел длинный ряд деревьев вдоль озера, которые постепенно и незаметно, день за днем, из колеблющейся стены зелени превращались в частокол оголенных, искривленных ветвей с остатками увядшей листвы над неподвижной, тускло поблескивающей водой. Она приходила домой и ложилась на диван, а я тем временем готовил еду. Потом мы ужинали, смотрели телевизор или читали, шли спать. Единственным непривычным

новшеством в последнее время стала тишина, наступившая после того, как уехал Симон, а визиты Розы становились все более редкими. Новым было ощущение, будто мы обмениваемся репликами скорее для того, чтобы нарушить эту тишину, а вовсе не для того, чтобы продолжать разматывать свиток нашей жизни.

Не однажды я останавливался на полпути из одной комнаты в другую и смотрел на Астрид через приоткрытую дверь. Она сидела на диване, поджав под себя ноги, и читала газету, машинально царапая ногтем диванную обивку, или стояла у окна, глядя на фасады домов по другую сторону озера, точно увидев или ожидая увидеть там нечто необычное. В такие минуты, когда я украдкой смотрел на нее, ушедшую в себя, поглощенную каким-то видением или мыслью, она могла вдруг оторваться от книги или от окна и встретить мой взгляд, точно ощутив его на своем лице подобно легкому касанию, и тогда я спешил произнести какую-нибудь фразу, житейскую, пустяковую, только чтобы упредить ее невысказанный вопрос.

Я лежал, прислушиваясь к ее спокойному дыханию и отдаленным звукам мчавшихся по набережной автомобилей. Мне казалось, что

она уснула, вдруг я услыхал в темноте ее голос. Должно быть, ее удивило то, что я ни о чем не спросил, когда мы сидели в кухне за ужином. А может, Астрид ожидала, что я попытаюсь отговорить ее от поездки? Она продолжала лежать, повернувшись ко мне спиной, голос ее звучал спокойно и трезво. Возможно, ее не будет дома некоторое время. Как долго? Этого она не знает. Я положил руку на ее бедро под периной, она не шевельнулась. Гладя ее по бедру, я подумал о том, что мой вопрос прозвучал так, будто мне ясно, о чем идет речь. Я спросил ее, едет ли она одна, но Астрид не ответила. Наверное, уже уснула.

Когда я наутро открыл глаза, то увидел, что жена стоит в дверях спальни и смотрит на меня. Она была уже в пальто. Я встал с кровати и подошел к ней. Она продолжала разглядывать меня, точно пыталась прочесть на моем лице нечто, чего я и сам не подозревал. Потом наклонилась и подняла с пола чемодан. Я проводил ее до входной двери и смотрел ей вслед, пока она спускалась по лестнице. Она ни разу не обернулась.

Я не мог понять сам себя. Я не понимал, как я мог позволить ей уехать, не потребовав какого-либо мало-мальски разумного объяснения. Разумеется, я не имел права требовать от нее ответа на все

мои робкие вопросы. Права, которые мы могли предъявлять друг другу, постепенно отпали после того, как дети перестали в нас нуждаться. Задать ей все эти вопросы, а там бы пусть сама решала, отвечать ей на них или нет. Она сообщила о своем решении уехать, стоя перед зеркалом в ванной, и сказала об этом таким небрежным и будничным тоном, словно речь шла о посещении кинотеатра или о визите к подруге. И я позволил сбить себя с толку этим ее безапелляционным тоном. А позднее, когда мы лежали в постели и мне показалось, что она уснула, Астрид вдруг заговорила столь отчужденно, что мне почудилось, будто она уже не здесь, что она уехала и звонит мне откуда-то с другого конца земли. Своим холодным, не терпящим возражений тоном она как бы давала мне понять, что ее лучше оставить в покое. Но с другой стороны, не исключено, что ее реплика была своеобразным приглашением к разговору. Приглашением, которым я не воспользовался. Только сейчас, когда было уже слишком поздно, осенила меня эта мысль. Бывало, мне зачастую приходилось буквально вытягивать из нее слова, особенно когда ее молчание и отчужденный взгляд свидетельствовали о том, что что-то не так, что она чем-то обижена или раздосадована.

Это стало уже почти привычным ритуалом, привилегией, к которой я ее приучил. И я знал свою роль в этом представлении, наизусть усвоил тон и мимику, с которыми я бормотал какие-то слова, вымаливая у нее прощение, сидя на краешке стула и склонившись к ее обращенной ко мне спине. И тот миг, когда она стояла в дверях спальни, ожидая моего пробуждения, и в тот долгий миг, когда мы стояли друг против друга, она в пальто, а я в пижаме, она, вероятно, давала мне последнюю возможность выразить каким-то образом протест, попытаться удержать ее, обрушить на нее свою тревогу и жалящую ревность. Но я был словно парализован ее неподвижным взглядом, устремленным на мое лицо. Не знаю почему, но я был уверен, что все было бы напрасно. Я ощутил это, встретив ее задумчивый взгляд, который, казалось, взирал на меня откуда-то из далекого и недосягаемого для меня места.

Я сидел за кухонным столом перед чашкой кофе, погруженный в размышления, разглядывая, по своему обыкновению, кирпичи брандмауэра в доме напротив, и исподволь мной овладела мысль, которую я старательно гнал от себя все эти минувшие сутки. Как всегда, я разглядывал красновато-бурые кирпичи на стене противопо-

ложного дома, в то время как она, вероятно, уже сидела в самолете или поезде, и спрашивал себя, есть ли кто-нибудь рядом с ней в салоне самолета или купе поезда. А может, на самом деле она сидит сейчас в чужом автомобиле бок о бок с посторонним для нее шофером и катит где-нибудь по шоссе к югу от города. Я успокаивал себя тем, что Астрид сказала бы мне, будь у нее любовник, не говоря уже о том, что само слово это рассмешило бы нас обоих. К тому же в этом случае она наверняка постаралась бы придумать какую-нибудь правдоподобную причину своего отъезда. Насколько я знал, она никогда мне не изменяла. Насколько я знал! Во всяком случае я никогда не ревновал ее, хотя само по себе это, разумеется, не говорило ни о чем, кроме моей собственной самонадеянности. Но если у нее и впрямь были любовные связи за те восемнадцать лет, что мы прожили вместе, то она, выходит, была куда более искусной и хладнокровной обманщицей, чем я мог себе представить. Сколь непостижимо она умела молчать, когда я пытался заставить ее открыться мне, сказать, что ее обидело или задело, столь же плохо она была способна скрывать свои эмоции, чувства и настроение. Но мысль о том, что помимо нашей совместной жизни у нее могла

быть своя, тайная, жизнь, почему-то нисколько не пугала меня. Напротив, в ней была какая-то своя прелесть, поскольку это отбрасывало тень загадки на то, что годами казалось мне ясным и устоявшимся.

В связи с моей работой я, как правило, уезжал из дому по нескольку раз в год, и у нее на самом деле была масса возможностей пускаться в любовные приключения. Быть может, ее бурная радость при моем возвращении, когда мы любили друг друга столь же неистово, как в первые годы, была своего рода компенсацией; быть может, ее страсть, вспыхивавшая всякий раз с новой силой, была не более чем дымовой завесой или укорами нечистой совести? Я пытался представить ее себе в постели с другим мужчиной. Я видел ее распухшее, покрасневшее лицо, метавшееся из стороны в сторону, видел чужое тело, прильнувшее к ней между ее колен, я, казалось, видел воочию этого человека. Много лет назад, вскоре после того, как мы стали жить вместе, Астрид мне как-то сказала, что если я когда-нибудь изменю ей, то она просила бы, чтобы это случилось не в нашей супружеской постели. И я был уверен, что сама она также станет придерживаться этого правила, хотя, как уже сказано, я никогда не подозревал,

что когда-нибудь до этого может дойти. Я видел ее лежащей в незнакомой комнате, представлял себе мебель, картины на стенах, вид на улицу сквозь спущенные жалюзи в некой части города. Но я не мог представить себе черты чужого мужчины. И вдруг я понял, что упивание ревностью заведет меня в тупик, увлечет в западню. Как бы там ни было, но наша совместная жизнь была слишком долгой для того, чтобы случайная любовная связь могла ее разрушить, и потом, Астрид едва ли всерьез думала, что ни разу в жизни не ляжет в постель ни с кем другим, кроме меня. Это было абсурдно, так что даже если у нее и впрямь завелся любовник, то меня это не должно было волновать, поскольку в наших отношениях супругов это ничего изменить не может.

Но ведь именно возможность катастрофических перемен и встревожила меня тогда, минувшим днем, а затем ночью в темной спальне, но более всего — ранним утром, когда она, стоя в дверях молча разглядывала меня, поднимая с пола упакованный чемодан. Во мне возникло опасение, что этот ее внезапный и необъяснимый отъезд, был ли он связан с тайным любовником или нет, может перевернуть всю нашу жизнь.

Я поставил грязную чашку в моечную машину

и отправился в свой кабинет, пытаясь внушить себе, что отныне мне придется пробовать жить со всеми этими оставшимися без ответа вопросами, научиться жить в неведении, во всяком случае какое-то время, и не стоит заполнять пробелы в моем знании красочными фантазиями. Это, вероятно, будет длиться неопределенно долго. Вот, в сущности, и все, что я знал, все, что она мне сообщила. По мере того как неделя шла за неделей, а она не подавала о себе вестей, я все яснее стал понимать, что ее слова были не каким-то там предупреждением, а, скорее всего, попыткой успокоить меня. Она, должно быть, с самого начала знала, куда направляется, а о своем отъезде сообщила мне всего лишь для того, чтобы я не терял головы и не вздумал разыскивать ее с полицией. Куда же она все-таки отправилась? Смогу ли я совладать с этим чувством тревожного неведения?

Я машинально перебирал свои заметки, следя за бороздками на поверхности озера, оставляемыми утками, плывущими взад и вперед; за быстро бегущими фигурками, которые то появлялись, то пропадали, скрытые темными стволами деревьев вдоль набережной. И вдруг мне показалось, что мне уже больше нечего сказать о Сезанне. В

сущности, другие уже наверняка и без меня сказали о нем все, что было можно. Я рассчитывал закончить статью и сдать ее в редакцию до того, как уеду в Нью-Йорк, но до отъезда оставалось меньше недели, а я не написал еще и половины. Поездка была запланирована за много недель вперед. В последние годы я написал несколько статей об американских художниках, а в музее Уитни должна была открыться ретроспектива картин Эдварда Хоппера, которую мне непременно надо было осмотреть.

Но теперь я не знал, поеду ли туда вообще. Внезапный отъезд Астрид точно парализовал меня. Я не мог думать ни о чем, кроме этого ее необъяснимого отъезда и столь же необъяснимой решимости, которую прочел в ее лице, когда она перед уходом из дому разглядывала меня, стоя в дверях спальни. Я чувствовал себя так, будто меня просвечивают рентгеном, когда стоял под ее пристальным взглядом, еще не совсем очнувшись от сна, не в силах вымолвить ни слова, в измятой пижаме. Но я не имел ни малейшего представления о том, что она видит, пронизывая меня взглядом, который, в свою очередь, невозможно было ни понять, ни объяснить.

У меня было такое чувство, будто ее взгляд

на несколько секунд проник в некое потайное святилище внутри меня, о котором я и сам не подозревал. То ли оно слишком долго пребывало во тьме и забвении, то ли она в этот миг увидела во мне то о чем я сам не имел понятия.

Я не мог подобрать слов, чтобы уяснить себе этот ее взгляд. Это был взгляд за гранью выразимого словами, и уже тогда, когда она спускалась по лестнице, а я сидел, прислушиваясь к ее удалявшимся шагам, я знал, что буду постоянно возвращаться мыслями к тем мгновениям, когда мы молча стояли друг против друга на пороге комнаты, в которой спали бок о бок так много лет. Но я знал также и то, что она не станет торопиться обратно только потому, что я никуда из-за этого не поеду и буду сидеть дома, сторожа ее отсутствие. Стану ли я кружить по квартире или бродить по Манхэттену, все равно ее взгляд с порога спальни будет повсюду преследовать меня.

Я попытался сосредоточиться и вновь обратиться мыслями к Сезанну. Мои разрозненные импровизированные заметки вдруг показались мне такими выспренними и никчемными! Одна из них представляла собою наблюдение, сделанное много лет назад. Я никогда толком не знал, что мне с ним делать, потому что оно вносило

отвлекающий элемент психологии в мои чисто эстетические рассуждения о художественном методе Сезанна. Заметка эта касалась одной из его картин, изображавшей купальщиц. В сущности, женщины уже не купались. Они вышли на берег из воды и стояли либо лежали в траве, нагие, пышнотелые, безмятежные в своей тяжеловесной чувственности, открытые взгляду, переходящему от их тел к окружающим их деревьям с густой листвой, так, что их кожа, кора деревьев, листья, вода и световые блики на ней создавали круговорот красок, апофеоз контрастов. А позади женщин, находящихся на переднем плане картины, можно видеть реку и далекий противоположный берег. И вот там, на том берегу, в центре картины, Сезанн поместил две едва различимые фигурки, почти незаметные глазу в туманном отдалении, — человека на берегу реки и пса, усевшегося рядом с ним. Он стоит слишком далеко для того, чтобы можно было разглядеть его лицо, но нет никакого сомнения в том, что смотрит он на противоположный берег, оказываясь лицом к лицу со зрителем, находящимся по другую сторону картины, и смотрит он, само собою, на женщин. Это их ничем не прикрытую наготу украдкой разглядывает он, стоя

рядом с сидящим псом. Маленький, едва различимый человечек в глубине картины зеркально отражает взгляд зрителя, и от этого тот, стоя в тишине музейного зала, на какой-то миг ощущает едва уловимое, необъяснимое чувство стыда, как будто взгляд, который, не делая различий между женской плотью и растительностью, блуждает по многообразию красок, словно этот пассивный и бесстрастный взгляд одновременно является рукой, которая украдкой, ханжески прикасается к груди и бедрам ничего не подозревающих женщин.

Услышав телефонный звонок, я был в полной уверенности, что это Астрид. Но это была Роза, которая позвонила, чтобы осведомиться, к какому часу им приходить. Я совершенно забыл о том, что на прошлой неделе мы пригласили дочь и ее возлюбленного на обед. Она говорила, как воспитанная светская дама, которая старается приехать точно в назначенный час, а не как та капризная, нетерпеливая девчушка, которую я, по очереди с ее матерью, кормил кашей с молоком, сосисками, а иногда какими-нибудь экзотическими индонезийскими блюдами.

Я попытался написать несколько страниц о

скрытном voyeur[1] Сезанна, но после каждой фразы отвлекался, думая о том, как я объясню гостям отсутствие Астрид. Впрочем, Роза меня опередила. Во время закуски она лукаво сощурила глаза и заметила, что мама сейчас, наверное, сидит у Гуниллы в шхерах и снимает с меня стружку так же усердно, как она сдирала кожуру с десяти кило раков, которые наверняка будут у них сегодня к обеду. Глаза у Розы узкие и лукавые, как у ее матери, а уголки рта изгибаются так же, как у Астрид, в чувственной, а подчас довольно злой усмешке, вот как в этот момент, когда она заулыбалась при виде моего наверняка поглупевшего от растерянности лица. Я выразил сожаление, что не приготовил к закуске раков, но она лишь усмехнулась и погладила мою щеку чуть снисходительным, успокаивающим жестом.

Гунилла — дама с лесбийскими наклонностями, детский психиатр из Стокгольма с крашеными волосами цвета меди, и я никогда не был в восторге ни от нее, ни от ее необъятной ширины платьев из набивной материи, ни от ее голистского острова в шхерах, с удобствами во дворе, с керосиновыми лампами, ни от ее янтарных бус,

---

[1] Примечания: 1

Voyeur — подглядывающий за кем-либо человек *(фр.)*.

громадных, как булыжники, хотя она знакома с Астрид еще с тех пор, как та была замужем за отцом Симона, а скорее всего, именно поэтому. Когда Роза и ее возлюбленный ушли, я нашел номер телефона Гуниллы в Стокгольме. Возможно, Астрид и впрямь поехала к своей старой подруге, которую, как ей было известно, я не выносил. Быть может, именно поэтому она и не сказала мне, куда отправляется. Я так и не мог понять, успокаивает ли меня эта мысль, и, пожалуй, почувствовал даже облегчение, когда услышал, до какой степени изумлена Гунилла, ответившая на мой звонок. Я даже уловил легкий оттенок злорадства в ее голосе. Мне стало ясно, что она понятия не имела об отъезде Астрид, хотя они звонили друг другу по меньшей мере дважды в неделю и всякий раз болтали по часу.

Новый возлюбленный Розы был старше ее, должно быть, не меньше чем лет на пять. За обедом он был довольно молчалив. Правда, мы до этого виделись с ним всего лишь пару раз, но я не уверен, что его молчание и угрюмые, отрывистые фразы, которыми он его время от времени прерывал, объяснялись его смущением, а не глубочайшим, до бездонности, презрением. Он был одним из тех одетых во все черное молодых

людей, которые избрали весьма своеобразный способ созидания и взяли на себя миссию ускорить гибель приближающейся к закату страны, помогая, как им казалось, очистить ее от всего дерьма, накопленного за годы цивилизации. Неприятие современной культуры явно превратилось у него в неприятие всего и всех, за исключением, быть может, Розы, которую он время от времени ласкал, ухватив ее шею сзади жестом, скорее похожим на попытку удушения, и одновременно буравя меня своими маленькими колючими глазками. Впрочем, насколько я сумел понять чуть позже, мой «гаспачо» мог иногда проявлять расположение и к чему-нибудь другому, помимо моей дочери. Перед тем как мы сели за стол, Роза повела его осматривать квартиру. Она даже потащила его в мой кабинет, с небрежением и раскованностью, свойственными избалованной с детства дочери, не признающей неприкосновенности территориальных границ, но он лишь презрительно фыркнул при виде серии гравюр Джакометти и открытых монографий о Сезанне на моем рабочем столе. Роза рассказывала мне, что он художник, и я толком не знал, радоваться мне или печалиться при виде ее горящих энтузиазмом глаз. Насколько я мог понять,

он был выставляющимся художником. Именно он был автором одной из выставок, вызвавших некоторый интерес своими заспиртованными человеческими зародышами, вмонтированными в пластик, и стеной из видеомониторов, медленно прокручивавших порнофильм о малолетних таиландских проститутках. Помогая мне закладывать грязную посуду в моечную машину, Роза упрекнула меня в том, что я сегодня был с ним не слишком-то любезен. С обидой в голосе она сообщила мне, что он прочел мою статью о Джэксоне Поллоке и радовался возможности обсудить ее со мной. Прежде чем я успел придумать что-то в свое оправдание, зазвонил телефон, и Роза ушла к своему художнику, который между тем устроился в гостиной. Я мог слышать, как они там целовались взасос, хотя коридор, ведущий из гостиной в кухню, был достаточно длинным. Затем все звуки заглушил возбужденный поток слов, изливаемый на меня моей матерью.

Моя мать — одна из тех женщин, про которых говорят, что «ее чересчур много». Она изобильна, как тропическая растительность. Она спросила, можно ли пригласить к телефону мою восхитительную супругу. Это выражение она неизменно употребляет всякий раз, говоря об Астрид, и не

устает твердить его вот уже восемнадцать лет. Я ответил, что Астрид уехала к подруге в Стокгольм. Мать поинтересовалась, «не пробежала ли между нами черная кошка». Это тоже одно из ее излюбленных выражений, и я часто спрашиваю себя, звучало ли оно столь же притворно и фальшиво в те годы, когда она была молода. Она всегда поражала меня, даже после стольких лет общения, своим обостренным нюхом на всё, что было связано с ситуацией «не без дыма в кухне», как она это называла. Она удивляла меня также полным отсутствием деликатности, когда, переходя все запретные границы, она со своим вкрадчивым «ку-ку» просовывала голову в дверь, ведущую в глубины моего «я». Я убежден, что поверг бы ее любопытство непомерному испытанию, если бы предложил ей расположиться биваком у изножья нашей с Астрид кровати. Но что бы я о ней ни думал, Астрид считает, что она очень мила, и ее всегда забавляет поток писем, которыми засыпает нас ее неутомимая свекровь, находясь в гастрольном турне по провинции. Ее потребность в общении неутолима, и она способна угомониться лишь тогда, когда исчерпает все запасы писчей бумаги, лежащей на столе в номере отеля. В ее письмах, само собою, всегда

говорится лишь о ней самой и о том, что ее личность как раз в данный момент претерпевает коренные, обвальные изменения и она начинает все видеть в новом свете. Это происходит по меньшей мере раз в два месяца. Моя мать — актриса, и хотя сменилось уже целое поколение с тех пор, как она стала слишком старой для того, чтобы играть Офелию или фрекен Жюли, она до сих пор не перестает изображать из себя игривую кошечку, какой, вероятно, была когда-то. Она позвонила, чтобы напомнить нам о премьере на которую уже приглашала нас по меньшей мере раз семь. Мать заметила с нажимом, что надеется увидеть в театре нас обоих. Ее интонация не оставляла сомнений в том, что она видит ситуацию насквозь, и я поймал себя на мысли, что мне хочется спросить ее о том, что же именно она видит. Но она уже пустилась в пространное повествование о своем «сердечном друге», как она его называет, то есть о несколько одряхлевшем с годами оперном режиссере с аденомой простаты и шелковым платком на шее. Меня всегда удивляло, что Астрид столь терпима к ней и даже не возражает против определения «восхитительная супруга», но жена лишь улыбается снисходительно, точно это вовсе не ее так называют. Астрид

вообще очень снисходительна к людям, глупости отскакивают от нее, натыкаясь на ее приветливую улыбку, а между тем никогда нельзя знать, что она при этом про себя думает.

Ухо у меня, как всегда, вспухло и горело, когда я наконец положил трубку. Роза и ее художник ушли. Мне бы хотелось поговорить с ней подольше, мы уже так давно не беседовали по душам. По мере того как на свет появлялась грациозная молодая женщина, освободившаяся от детской порывистости и неуклюжести, она мало-помалу отдалялась от меня и от наших прежних доверительных отношений. Когда-то она спрашивала меня обо всем на свете, и я старался отвечать на все ее вопросы. Я все говорил и говорил, задолго до того, как она сама научилась как следует говорить и понимать сказанное мною, но уже с десятилетнего возраста заговорила она. Роза настойчиво, не давая себя прерывать рассказывала мне об окружающем мире, который она открывала для себя и к которому приспосабливалась, словно ей необходимо было неустанно повторять свои множащиеся познания, чтобы не забыть их. Мы могли часами сидеть в уголке и шептаться, но я все чаще стал замечать, что многие мои вопросы оставались без ответа на пороге какой-то новой

неизвестной мне комнаты, куда мне теперь доступа не было. В такие минуты мне вспоминалась моя мать с ее безудержным желанием все лапать руками, и я старался держать рот на замке. Когда я пробовал рассказать дочери о ловушках, подстерегавших человека на путях взрослой жизни, она лишь улыбалась терпеливо, ожидая, пока я закончу свои разглагольствования. Мне приходилось теперь довольствоваться тем, что разглядывать ее со стороны в тайном волнении, одновременно радуясь и печалясь при виде ее победительной и вместе с тем хрупкой красоты, которую пока еще никто не имел возможности порушить. Временами я почти не узнавал дочери, видя ее сидящей в кругу сверстников, смеющейся и болтающей, не подозревающей о том, что я за ней наблюдаю. А когда она внезапно поднимала взгляд и улыбалась мне глазами и ртом, которые были одновременно и ее и ее матери, я должен был признаться себе, что все меньше и меньше знаю о том, что скрывается за взглядом этих зеленоватых глаз. Это напомнило мне слова, сказанные однажды одним из моих друзей постарше. Он сказал, что дети знают своих родителей гораздо лучше, чем родители знают своих детей.

Оставшись один, я принялся бродить по квартире. Я не мог понять, кажется ли она мне теперь более просторной или более тесной. Я убрал со стола, привел в порядок комнату, но на это понадобилось совсем немного времени. И снова наступила тишина, но это была уже не та, наша совместная с Астрид тишина, которую каждый из нас мог нарушить в любую минуту. Это была плотная тишина, которая смыкалась надо мною после каждого производимого мной шума, после каждого шума автомобиля, проехавшего по набережной. Я подумал, не почитать ли мне книгу или журнал, но сразу же отказался от этой мысли. Вместо этого я поставил пластинку, одну из моих старых пластинок Джона Колтрейна, которые Астрид терпеть не могла. Но и водопад звуков Колтрейна, и грохочущие аккорды Маккоя Тайнера оставались не чем иным, как трескучим, гулким, механическим эхом того утра в звукозаписывающей студии на Манхэттене много лет назад. Я не знал, что мне делать с собою в этот первый вечер без Астрид. Я ходил по квартире, прислушиваясь к собственным шагам и потрескиванию половиц под моими ногами. В какой-то момент я очутился в прихожей, в пальто; я хотел выйти погулять и, быть может, пропустить где-нибудь стаканчик.

Мне необходимо было бежать от этой тишины, от ощущения замкнутости на самом себе. Но тут я обнаружил, что забыл взять сигареты, и пока я шел по коридору назад в кухню, мне пришло в голову, что Астрид может позвонить в любую минуту. И я никуда не пошел. Я сидел на диване и монтировал собственный бессмысленный фильм, блуждая по каналам телевизора, переключаясь от групповых дискуссий к состязаниям по гольфу, автомобильным гонкам и передаче об экзотических тропических животных. Потом я вновь принялся расхаживать взад и вперед, но оставил телевизор включенным, наверное, потому, что мне не хотелось быть единственным, кто производит шум посреди неподвижного безмолвия вещей и мебели. Впервые за восемнадцать лет я не знал, когда она вернется и вернется ли вообще.

Разумеется, у нас бывали размолвки, как и у всех других, но ссорились мы, как правило, по пустякам и никогда не держали зла друг на друга слишком долго. Мы никогда не шли в постель, не примирившись и не посмеявшись над нашей ссорой. Наша квартира никогда больше чем на час не превращалась в место действия этих театральных семейных представлений, когда один из

супругов стоит у окна, спиной к комнате, а другой сидит на авансцене, делая вид, что читает газету. Все эти годы, пока мы были семьей, с тех самых пор, как дети покинули манеж для младенцев, мы передвигались по квартире иной раз поспешно, иной раз медленно, но всегда хореография этих движений была гибкой. Мы встречались и прощались, а потом встречались снова в долгой череде дней. Все эти хлопотливые утренние часы, когда мы отправляли детей в школу, все эти заполненные делами вечера, когда мы готовили ужин, были более или менее искусным повторением одного и того же балета, во время которого мы двигались одновременно, интуитивно чувствуя танцевальные партии друг друга. Даже потом, когда мы все чаще и чаще стали оставаться одни, мы продолжали предвосхищать движения друг друга, компенсируя упущения или невнимательность, будь то электрическая лампочка, которую следовало заменить, или подхваченная на лету кофейная чашка, которая чуть не упала на пол. Наши тела знали друг друга вдоль и поперек и умели создавать общий ритм движений, когда мы шли по улице или отправлялись в постель.

И даже в постели, когда мы укладывались поудобнее перед тем, как заснуть, мы приспосаб-

ливали друг к другу согнутые локти и колени.

Я блуждал взглядом по неподвижным вещам и мебели, заполнявшим квартиру. Обстановка нашего дома была ее заботой, здесь царил ее непредсказуемый, но всегда безупречный вкус. Я часто поражался, когда она приходила домой с какой-нибудь лампой, чайником или вазой; мне бы никогда не могло прийти в голову, что она сделает такой выбор. Но даже ее наиболее экстравагантные находки вскоре обретали свое естественное место и становились вполне уместным дополнением в мире остальных вещей в доме. Детали убранства нашей квартиры были не только обрамлением нашего быта, они являлись отражением ее причуд и фантазии, столь же присущих ее личности, как и ее медлительный, с ленцой, слегка хрипловатый голос или ее быстрая, по-прежнему девически легкая походка длинных ног. Все в комнате было на своих обычных местах, но когда я теперь смотрел на эти вещи, мне казалось, что они отторгают мой привычный, присмотревшийся к ним взгляд. Темно-красный ковер, который мы когда-то купили с ней в Стамбуле, вдруг превратился в обычный, ничего не значащий для меня ковер. Гравюра, изображавшая вид на гору Фудзи и

светло-голубое море, теперь больше не была хорошо знакомым пейзажем моей мечты, она превратилась в ничего не говорящий кусок чужого, враждебного мира. Секретер красного дерева, унаследованный женой от ее тетушки, вдруг показался мне безобразным до отвращения, хотя его контуры и рисунок дерева на его поверхности были столь же неистребимо впечатаны в мою память, как рот и глаза Астрид. Ничто в комнате не говорило о том, что она через какое-то время не появится в дверях, не сядет на диван с газетой в руках; и я ведь точно знал, в каком углу она будет сидеть, поджав под себя ноги, выпрямив спину и чуть склонив набок голову, как будет читать, задумчиво поглаживая ладонью шею. Я остановился в дверях спальни на том самом месте, где утром стояла она. Моя перина валялась бесформенной грудой, а ее была аккуратно взбита и застелена. Моя подушка была прижата к стенке, а ее лежала без единой складочки, даже без вмятины, которую обычно оставляла ее голова. Словно не желая оставлять после себя ни малейшего следа, Астрид нашла время убрать свою половину постели, перед тем как одеться и стать в дверях, рассматривая мое ничего не подозревающее спящее лицо. Но зато она забыла

закрыть дверцу платяного шкафа. Она не могла взять с собою слишком много вещей; почти вся ее одежда осталась висеть в шкафу на вешалках, и вид ее безжизненных платьев и кофточек поразил меня, точно удар, это было так, точно она умерла и после нее остались лишь платья и все остальные принадлежавшие ей вещицы. Щетки на туалетном столике перед зеркалом с отдельными длинными запутавшимися каштановыми волосками. Китайская шкатулка с черной лакированной крышкой, инкрустированная позолоченными цаплями над позолоченным тростником, в которой она хранила свои украшения. Ряды туфель с темными отпечатками ее пяток на самых изношенных из них. Хотя ее одежда и все вещи свидетельствовали о присущем только ей вкусе и привычках, они казались на удивление безликими теперь, когда она бросила их на произвол судьбы в этой тихой спальне. Они мало что могли рассказать в ее отсутствие. Чем больше я ее узнавал, тем лучше знал; во всяком случае так мне казалось, хотя вполне могло быть и обратное. Потому что чем больше я знал, тем больше могло оставаться еще непознанным. Глубокая мысль! Я не мог вспомнить того момента, когда я перестал думать о ее тайных, скрытых

от меня сторонах, когда я привык к ней и начал воспринимать ее такой, какой она была со мной и с детьми. Я не мог знать, были ли у нее вообще тайны от меня, теперь или когда-то в прошлом, а может, ее скрытые стороны оставались тайной и для нее самой. Быть может, и она привыкла видеть себя такой, какой была в моем представлении?

Впервые за долгое время я снова уселся на диван с толстым фотоальбомом в руках, куда я год за годом вклеивал фотографии, снимки, отображавшие нашу жизнь. Самые старые фото поблекли, и краски на них выцвели. Астрид кормит грудью Розу, младенца с толстыми щечками. Голое пухленькое тельце Розы, ковыляющей вперевалку по берегу моря в один из летних дней. Симон — рыбак-любитель, обхвативший руками треску размером почти с него самого. Астрид в меховой шляпке рядом с детьми на фоне неуклюжей, меланхолического вида снежной бабы Астрид на фоне золотистой, поросшей осенним лесом долины в Траз-уш-Монтиш, той осенью семь лет назад. Она же опирается о поручни на пароме посреди реки Тежу, белозубая, освещенная закатным солнцем, с подхваченными ветром волосами, в поблескивающих солнцезащитных

очках на фоне ослепительно-белых фасадов домов, высящихся друг над другом в Алфама и Байру-Алту. Я редко появляюсь на снимках, поскольку большинство из них делал я сам, и часто мне представлялось, что я как бы запечатлеваю на снимках свое собственное отсутствие, подобно тому, как я, сидя в самолете, уносившем меня все дальше от дома, мысленно представлял себе, чем они там теперь все занимаются в мое отсутствие. Роза на лужайке в саду, освещенная солнцем, с выпирающим животиком и вытаращенными глазенками, подставляющая палец под струю, бьющую из резинового шланга, и водяные брызги образуют около нее сверкающий радужный веер, похожий на распущенный хвост павлина. Симон, приникший щекой к доскам пола, со взглядом, устремленным в микромир игрушечных гоночных автомобильчиков, похожий на добродушного одинокого Гулливера, мечтающего о том, чтобы и для него нашлось место на крошечных пустых сиденьях машин. Все это далеко в прошлом, дети так торопятся вырасти, словно детство и без того не проносится стремительно, и даже фотографии не в силах остановить время. Напротив, они явственно напоминают о том, как давно это было, когда Симон играл с

автомобильчиками, а Роза забавлялась струей из садового шланга. И все же я рад тому, что сделал эти снимки, хотя порой чувствовал себя немного неловко, когда садился на корточки с камерой в руках. Мне казалось, что я вторгаюсь в их мир и нарушаю их всепоглощающую сосредоточенность или порыв восторга, которые мне хотелось запечатлеть на снимке. Я не знаю, какие снимки вызывают во мне больше грусти — те, на которых дети остаются наедине с собой, не подозревая о том, что их фотографируют, или те, на которых они улыбаются и смотрят в камеру, такие близкие, когда они встречают мой взгляд. На одних фотографиях создается впечатление, что меня там вовсе и не было, а на других кажется, что дети улыбаются не мне, а бесстрастной камере, за которой я прячусь. Иной раз мне кажется, что зря люди делают снимки, вместо того чтобы просто смотреть: ведь они в своем рвении запечатлеть какой-нибудь миг забывают удержать видимое в себе, уловить его среди бега времени. Человек отсутствует на сделанных им самим снимках не только потому, что сам фотографирует, но еще и оттого, что он как бы предает моменты, которые пытается спасти от забвения. Не успеваешь навести на резкость, как это уже иная картинка,

иной миг. Астрид почти никогда не снимала, предоставляя это делать мне. Она даже требовала от меня, чтобы я это делал, а когда я фотографировал, у меня всякий раз возникаю ощущение, что я остаюсь в стороне, что я непричастен к этому мгновению нашей жизни. Она же всегда присутствует на снимках, сливаясь с тем мигом, который я извлекал из слепого бега времени и потом вклеивал в толстый альбом — точно так же, как Роза засушивала цветы и вклеивала их в тетрадку. Увядшие обрывки нашей жизни. Вот Астрид закапывает Розу в прибрежный песок, из которого торчит лишь улыбающаяся рожица девочки, или разрисовывает лицо Симона полосами в тот праздник масленицы, когда он вздумал изображать индейца. А я шпионю за ними издали, нацелив объектив аппарата, точно влюбленный детектив. На одном из снимков Астрид стоит на балконе ранним летним утром, в эти часы фасад дома все еще остается в тени. Она прислонилась спиной к кирпичной кладке, внизу скрытой рядами деревьев, и смотрит куда-то в сторону, а не в объектив, неизвестно куда, точно остановившись в удивлении между двумя секундами, между первой мыслью и последующей. Сдержанное удивление, возможно,

перед тем, что годы так быстро сменяют друг друга, перед тем, как сложилась жизнь, точно что-то произошло именно в этот момент, когда она отвлеклась, следя взглядом за исчезающими птицами, за изменчивыми облаками, за признаками ветра на светлой ряби озера или за тем, как листва на деревьях поворачивается то гладкой, то шершавой стороной навстречу ветру и свету. Если она и была разочарована, то наверняка не смогла бы сказать, чем именно. Ее счастье, вероятно, каким-то смутным и неопределенным образом представляется ей предательством. Хотя она не может решить, и покуда даже не пыталась это сделать, то ли жизнь обманула ее, то ли наоборот. Жизнь! Можно ли вообще рассуждать об этом подобным образом? Можно ли рассуждать о чем-либо ином, кроме ее нынешней жизни? Той жизни, которую она не мыслит без близких — сына, дочери, мужа. Точно ни она, ни другие, по мере того как идут годы, уже не могут воспринимать себя иначе, чем годы позволяют нам видеть себя или других перед зеркалом, наедине с собой. Случай ли, судьба ли распорядились так, а не иначе? Когда одно перешло в другое? Когда судьба стала неотличима от случая? В какой момент ей стало одновременно и слишком легко, и слиш-

ком трудно, слишком важно, но и, в сущности, бесполезно спрашивать себя, действительно ли она любит этого мужчину, разглядывающего ее в глазок объектива? Это было все равно, как если бы ребенок спросил, где кончается Вселенная.

Я сижу у окна, выходящего на озеро, не зажигая лампы на письменном столе. Кроны деревьев, зеркало водной глади и ряды домов на другом берегу сливаются воедино во тьме, и лишь освещенные окна на другом берегу в просветах между деревьями напоминают продолговатую переливчатую мозаику. То тут, то там в этой мозаике не хватает камешка, в других местах они как бы расколоты, потому что темное переплетение веток на переднем плане перечеркивает световые квадраты в отдалении. Освещенные окна смутно отражаются в темной воде, и легкая рябь на ее поверхности колеблет их. Сидя за столом, я разглядываю ряды освещенных окон на другом берегу, и на какое-то мгновение мне кажется странным, что за этими темными, словно игрушечными фасадами домов живут неведомые мне люди, живут своей жизнью, там, в этих рядах неизвестных квартир. Быть может, кто-то из них сейчас сидит перед телевизором и смотрит тот же фильм, что и другие, а может, кто-нибудь в

этот момент подносит ко рту чашку с кофе или стоит на кухне у мойки, наблюдая, как мыльная пена пузырится на тарелке фиолетовой радугой в свете висящей над мойкой лампы. И все это подчинено заданной синхронности тривиальных повседневных движений. Но едва ли кто-то из этих людей задумывается над тем, что их мирок, состоящий из повторений и перемен, из тривиальностей, трагедий и внезапных мгновений счастья, — всего лишь один из многих в громадной мозаике. А возможно, кто-то из них сидит вот так же в эту минуту у окна по другую сторону озера, смотрит сюда, на этот берег, и думает о том же, что и я? Быть может, только мы двое сидим с ним и думаем обо всех этих окнах и дверях, обо всех возможностях, которые, словно двери, то открываются, то захлопываются перед носом у человека?

Много лет назад, когда я только приехал в город, я был молод и все здесь было для меня внове. Вечерами я часто ездил на велосипеде, к примеру, вдоль этих озер, и думал о том, что передо мной откроется множество дверей, куда я смогу войти. Я ехал вдоль берега, под кронами деревьев, страстно желая найти ту дверь, самую нужную мне, которая распахнется передо мной и откроет

мне то, чего даже я сам не мог себе представить.

В Париже, где-то на авеню Фош, она взяла напрокат автомобиль и отправилась на юг. Я получаю выписки о движении нашего общего банковского счета и могу проследить, каким образом она использует свою кредитную карточку. К вечеру она прибыла в Бордо и поселилась в отеле. Она ехала вдоль реки, в потоке вечерних машин, мимо закопченных фасадов домов. В то время как я сидел за обедом с Розой и ее возлюбленным, она сидела в каком-нибудь из ресторанов Бордо, оглядывая посетителей и рассеянно слушая их разговоры. Одинокая женщина, остановившаяся здесь проездом. Она ехала нашим прежним маршрутом на юг, через Ланды, через бесконечные сосновые леса, под моросящим дождем, направляясь к испанской границе. Часы сливались воедино в длинный туннель мглистого серого света, а она сидела за рулем неподвижно, и вместе с тем — в постоянном движении, в одной из многих машин, мчащихся по разветвленной дельте автострад. Вероятно, она думала о том, что оставляет свой след всякий раз, когда использует карточку, останавливаясь на автозаправочной станции или в гостинице. Это был след из наименований мест, и она была уверена, что я узнаю их, равно как и

узнаю эту последовательность в пути. Это был тот же маршрут и то же самое время года, когда Европа блекнет в соцветии желтого, красно-бурого и пыльно-зеленого, а предместья, фабрики, электростанции и петляющие автострады мокнут под моросящим дождем в свете движущейся цепочки автомобильных фар. Быть может, это была запоздалая весть, которую она посылала мне посредством вереницы компьютерных счетов из этих мест, напоминая мне о том, чего ей не хотелось бы, чтобы я забывал. В Сан-Себастьяне она побывала в баре близ Ла-Кончи.

Я могу представить себе Сан-Себастьян только в завесе моросящего дождя. Я вижу колоннаду вдоль ряда отелей, ведущую к той маленькой бухте с крупным, зернистым песком, зеленоватую воду и покачивающиеся на ней траулеры вдали, едва различимые в бискайском тумане. Я представляю себе, как она стоит в шумном баре и отпивает по глоточку кофе торнадо, а взгляд ее устремлен на ряды зонтиков, движущихся вдоль моря по променаду, или на колеблющиеся, чуть блеклые изображения на экране телевизора, стоящего на стойке бара, где мелькают эпизоды далекой, непонятной войны между бородатыми боевиками в изношенной военной форме, ко-

торыми движет непонятная ненависть и столь же непонятное желание перерезать врагу горло либо самим рухнуть с перерезанным горлом в кавказскую грязь. Эти же картины я и сам видел в те осенние вечера, когда сидел в одиночестве перед телевизором у себя в квартире с видом на озеро, а позднее — в номере отеля на Лексингтон-авеню, вместе с одурманивающим ощущением, что время уходит от нас, разделяя, пожирая собственные создания.

Мы прошли через колоннаду по набережной и направились дальше по мокрому песку. Даже в это время года на пляже все еще были немногочисленные купальщики. Их стынущие, влажно блестевшие конечности были точно запоздалые напоминания о минувшем летнем сезоне. Они бежали по песку, сгорбившись и обхватив себя руками, чтобы защититься от холода. Астрид ловко отпрыгивала, когда языки морской пены подбирались к ее ногам у кромки моря. Она была возбуждена, выбравшись на волю после многочасового сидения в машине, волосы ее курчавились от влажного воздуха, а щеки захолодели и стали липкими от морской соли.

Я сказал ей, что слово «конча» означает одновременно и «ракушка», и «манда», а она

засмеялась и притянула меня к себе, так что морская пена окатила мои башмаки. И все это происходило не потому, что мы, как говорится, вновь почувствовали себя молодыми — это было вовсе не возвращение вырвавшегося на волю тяготения к любовным играм. Мы были такими же, как всегда, и все же это произошло с нами в одночасье. Розе было одиннадцать лет, а Симону шестнадцать, и мы, как я уже упоминал, впервые более чем на неделю оказались в этой поездке вдвоем, без них. На первый взгляд мы были такими же, как прежде, и тем не менее мы поглядывали друг на друга испытующим, чуть испуганным и полным любопытства взглядом. Мы все еще пока были молоды, но мы знали, что это не продлится долго. Мы любили друг друга в номерах отелей даже днем, чего не делали уже много лет. Мы были в постоянном движении, и в каждом городе, где останавливались по пути на юг, мы чувствовали, что предоставлены самим себе, что мы наедине друг с другом. Я лежал, прислонив голову к ее животу, и ощущал, как он поднимается и опускается в такт ее дыханию, я прислушивался к шуму дождя, барабанившего по ставням, поливая Ла-Кончу, а она мягко прижала мою голову к своему бедру и спросила, слышу ли

я, как шумит море. Она могла бы спросить совсем о другом, но не сделала этого. За пару недель до нашей поездки я вернулся из очередной командировки в Нью-Йорк. Это была моя идея, чтобы мы отправились в путешествие, я предложил ей это уже в автомобиле, когда она встретила меня в аэропорту. Она удивленно улыбалась, обдумывая мое предложение. Впервые мы оказались с ней вдвоем, без детей, отпрысков нашей любви, и мы как будто купались в этой нашей неожиданной, ничем и никем не сдерживаемой близости друг к другу. Мы чувствовали себя обновленными, во всяком случае я, и, останавливаясь в отелях, двигаясь по дорогам в автомобиле, я думал, такие ли мы всё еще, и надеялся, что еще долго будем оставаться такими. Мы ехали вдоль Бискайского залива, между кромкой моря и горами, ехали без остановки, словно стремясь к какой-то определенной цели. Мы останавливались лишь для того, чтобы поесть и выспаться. Бильбао и Сантандер были для нас не более чем названиями в пелене дождя.

2

Заканчивая учебу, я по вечерам подрабатывал на такси. В ту зиму мне исполнилось двадцать семь. Я исколесил город вдоль и поперек, курсируя то в одном направлении, то в другом, в зависимости от желания остановивших меня пассажиров или вызовов по радиотелефону, передаваемых холодными, чуть нетерпеливыми женскими голосами, которые ставили меня в известность, что меня ждут там-то и там-то. Для пассажиров пребывание в салоне такси было всего лишь паузой, в течение которой им предстояло проехать отрезок пути от пункта отправления до пункта назначения. Для меня же эти поездки были случайным перекрестьем маршрутов по городу, по которым я должен был перевозить то одного, то другого пассажира туда, куда ему было нужно. На заднем сиденье за моей спиной слышались обрывки каких-то начатых ранее разговоров, происходили ничего не говорящие мне сценки. Прислушиваясь ко всему этому, я гадал, кого же я везу — рэкетира или супружескую пару, отправляющуюся в путешествие по случаю своей

серебряной свадьбы. А может быть, и коммерсанта, едущего на обычное, условленное заранее свидание с владычицей его сердца, облаченной в броню из кожи и металла. Так проводил я вечера, курсируя туда и обратно, невольно приобщаясь к неведомым мне и всякий раз новым для меня историям и в то же время сидя неподвижно за рулем, перемещаясь из одного конца города в другой.

Однажды январским вечером меня направили по адресу в одно из северных предместий города. Мне пришлось некоторое время прождать у кромки тротуара, пока наконец из ворот виллы не вышла высокая стройная женщина, держа за руку маленького мальчика, с большой дорожной сумкой в другой руке. Она была примерно моего возраста, лет около тридцати. Когда они уже собирались садиться в машину, следом за ними из ворот виллы выскочил мужчина в одной рубашке. Он все время твердил, что ей не следует никуда ехать, хотя ясно было, что именно это она и намерена сделать. У него были довольно длинные волосы с проседью, и он казался по меньшей мере лет на двадцать старше женщины. Он был, без сомнения, что называется, видным мужчиной в те минуты, когда лицо его не портила эта угро-

жающая и одновременно умоляющая гримаса. Он попытался схватить женщину за руку, но она оттолкнула его с такой силой, что он невольно попятился назад. Женщина захлопнула дверцу машины и крикнула мне, чтобы я ехал. Мальчик заплакал, и она стала ласково говорить с ним и успокаивать. Я мог видеть в зеркале заднего обзора этого малыша, скорчившегося на заднем сиденье с большим игрушечным мишкой в руках и всхлипывавшего не переставая. Она назвала улицу в центре города, а потом стала напевать сыну песенку, и он мало-помалу успокоился. Она все мурлыкала и мурлыкала эту песенку, а я время от времени мог мельком видеть ее в зеркале, когда свет от фонарей, мимо которых мы проезжали, падал на ее бледные щеки и узкие глаза, в которых застыла растерянность. Когда мы подъехали к дому, который она указала, я выключил счетчик, и тут мы увидели, что этот седоватый человек все в той же рубашке и с тем же патетически-умоляющим и одновременно угрожающим выражением лица уже стоит на тротуаре, готовый встретить нас. Меня рассердило то, что он опередил нас, я не мог сообразить, каким путем он ехал, а ведь я-то думал, что знаю город как свои пять пальцев. Во всяком случае он, несомненно,

ехал очень быстро. Он взялся за ручку дверцы, чтобы открыть ее, но женщина заперла дверцу, и ему пришлось говорить с нею через окно. Теперь он говорил спокойнее, почти задушевно, не сводя с нее своих темных повлажневших глаз. Затем он резко обернулся, услыхав, что из дома кто-то вышел. Это была молодая женщина в одной лишь трикотажной кофточке, обхватившая себя руками, чтобы защититься от холода. Она испуганно смотрела на мужчину, а тот, тыча ей в лицо пальцем, кричат что-то, чего я не мог расслышать. Мальчик снова заплакал, а моя пассажирка опустила стекло в машине и крикнула женщине, что позвонит ей позже, а мне велела ехать. Женщина на тротуаре сделала шаг по направлению к нам, но мужчина схватил ее за руку, а я тронул машину с места. Они стояли неподвижно, глядя нам вслед. Когда они промелькнули в окне, я увидел, что мужчина уже отпустил ее руку. Я спросил свою пассажирку, куда нам ехать, но она не ответила, занятая своим дрожащим малышом, которого пыталась успокоить. Когда мы проехали пару кварталов, я остановился на красный свет и снова спросил ее о том же. Она раздраженно велела мне ехать дальше. Я отдался движению и ехал наугад, как делал обычно, когда

в машине не было пассажиров. Я прислушивался к ее успокаивающему шепоту и мурлыканью, и мне пришло в голову, что мы можем весь вечер вот так кружить по центру города, если только она что-нибудь не придумает. Я покосился на счетчик и, когда мы проехали площадь Ратуши в четвертый раз, увидел, что мальчик уснул, а она уже накатала почти на пятьсот крон. Я поехал в направлении порта и выключил счетчик неподалеку от вокзала судов на подводных крыльях. Я поставил машину на обочине и обернулся к моей пассажирке. Надумала ли она, куда ей ехать? Она сидела, держа на коленях голову спящего малыша, и смотрела в сторону моря. Нет, она не знает куда, ответила женщина слабым, надтреснутым голосом. Я отвернулся и стал смотреть на толпу пассажиров, высыпавших из здания морского вокзала и расходящихся кто куда. Когда исчез последний пассажир и зал ожидания, освещенный ярким неоновым светом, совсем опустел, я опять повернулся к ней и спросил, неужели нет места, куда бы она могла отправиться. Она сидела, понурившись, так, что ее темно-каштановые волосы падали ей на лицо. Когда она в ответ на мой вопрос подняла голову, я увидел на ее щеках блестящие бороздки от слез. Она не проронила

ни слова в ответ. Я протянул ей кусок бумаги от хозяйственного рулона, который держал для протирки стекол, и, пока она вытирала щеки и нос, предложил ей отвезти ее в известный мне недорогой, но превосходный отель. Она смяла в руке клочок бумаги и усмехнулась почти гневно. У нее не хватит денег даже на то, чтобы расплатиться за такси. А как же та ее подруга? Он наверняка давно оттуда уехал. Меня самого удивило, что я как нечто само собою разумеющееся обсуждаю ее дела, говорю «он», «подруга», словно я полностью в курсе сложившейся ситуации. Она ответила, что он способен всю ночь простоять у входа в тот дом. Разве нет никого другого, к кому она могла бы поехать? Я предложил ей сигарету и зажег другую для себя. Она отрицательно помотала головой. Нет, у нее нет больше никого. Я разглядывал ее профиль в зеркале, пока она сидела, погруженная в свои мысли, выпуская дым через приспущенное окошко и задумчиво глядя на чернеющую воду причала. Казалось, она совершенно забыла, где находится. Я спросил ее о том, кем ей приходится этот человек. Мужем? Она холодно взглянула на меня. Какое мне до этого дело? Я пожал плечами и отвернулся. Не знаю, почему эта идея вдруг осенила меня. Должно

быть, просто-напросто оттого, что нельзя же было просидеть вот так всю ночь у портового причала с незнакомой мне девушкой и ее ребенком в машине. Сперва она посмотрела на меня так, словно я предложил ей нечто несусветное. Но я улыбнулся как можно непринужденнее и убедительнее и пояснил, что я обычно всю ночь работаю, а домой возвращаюсь только под утро. А утром она наверняка что-нибудь придумает. Пока же у нее будет несколько часов отдыха. Глаза ее сузились еще больше, и она долго смотрела на меня немигающим взглядом, удивленно и недоверчиво. Казалось, она впервые увидела меня лишь в тот момент, когда разглядывала, пытаясь понять, кто же он, этот странный таксист, который хочет вызволить ее из безвыходной ситуации. Наконец она приняла решение и улыбнулась мне чуть смущенной улыбкой, но отнюдь без чрезмерной благодарности. Пока мы снова, уже в который раз, пересекали город, направляясь ко мне домой, я старался избегать ее взгляда в зеркале. Я внес мальчика в дом и положил его на мою кровать. Он не проснулся, лишь пробормотал что-то, а потом свернулся калачиком на постели и продолжал спать. Квартирка моя состояла всего из двух комнат, и девушка, которую я приютил, стояла в

другой и разглядывала мои книги на подвесной полке. Я протянул ей запасную связку ключей и сказал, что она может просто бросить их в почтовый ящик, когда они с малышом будут уходить. Внезапно я заторопился уйти; наверное, я и сам был немного напуган своим поступком. Глядя на девушку, стоящую у книжной полки, я вдруг подумал, что она выглядела бы настоящей красавицей, не будь такая бледная и заплаканная. Она улыбнулась во второй раз за этот вечер и спросила, как меня зовут. Так я встретился с Астрид.

Я ездил по городу всю ночь, пока пассажиры почти совсем не перестали попадаться, но даже после этого я продолжал кататься еще с добрый час, злясь на самого себя из-за того, что уступил свою постель чужой девушке и ее ребенку. Вернувшись домой, я бросился на диван и сразу же уснул. Я проснулся, когда небо над крышами домов напротив совсем посветлело. Я не знал, что мне делать, лежать или вставать. Несколько минут лежал, чувствуя себя гостем в собственном доме, потом тихонько встал и приоткрыл дверь в спальню. Моя кровать была пуста. Я разделся, лег в нее и, как обычно, проспал до полудня. Если бы кто-нибудь сказал мне, что я буду жить с ней, с этой самой девушкой, которую накануне вечером

вызволил из трудного положения, я усмехнулся бы, как усмехается человек, слушая несусветные бредни друзей, снисходительно и слегка рассеянно, втыкая сигарету в полную окурков пепельницу, стоящую среди пивных кружек на стойке бара. Но кто бы мог тогда мне об этом сказать? Будущее не имеет очертаний, оно столь отдаленно и неопределенно, что единственное, о чем еще можно порассуждать, — это о том, куда поедешь летом на отдых. Проснувшись, я мог лишь весьма смутно представить себе, как выглядит моя гостья. Я уже был, разумеется, достаточно взрослым, чтобы понимать, что встреча с тем или иным человеком — это не более чем дело случая, но я был все же еще слишком молод, чтобы уразуметь, что число таких встреч не безгранично. Когда незнакомая молодая женщина отвечает на мой взгляд на улице, я могу еще тешить себя мыслью, что жизнь похожа на перекресток путей, по которому можно пойти. Но это всего лишь мысль. Я ведь отлично знаю, что деревья не растут до небес и что невозможно двигаться в одном направлении, не отрезав для себя тем самым всех остальных дорог.

Когда я встретил Астрид, то был еще слишком молод и любовные приключения мои никак не

клеились. У меня все еще кружилась голова при мысли о множестве девичьих лиц на улицах города, и я все еще мог рисовать себе картины будущего, но это головокружение не доставляло мне радости, оно, скорее, вызывало чувство тошноты. Случайные, ярко освещенные, манящие к себе казино оставляли после себя чувство бездомности и отвращения. Я уже устал от шатания и толкотни по ночам в толпе разгоряченных, пьяных людей, в оглушающем шуме и слепящем свете, среди тех, кому было все равно, кто я такой. Устал от стояния где-нибудь в углу в промежутке между танцевальными ритмами, а затем от кружения в танце с еще одной незнакомой девушкой, которая хриплым голосом поверяла мне свои планы на будущее и мечты об отъезде, до тех пор пока конец мелодии снова не разлучал нас — внезапно, толчком, как будто где-то под нами сидел злой ребенок, дергая за ниточки марионеток. Если она потом ночью просыпалась в моей постели, то, значит, приключение продолжалось, и я едва мог вспомнить те миражи, которыми моя похоть наделяла ее юные, чистые черты. Она сонно и с удивлением оглядывалась вокруг, но я не мог угадать, что она читает в моем лице, которое, если ей было интересно, пыталась

связать с теми скудными сведениями обо мне, которые я ей сообщил. Она сама казалась мне такой чужой, когда я прижимал ее к себе, повинуясь заведенному ритуалу, раз уж она оказалась здесь. Она была теплой со сна, и я думал, как близки могут быть люди, ничего друг о друге не зная. Я смотрел на ее нагое тело и не помнил, красива ли она, целиком поглощенный созерцанием его особенностей, формы грудей, шрамов на коже, родинок. Тело, которое лежало передо мной, с тем набором генов, которыми наделили эту мою драгоценную ночную принцессу какой-нибудь стекольщик или бухгалтер из предместья и его жена. Я отводил волосы с этого чужого лица, для вида изучая его черты, а она сворачивалась калачиком и рассеянно ласкала меня. Ничего не значащие касания, похожие на язык без слов, не имеющий смысла, всего лишь еще один шажок через бездонность одиночества, который, впрочем, мгновенно забудется.

Около полудня я проснулся со странным ощущением холода и влаги в спине. Малыш намочил мою постель, видимо до смерти напуганный семейной драмой родителей, разыгравшейся прошлой ночью у него на глазах. А теперь, много лет спустя, этот малыш мчится, оседлав свой

мотоцикл «Кавасаки», где-то в Сардинии, наверняка без защитного шлема на голове; мимо него проносятся клиперы, пробковые дубы, проходят овечьи стада, а ему и в голову не придет позвонить домой, этому Симону, которого я уже давно привык считать своим сыном.

Темное влажное пятно на простыне было единственным следом, который малыш и его мать оставили после себя. Правда, она, судя по всему, оставила при себе также мои ключи. Я снял постельное белье, чтобы бросить в стирку, и, неся его в ванную, ощущал запах детской мочи и аромат ее духов. Все-таки она нашла время подушиться, прежде чем уйти от своего седоватого мужа. Если прошлым вечером, чуть смущенным жестом протягивая ей ключи, я и подумал о том, что она, пожалуй, из тех женщин, на которых заглядываются на улице, то это была всего лишь мимолетная мысль. Я все еще находился во власти своих собственных переживаний. Ставя мокрый матрас на ребро, я заметил лежащий под кроватью рисунок углем, который обычно висел у меня в изголовье, прикрепленный к стене кнопками. Вероятно, ночью он свалился на пол. Это был набросок птичьего черепа, который Инес однажды подарила мне, задолго до того, как я в

последний раз видел ее, следя из окна за ее удаляющейся фигуркой, пока она не пропала из виду в круговерти снежинок, которые ветер кружил причудливыми спиралями.

Я встретил ее снова пару лет спустя, однажды вечером, выходя из кинозала вместе с Астрид. Мы с улыбкой кивнули друг другу в толпе, и Астрид спросила кто она. Я ответил, что это женщина, которую я знал когда-то давно, задолго до нашей с ней встречи. По сути дела, это было правдой. Я, разумеется, рассказывал Астрид о ней, но это было в ту пору, когда мы еще не вполне готовы были откровенно рассказывать друг другу о нашем прошлом. Я не сказал ей, что женщина, которую мы встретили в фойе кинотеатра, — та самая Инес, о которой я говорил ей вскользь и чуть отстраненно, как обычно мужчины рассказывают о женщинах, бывших в их жизни до женитьбы, своим женам. Собственно, я не понимаю, почему не сказал ей об этом. Очевидно, я боялся, что Инес все еще таится где-то в глубине, и, должно быть, думал, что после этой мимолетной встречи ее образ снова всплывет и заставит втайне страдать или предаваться мечтам. Инес была все так же красива и по-прежнему смотрелась экзотичной восточной женщиной, но когда я обернулся к

Астрид, чтобы ответить на ее не лишенный любопытства, но отнюдь не инквизиторский вопрос, я ничего не ощутил в глубине моего существа, там, где обычно гнездилась боль. Она была теперь просто женщиной, которую я когда-то любил, в то же время предаваясь иным мечтам и залечивая другие раны.

Я поднял рисунок с пола и стал искать кнопку. Она даже не зафиксировала эскиз, и мой большой палец оставил отпечаток на одной из широких линий, составляющих контур птичьего черепа. Я потер пальцы друг о друга, чтобы избавиться от следов угольной пыли.

За полгода до этого жарким днем в конце лета я зашел в Музей скульптуры, в основном чтобы побыть немного в прохладе. Я думал, что буду там единственным посетителем, но в одном из небольших затененных залов увидел ее. Она стояла спиной ко мне, ее черные волосы были собраны в пучок над длинной узкой шеей. Это был зал римской скульптуры. Вначале она была лишь силуэтом в отдаленном, освещенном солнцем проеме двери в одном из последних залов анфилады, и ее тень черным рисунком отпечаталась на глянцевых изразцах пола. Она была бледна, хотя солнце жгло нещадно целых три месяца

подряд. Я остановился, но она, судя по всему, не слышала, как я подошел. На ней было длинное черное платье и черные туфли с массивными каблуками на босых ногах. Это были старомодные, мрачноватого вида туфли с ремешками вокруг щиколоток, которые заставили меня представить себе медленное танго в каком-нибудь довоенном борделе Буэнос-Айреса. Сама ее бледность имела легкий медовый оттенок, и у меня внезапно появилось предчувствие, что я буду касаться ее, что я оставлю отметины своих рук и губ на этой бледной и вместе с тем теплой и удивительно гладкой коже. Она стояла перед бюстом римского императора, или, вернее, тем, что осталось от этого человека с лишенным иллюзий, мрачным лицом, разрушенным временем. Его голова держалась на железной штанге, пропущенной через камень, и казалась отрубленной от тела. Черты лица были почти полностью разрушены, и вместо них, на том месте, где должны были быть нос и губы, на поверхность выступали прожилки и поры камня. Лицо походило на картину, медленно разрушаемую тысячелетиями и исчезающую в безликой вечности мраморной глыбы. Я поделился с девушкой своими наблюдениями, во всяком случае сказал что-то в этом роде, а она

обернулась и посмотрела на меня своими большими темными глазами так спокойно, точно узнала знакомого. Казалось, она уже видела меня прежде, хотя на самом деле мы с ней до этого никогда не встречались.

Ее лицо все еще выступает из глубины лет, оно сопровождает меня сквозь все хитросплетения, все завихрения времени, через все то, что произошло за эти годы. Оно выступает как будто на старой, позеленевшей монете, которая выскользнула из моих рук. Оно появляется редко, но неотступно. Иной раз я не могу себе представить ее, а иной раз она является посреди изменчивых картин дня, является среди других лиц, ее лицо, которое я когда-то сжимал ладонями, пытаясь прочесть в нем то, что было для меня загадкой. Ее взгляд утратил для меня свою былую пугающую притягательную силу, словно покрылся патиной, помутнел и поблек в потоке лет, но иногда она снова смотрит на меня, смотрит отстраненным, вопросительным взглядом, в котором читается вопрос, на который невозможно ответить, да теперь уже и ни к чему.

Мы вышли из музея вместе. Мы шли бок о бок в свете заходящего солнца, отбрасывавшего длинные тени на раскаленные стены домов, шли по

булыжникам площадей и говорили без устали обо всем, что приходило в голову, и казалось, не было преград тому, о чем можно было бы спросить, что рассказать и что ответить. Мы шли по набережной, через парки, все шли и шли, словно не в силах остановиться, а между тем последние отблески солнца уже отсвечивали на стеклах верхних окон домов, и сумерки просачивались в щели между булыжниками, окутывали травяные лужайки, падали на рябь воды. Бредя наугад, точно сомнамбулы, мы все же под конец дошли до ее дома в переулочке, напротив еврейского кладбища. Мы откладывали то, что, как мы оба понимали, было лишь вопросом времени, говорили теперь уже не столь взахлеб, а с долгими паузами, и лишь смотрели друг на друга так долго, как только могли, оттягивая тот момент, когда нам придется прикоснуться друг к другу там, в ее комнате, с видом на заросшие могилы и покосившиеся надгробные плиты с загадочными для нас письменами.

В ней было что-то старомодное, вернее, в ее манере говорить, и это было связано не только с ее акцентом. Она казалась явившейся из другого времени, точно сошедшей на берег с одного из тех больших океанских пароходов со скошенны-

ми трубами, которые давно уже потонули или разрушились. Ее отец был француз, дипломат, а мать — персиянка, и она застряла здесь в городе после того, как ее родители поехали дальше, в Тегеран, Нью-Дели и Каракас. Она сказала мне, что занимается рисованием, но впоследствии я никогда не мог отделаться от мысли, что она просто ждет, пока подвернется что-нибудь другое. Были у нее еще какие-то занятия, я так толком и не узнал какие, как ни выспрашивал ее, но ясно было одно, что деньги, очевидно, никогда не были для нее проблемой. Убранство ее квартиры было спартанским, точно монастырская келья, и она, судя по всему, питалась исключительно замороженными готовыми продуктами, но зато тратила целые состояния на такси, и я впоследствии ни разу не встречал женщины, которая покупала бы такое огромное количество туфель. Дорогие, экстравагантные, несуразные туфли, которые она надевала всего лишь пару раз, после чего они валялись, забытые, на дне шкафа. Она показывала мне нарисованные ею наброски черепов и груды костей, и я не знал, как реагировать на это ее пристрастие к изглоданному наследию смерти, которое она без конца фиксировала округлыми, иногда резкими, иногда легкими, а иногда

решительными линиями. Ее черные глаза и черные, углем, рисунки, казалось, открывали путь в неведомую мне тьму, и мне приходилось отказываться от мысли туда проникнуть. В любую секунду она могла вдруг, вздрогнув, устремить на меня испуганный взгляд, точно я напуган ее неожиданным словом или резкой интонацией. Это повторялось часто, и всякий раз казалось, будто она вот-вот сломается. Именно в такой момент мы наконец уступили тому, что росло в нас во время прогулки по городу. Тело ее было длинным, почти долговязым, груди маленькими, а ноги длинными и узкими, со щиколотками, выступающими под кожей подобно косточкам птичьих крыльев. В ее облике не было ничего беспечного, не было успокоенности, она проявляла ненасытный голод, который обнаруживался в неутолимой жадности ее рук и губ. Любовь с Инес была сражением, которому не видно было конца, необузданным, неукротимым всплеском ярости, точно ей хотелось увлечь меня в бездну и полететь вместе со мной в пустоту, обвив мое тело во время этого бесконечного, головокружительного падения. Мы выпустили друг друга из объятий, когда за окнами уже давно посветлело, и она вдруг попросила меня уйти.

Это продолжалось чуть больше года. Когда на улице снова пошел снег, любовная история была уже позади, если можно было так назвать эту ошеломляющую цепь похожих на корчи объятий, всплесков ярости, философских излияний и редких эпизодов молчаливой и неспешной нежности. Когда мы не занимались любовью, мы говорили об искусстве, больше всего о художниках прошлого, Рембрандте, Эль Греко, Гойе и об эскизах Леонардо, о его анатомических исследованиях, которые, разумеется, импонировали ей своей бесстрашной, безжалостной точностью. Из художников двадцатого столетия лишь Джакометти и Фрэнсис Бэкон могли вызвать у нее одобрительную гримаску. Она проявляла столь же мало интереса к современному искусству, сколь была несведуща в современной большой политике, что было удивительно, если учесть, в какой семье она выросла. Как-то раз она взглянула на меня с откровенным удивлением, когда я заговорил о Шарле де Голле в прошедшем времени. Оказывается, она даже не знала о том, что он умер. Я никогда не видел ее читающей газету, и в доме у нее не было ни телевизора, ни радио, а лишь старенький проигрыватель и небольшой, явно случайный, набор пластинок от Орландо

Лассо и Габриэля Фавра до Сержа Гейнсбура и Астора Пьяццоллы. Но несмотря на большие белые пятна в ее мировосприятии, она все больше поражала меня своей аналитической проницательностью и детальными познаниями во всем том, что ей было интересно, будь то индейская археология, персидский суфизм или учение Гете о красках. Если мне когда-нибудь удалось написать что-то о живописи лучше других, то причиной тому были наши с Инес разговоры в постели, когда мы лежали и курили, еще не отдышавшиеся, влажные от пота, и она пускалась в философские рассуждения о каком-нибудь неожиданном предмете со свойственным неординарному мыслителю тончайшим балансированием на грани искренности и скепсиса. Она — одна из самых одаренных личностей, которых я когда-либо встречал на своем веку, потому что ее образование было из тех, какое обычно бывает у людей, не учившихся регулярно, но рыскающих по музеям и библиотекам из чистого, не имеющего определенной цели любопытства, жадных до знаний без оглядки на схоластические постулаты.

Единственное, чего ей не хотелось, так это разобраться в нас самих, проанализировать наши отношения, то, что происходило между нами и

что ожидало нас в будущем. Это чересчур глупо, заявила она, когда я однажды в минуту нежности и расслабленности шепнул ей о том, чтобы завести ребенка. Она хрипло рассмеялась, увидев мои вспыхнувшие щеки и робкий взгляд, и стала отвинчивать крышку на бутылке коньяка, которая всегда стояла у нее на полу рядом с кроватью. Она потягивала из бутылки коньяк и заливалась смехом, так что мне в конце концов пришлось стукнуть ее по спине между худенькими выпирающими лопатками, чтобы она не захлебнулась. Когда она повернулась ко мне спиной, чтобы полюбоваться в зеркале своим возбужденным видом, ее лопатки напомнили мне сложенные крылья большой птицы. Мы встречались у меня дома или у нее в квартире, в переулке около еврейского кладбища, но она всегда требовала, чтобы я непременно позвонил ей по телефону перед приходом. Я мог сколько угодно трезвонить в ее дверь, но она никогда не впускала меня, если я являлся к ней без звонка, даже тогда, когда в окнах ее квартиры горел свет. Она же, напротив, могла явиться, когда вздумает, в любое время суток, вся вибрируя от сдерживаемого неуемного желания, которое должно было быть удовлетворено немедленно, зачастую едва лишь

мы переступали порог прихожей. После нашей первой встречи мы крайне редко, и лишь поздно ночью, выходили из дома вместе и посещали бары и забегаловки на окраине города. Но мы никогда не показывались в заведениях в центре города, где рисковали наткнуться на кого-нибудь из знакомых. Такое условие поставила Инес. Она хотела, чтобы мы оставались тайной, как она выражалась, тайной для всего мира. Вскоре я понял, что я у нее не единственный мужчина. Она никогда не рассказывала мне о других, но в то же время не стала скрывать, что они у нее есть, когда я однажды наконец собрался с духом и спросил ее об этом. Сначала ее позабавила моя ревность, и она наблюдала за мною с отстраненным интересом, подобно тому как антрополог наблюдает за необычным поведением туземцев. Она знала, что я страдаю, и не мешала мне страдать, очевидно не чувствуя, что только она может положить конец моим терзаниям. Потом ей стали надоедать мои вопросы и мое обиженное молчание.

В ту ночь, когда Астрид и Симон заночевали у меня, я все время думал о ней, и она постоянно вторгалась в мои мысли, когда мне больше не о чем было думать или нечем заняться. Ее лицо, ее тело возникали передо мной в перерывах между

ездками той ночью, и меня не покидал страх перед встречей с нею. Мысль о том, что мы находимся в одном и том же городе, превращала его в опасную зону, где одновременно и ее отсутствие, и риск ее внезапного появления время от времени вызывали мгновенную боль, точно чья-то неведомая рука сжимала мои легкие и желудок. В то утро я, как всегда, много раз хватался за телефонную трубку, готовый набрать ее номер. Я несколько часов пролежал на диване, покуривая и слушая музыку, пока серый свет зимнего дня не стал тонуть в синеве сумерек. Я вышел, чтобы немного подышать воздухом, стал бродить бесцельно по улицам, в толпе прохожих, спешащих куда-то со своими дипломатами, хозяйственными сумками или ведущих за руку детей. А когда я вернулся и подошел к своей квартире, то услышал за дверью голосок Симона. При виде меня он умолк и прижался к матери. Оба они лежали на диване, и это выглядело так, словно я был чужим и вторгся на территорию, которую мальчик за эти сутки привык считать своей. Она подняла взгляд от альбома с рисунками и улыбнулась мне неуверенной, вопросительной улыбкой. Ничего, если они переночуют здесь еще одну ночь? Конечно, все в порядке, ведь я сам пригласил их к

себе. Я и вправду нисколько не был в претензии за то, что меня отвлекали от моего мрачного меланхолического настроения. Она извинилась за мокрый матрас, но я только отмахнулся, заметив, что и сам мочился в постель почти до той поры, пока не стал ходить в гимназию. Она вежливо улыбнулась, хотя высказывание мое было, в сущности, не слишком-то остроумным. Я почувствовал запах ее духов. Сегодня она выглядела иначе. Она собрала волосы на затылке в «конский хвост», и я заметил, что она подвела глаза, точно желая произвести приятное впечатление. Но делалось это, вероятно, не ради меня. Скорее всего, это была лишь та боевая раскраска, за фасадом которой женщины обычно пытаются укрыться в те моменты, когда все в их жизни идет наперекосяк. Не подведенные тушью глаза придавали ее взгляду твердость и независимость, которые так не вязались с игривой, лукавой усмешкой, внезапно искривившей ее губы, хотя, в сущности, улыбаться было нечему. Возможно, она улыбалась от смущения, а возможно, хотела доверчиво пригласить и меня позабавиться и удивиться тому, что она вдруг оказалась со своим малышом здесь, в квартире совершенно чужого ей человека, бездомная и отданная во власть его

неожиданного гостеприимства.

Она купила продукты к обеду и сразу же принялась за стряпню, а я сел и стал читать мальчику вслух, главным образом потому, что не знал, чем бы мне еще заняться. Малыш, глядя на меня недоверчиво, слушал, как я читаю ему про маленьких синих человечков в белых колпачках гномов, похожих на грибы, которые жили в какой-то деревушке, но потом он придвинулся ко мне поближе, а под конец даже прислонился ко мне, позволив обхватить его рукой за худенькие плечики. Астрид бросила на нас взгляд из кухни и улыбнулась, а я рассматривал рисунок, изображавший синих человечков не без некоторого смущения, словно самому себе не желая признаться, как трогательно все это выглядит. Шофер такси читает детскую книжечку вслух несчастному малышу, жертве развода. В кастрюле что-то шипело и булькало, а по квартире распространялся запах лука и рубленой зелени. Для меня это было все равно что игра в папу, маму и ребенка, но ведь я в этой игре затесался между ними и этим разгневанным человеком с проседью, от которого мы сбежали. Я уже давно сам не занимался стряпней, обычно подкреплялся поздним вечером, заскочив куда-нибудь в кафе-гриль. Я искоса смотрел на нее,

стоявшую в кухне и делавшую вид, будто она чувствует себя как дома, о чем я ее попросил, сам смущенный этой банальностью. В сущности, если вдуматься, то очень часто в самые значительные моменты жизни человек изрекает подобные ни о чем не говорящие банальности. Но тогда я еще не подозревал о том, что в моей жизни наступает такой момент. Я просто смотрел на нее, читая малышу книжку и объясняя ему слова, которых он не понимал. Астрид была такая же высокая, как и Инес, только бедра у нее были округлыми и ноги в черных чулках, под короткой юбочкой, — с более плавным изгибом. Все у Астрид было не так, как у женщины, питавшей мое вожделение, которое в конце концов стало признавать лишь женские формы, присущие Инес. Я, можно сказать, совсем не смотрел на других женщин, с тех пор как встретил Инес, и если я теперь помимо воли украдкой разглядывал Астрид, то лишь потому, что она стояла в моей кухне, спиной ко мне, и резала овощи. Движения ее были более спокойными и размеренными, и даже в голосе ее ощущалась некоторая ленца, столь не похожая на порывистую, синкопирующую горячность речи моей утраченной возлюбленной. Глядя на Астрид, можно было подумать, что у нее в

запасе уйма времени. Она всецело отдавалась последовательности действий, их естественному ходу, не пытаясь его ускорить. Она ничего не делала рывками или с нажимом. В ее обращении с вещами была некая безошибочность действий, свойственная сомнамбулам. Чувствовалось даже, что ей доставляет удовольствие плавно, без усилий, погружать острие ножа в упругую кожу помидора, который, казалось, сам по себе обнажил перед нею свою сочную мякоть и свои зеленоватые зернышки.

Пока мы ели, я совсем не думал об Инес. Мы говорили о своих занятиях, как это обычно принято между чужими людьми, и, словно по молчаливому соглашению, избегали темы, затрагивающей события минувшей ночи. Я спрашивал ее о кинематографической кухне, задавал те же вопросы, которые наверняка задавали ей и многие другие, а она рассказывала о режиссерах, которые ей нравились, о Трюффо, Ромере и Кассаветесе. Я же говорил об абстрактной живописи, об экспрессионизме, о Де Кунинге и Джэксоне Поллоке, а время от времени нас смешил Симон своими остроумными, забавными замечаниями, на которые бывают способны только дети. В целом все было спокойно и просто, и можно было подумать,

что это не она только что ушла от мужа и не меня накануне бросила возлюбленная. Когда я этим вечером ехал в машине к аэропорту, откуда обычно начинал свое ночное дежурство, я вдруг почувствовал почти с легким уколом совести, что впервые за долгое время на душе у меня сделалось легко и беззаботно. Лишь после того как я миновал центр города и покатил по эстакаде, ведущей к аэровокзалу, мне вдруг подумалось, что я не сделал, как обычно, крюк, чтобы затем черепашьим ходом проехать, затаив дыхание, мимо еврейского кладбища. Были вечера, когда я почти не возил клиентов из-за того, что не в состоянии был покинуть квартал, где жила Инес, и регулярно, с некоторыми промежутками возвращался туда в надежде, что она выйдет из дома. По мере того как мои инквизиторские вопросы стали отравлять часы, проводимые нами вместе, Инес однажды, во время одного из редких для нее приступов жалости, попыталась утешить меня, заявив, что она изменяет мне не с каким-то одним человеком, а со многими, и что она не отдает предпочтения никому из своих любовников. По ее понятиям, сама их многочисленность должна была облегчить мои страдания и показать мне, что ревность в данном случае бесполезна

и неуместна. Поскольку нас у нее так много, то каждый может чувствовать, что именно с ним она изменяет всем остальным. Я представлял себе, как она отдается им, одному за другим, в каких-то неизвестных мне комнатах или в комнате с окнами на кладбище, которую я так хорошо знал. Я мог быть всего лишь одним в череде ее мужчин, которых она посещала или принимала у себя, и мне не лете было от ее доверительных признаний в том, что именно наши различия, наши разные тела, лица, судьбы завораживали ее. Я размышлял о том, была ли она одной и той же, независимо от того, с кем занималась любовью, или она была другой с каждым из нас, и не мог понять, какая из альтернатив была более ужасной. Ее неистовство было неизменным, когда она кидалась на меня на полу моей прихожей, даже не сняв пальто, и столь же неизменно далеким был ее взгляд, когда она позволяла ласкать себя, безвольно лежа в своей постели. В те вечера, когда она запрещала мне приходить к ней или не подходила к телефону, я кружил в машине около ее переулка или парковался на углу и сидел, не сводя глаз с ее входной двери. Я понимал, что все это смехотворно и унизительно, но я знал также и то, что не устою против искушения унизиться

перед нею еще больше.

Было громадное, глубокое различие между нашей первой встречей в прохладном полутемном зале среди изувеченных временем римских бюстов, когда она обернулась ко мне и посмотрела на меня немигающим взглядом. Возвращаясь мысленно к этой сцене, я уже больше не мог понять, то ли это она ответила на мой взгляд, то ли я ответил взглядом на ее немой вопрос, сам его не понимая. Я знал, как просто остановить свой взгляд на ком бы то ни было и как легко затем навсегда потерять друг друга из виду. И, быть может, внутренний протест против случайности этого водоворота встреч и взглядов и побудил меня влюбиться в Инес. Быть может, вовсе не ее отстраненный взгляд, как мне хотелось бы думать, а именно этот протест вырвал меня из пут привычной, отупляющей круговерти повседневности. А возможно, она и впрямь способна была разглядеть что-то во мне, увидеть дальше и глубже, хотя не исключено и то, что там и видеть было нечего. Просто я, должно быть, оказался всего лишь изменчивым отражением в беспокойном, преображающем водовороте взглядов. Когда я затем держал в своих ладонях ее лицо, я пытался вновь увидеть тот ее взгляд, который

распахнулся передо мной подобно расщелине, и я увидел в тот миг себя, наконец освободившегося от пут. И вместе с тем ее взгляд как бы держал меня в узде, не подпуская близко, то дразнящий или гневный, то рассеянный. Она вырывалась, когда я пытался покрепче обнять ее, она выскальзывала из моих рук или, наоборот, прижималась ко мне так тесно, что я переставал видеть ее перед собой. Ничего из того, что мы делали, не оставляло следов надолго, все мои слова растворялись в молчании, едва успев прозвучать. Каждый вечер, каждую ночь у нас повторялась одна и та же встреча, те же объятия, те же слова. Мы были все время в движении, и в то же время двигались в никуда. Это не могло иметь будущего, точно ложный путь, в стороне от времени, которое неслось само по себе.

Были, правда, мгновения, когда она, судя по всему, отдавалась мне искренне, редкие мгновения, когда она заставляла меня верить, что я не просто один из череды любовников, проходящих через ее жизнь. Иногда она оставалась у меня на несколько дней. Я готовил для нее еду, пока она сидела и рисовала, а когда я утром после работы возвращался домой, она была все еще здесь. Когда мы уставали заниматься любовью, она, свернув-

шись калачиком в моих объятиях, рассказывала, перескакивая с пятое на десятое, о своем детстве с переездами с места на место, и из ее рассказа возникали разрозненные, спорадические картины Лондона, Варшавы, Каира. Однажды ранней весной, нашей единственной весной, мы лежали в моей постели и перелистывали монографию о Вермере, а за окнами на улице лил дождь. Мы прислушивались к шуму дождя и рассматривали картины художника, изображавшие тихие комнаты, освещенные мягким, ясным светом, в которых женщины Вермера сидели, читали письма или наливали молоко из глиняного кувшина. Она заметила, что еще ни разу не была в Амстердаме, и вдруг, загадочно улыбаясь, вскочила с постели. Я слышал, как она о чем-то говорит по телефону в соседней комнате, а спустя короткое время она вернулась в спальню и сдернула с меня одеяло. Она сказала, что через час отправляется поезд на Амстердам и что она уже заказала для нас билеты. Она рассмеялась при виде моего туповатого остолбенения и пояснила, что платит за все она. Именно тогда я обнаружил, что Инес всегда ходит с паспортом в кармане. Она даже не пожелала сперва заехать домой, нужно будет лишь заскочить в какой-нибудь банк, до того

как взять такси и отправиться на Центральный вокзал. Ее единственным багажом была полиэтиленовая сумка со всякими вещицами, которые она успела купить у входа в вокзал перед тем, как мы сели в поезд, в эйфории от предстоящего приключения, точно дети, собравшиеся на каникулы. Я знаю, что все там выглядит иначе, но тогда мне запомнилось, что каналы идут не концентрическими кругами, но спиралями, и мы с Инес бродили вдоль них, предаваясь, как обычно, своим философским эскападам, иногда прерываемым ее смехом, звенящим среди домов с высокими белыми окнами. Я думаю, мы оба были счастливы тогда, в тот дождливый уикенд в Амстердаме. Она выглядела моложе, чем обычно, как ни глупо это может показаться, поскольку ей было лишь чуть больше двадцати.

Но я с самого начала воспринимал ее как женщину много старше себя. Причиной, по которой мною ощущалась эта разница в возрасте, были, разумеется, мужчины, все те мужчины, которых она знала, но там, в Амстердаме, она была только моей, и она, казалось, в самом деле забыла о том, что кроме меня у нее были другие. Точно она освободилась от своего существования мрачного, распутного и пропащего ангела любви, способно-

го заставить зрелых мужчин выть на луну. Она даже позволила мне положить руку ей на плечо, когда мы шли с ней рядом. У нас дома мне этого никогда не позволялось.

В Амстердаме на окнах не было занавесок, и можно было заглянуть в комнаты, где, казалось, люди ничего не скрывали или не хотели, чтобы в их жизни было нечто, скрытое от постороннего взгляда. И я тогда впервые почувствовал, что между мною и Инес тоже происходит нечто подобное. Она прижималась ко мне, когда мы шли вдоль каналов, она могла вдруг остановиться на тротуаре и поцеловать меня, на виду у всех. Мы сидели в темноватых харчевнях, пили пиво, курили сигареты. В голландских пачках было по двадцать пять сигарет, и мы спорили и никак не могли решить, сказывается ли в этом скаредность или расточительность голландцев. Мы болтали и смеялись, окутанные спиралями голубоватого дыма, или стояли над темно-зеленой, неподвижной водой каналов, и казалось, что мы движемся какими-то окольными путями к цели, которая все время отодвигается от нас, но на самом деле мы лишь двигались по кругу. Мы заходили во все отели, но нигде не оказалось свободных мест, и кончилось тем, что мы устроились на ночь на

каком-то пассажирском судне. Ночью мы лежали на узкой койке в нашей каюте, неподвижно, обессиленные после целого дня блуждания по городу, и я представлял себе, что мы находимся далеко в открытом море, между континентами. Я сказал ей об этом, и она усмехнулась чуть снисходительно, точно в ответ на лепет ребенка, и погладила мою щеку медленно, с почти печальной нежностью, которую я ощутил и которая доставила мне одновременно и радость, и боль.

Это была передышка на пути к завершению наших отношений; и по мере того как мы приближались к концу, я все больше терял голову. Вскоре она снова стала отвечать мне уклончиво или раздраженно, когда я спрашивал ее, где она была или куда идет, и чем неохотнее она отвечала, тем настойчивее становились мои вопросы. И я опять стал кружить вокруг ее переулка по ночам, когда она не отвечала на мои телефонные звонки; я делал это, одновременно и надеясь и боясь заглянуть в ее тайную жизнь. Однажды вечером я и впрямь увидел ее выходящей из подъезда и направляющейся куда-то по улице. Я ехал за нею на машине на некотором расстоянии, и она меня не заметила. Казалось, что я шпионю не за ней, а за самим собой, мне было стыдно, но пути назад

не было. Мне необходимо было испить чашу унижения до дна. Она вошла в круглосуточный магазинчик и вскоре вышла оттуда с литровым пакетом молока и пакетиком кофе. Она шла обратно, погруженная в свои мысли, глядя себе под ноги. Я не спускал глаз с ее подъезда, и на этот раз был вполне уверен в том, что она одна. И тем не менее я продолжал сидеть в машине за углом неподалеку, но так, чтобы машину нельзя было увидеть из ее окон. Не знаю, сколько времени я так просидел, словно какой-нибудь частный детектив, глядя на входную дверь, и вдруг увидел, что перед нею остановился человек. Лица его я разглядеть не мог, но заметно было, что он значительно старше меня. На нем было пальто из верблюжьей шерсти и черные, начищенные до блеска ботинки. Я не заметил, как он подошел к дому, хотя ни на минуту не спускал глаз с безлюдного переулка. Моя сосредоточенность, очевидно, ввергла меня в своего рода транс, и человек, должно быть, выпал из поля моего зрения, пока взгляд мой блуждал от небольших световых реклам до витрины подвального магазинчика с раковинами, газовыми обогревателями и смесителями. Человек в пальто из верблюжьей шерсти был впущен в подъезд, и я едва успел

добежать до входной двери, перед тем как она за ним захлопнулась. Я вообразил, что этот человек — богатый коммерсант, который посещает Инес, покуда его жена катается на лыжах в Швейцарии. Я почти воочию видел, как он украдкой кладет ей под подушку пачку хрустящих тысячекроновых банкнот, покуда она находится в ванной. Я мог слышать шаги человека вверх по лестнице, а потом он остановился, и я услышал, как наверху открылась и захлопнулась дверь. Я помчался вверх по лестнице, перескакивая через две ступени, чтобы не дать себе времени одуматься. И вот я уже нажимал на звонок в ее квартиру — пути к отступлению не было.

Из глубины квартиры раздавались лишь звуки музыки, и я услышал отдаленную меланхолическую мелодию Астора Пьяццоллы. Это была наша мелодия, под звуки которой мы любили друг друга, а потом лежали, уютно расслабившись, курили и грезили наяву, слушая звуки танго, то мучительно сладкие, то убийственно страстные. Я звонил снова и снова, и наконец дверь распахнулась, и на пороге возникла она, румяная ото сна, с распущенными волосами, в кимоно, которое она придерживала на груди руками. «Что тебе?» — спросила она. «Да, знаю, час уже

поздний», — ответил я и прошел мимо нее в комнату, а затем в спальню. Нигде никого не было. Я обернулся к ней, она стояла у меня за спиной, скрестив на груди руки и чуть склонив голову, и смотрела на меня взглядом, полным снисходительного презрения. А затем все произошло очень быстро. Я схватил ее и швырнул на постель, и она упала, безвольно раскинув руки, так что кимоно распахнулось, обнажив ее голое тело. Она продолжала лежать и смотреть на меня спокойно, как зритель, желающий знать, что будет дальше. Она позволила мне делать все, что я хочу, совершенно безвольно, во власти моего бессильного гнева, а я сам точно со стороны наблюдал за собой бесстрастным взглядом, не владея своим охваченным яростью, разгоряченным телом. Мы оба были свидетелями моего унижения, словно я стоял на коленях перед ее раскинутыми ногами, скованный взглядом ее темных глаз. Ей было больно, но ни один мускул не дрогнул на ее лице, пока я овладевал ею с бешенством, будто хотел вывернуть ее наизнанку, наказать за свою собственную беспомощность. Она лежала, глядя в потолок, не пытаясь прикрыться, совершенно безжизненная, после того как я застегнул брюки и встал с постели. Я сел у окна и стал смотреть на

кладбищенскую стену в колеблющемся, фиолетовом свете уличного фонаря, качавшегося под ветром на пустынной улице. Я сидел так, наверное, с четверть часа, когда она вдруг появилась в элегантном вечернем платье, которого я прежде никогда у нее не видел. Лицо ее было белым от пудры, губы подкрашены, а волосы искусно уложены. Она была ослепительно, пронзительно хороша. Она стояла с перекинутым через руку пальто. Затем сказала, что ей нужно уходить, и я вызвался подвезти ее. Инес пожала плечами. Потом она сидела на заднем сиденье моего такси, безучастно глядя в окно, как обычная незнакомая пассажирка. Никто из нас не проронил ни слова. Я отвез ее по названному ею адресу в посольский квартал и следил, как она входит в большой подъезд, отделанный мрамором и панелями красного дерева.

Спустя несколько дней она зашла, чтобы вернуть мне книгу о гравюрах Дюрера, которую я давал ей просмотреть. Я сказал, что сожалею о случившемся, но она ничего на это не ответила. Когда она вышла из дома, пошел снег. Я стоял у окна и видел, как она исчезает в снежной круговерти.

Два месяца спустя я встретил Астрид, но в тот

вечер, когда мы вместе ужинали, и позднее, когда я сидел в такси и развозил пассажиров в разные концы города, я еще не подозревал, что приближаюсь к поворотному моменту в моей жизни. В ту ночь я не надеялся никого встретить и не собирался ехать куда-то в определенное место. Город был полон неожиданных встреч и проводов, но они представлялись мне столь же бессмысленными в их непредсказуемой геометрии, как движения бильярдных шаров на пространстве зеленых столов в тех закусочных, куда я время от времени заходил на пару часов, устав от сидения за рулем. Блестящие массивные шары сталкивались с легким стуком, а затем катились то в одном, то в другом направлении по обширной пустыне из зеленого сукна, пока наконец не исчезали в черной лузе и не выходили из игры. Я мог быть кем угодно и встретить мог кого угодно. Одна встреча могла быть столь же решающей, как и другая. Чье-то красивое незнакомое лицо могло вовсе не таить никакой загадки, в той же мере, как я мог отказаться от попытки ее отгадать. Но возможно, я предвосхищал события и не мог их истолковать. До сих пор мне кажется, что любовная история с Инес была все же особенной, непохожей на все другие истории, иначе она

не причинила бы мне столько боли, и я мог бы впоследствии забыть наш безрадостный роман, который был моей ошибкой. Я постоянно вспоминал свои разбитые мечты, сидя за рулем и мотаясь по требованию пассажиров по центру города и по предместьям, безвольный, как глянцевый бильярдный шар. Она все еще оставалась моей большой утраченной любовью. Мир, в котором я пребывал вместе с Инес, был более отчетливым, более драматичным. Бывали моменты, когда я под ее взглядом ощущал себя как бы прозрачным, ничего не скрывающим, проглядываемым насквозь. Но если все то, что я себе представлял, было лишь игрой моего воспаленного воображения, то выходило, что я сам все разрушил своими исступленными домогательствами. Если та Инес, которую я любил, была лишь картиной, которой я заменял ее незнакомое мне лицо, то выходило, что я по злой иронии отдал на поругание свою драгоценную икону.

Я перестал есть и спать, избегал других людей, точно прокаженный. Я сидел в машине за рулем или лежал дома на диване, погруженный в мрачные мысли, наблюдая за тем, как дым от моих сигарет вьется спиралями, заслоняя безрадостный вид из окна. Мне даже лучше было оттого,

что я по ночам ездил по улицам, мимо фасадов домов с освещенными окнами. Я не выдержал бы, если бы мне пришлось коротать ночи дома, в четырех стенах. В то же время у меня не было желания отправиться в город и подвергнуться риску общения с кем-либо. Всего лучше для меня было находиться в движении, колесить между чужими мирами других людей, не соприкасаясь с ними. Оказавшись покинутым, я был уверен, что никогда больше никого не полюблю так, как любил Инес, и в известной мере я оказался прав, но совсем не в том смысле, как я это себе представлял. С Астрид я испытал другую любовь, не столь исступленную и ослепляющую. Эта любовь была более нежной, более неспешной, и для того, чтобы ощутить ее, потребовалось более долгое время. Астрид освободила меня от той истерической мелодрамы, которая пожирала меня изнутри, пока от моей несчастной любви не остался голый, нелепый остов. Сама не ведая об этом, она манила меня к измене моему собственному сердцу, изнемогающему от накала чувств. Но поначалу я так не думал. Я вообще не думал тогда ни о чем; я был — точно полубезумный — погружен в свое уязвленное одиночество, которое предпочел сам. В обществе Астрид все шло так легко, плавно,

словно само по себе, в заданном ритме. Думал ли я о ней в ту ночь, когда мы попрощались у входной двери, точно всю жизнь прожили вместе? Думал ли я о ней как о неожиданно открывшемся выходе, как о внезапном обещании помилования? Или она была всего-навсего красивой и, несомненно, очень обаятельной женщиной, которая убежала из дому со своим ребенком и нашла приют у шофера такси, человека с разбитым сердцем, работающего по ночам? Я вспоминал Инес, исчезающую в снежной метели, вспоминал ее мрачный, отчужденный взгляд в постели, когда я насиловал ее вне себя от стыда и ненависти к самому себе. В ту ночь я возвращался мыслями к тому летнему дню в музее, среди мраморных бюстов с отбитыми носами и губами. Я вижу себя юнцом, на восемнадцать лет моложе чем теперь, едущим сквозь ночь, не зная куда, но я не могу вспомнить те подвижки, те еле приметные шажки, которые вели меня от одного лица к другому, от одной истории к другой. Я не могу делать различия между тем, что я думал тогда, и тем, что я думаю теперь при воспоминании об Инес, потому что мне мешает воспоминание о моей встрече с Астрид. Истории переплелись друг с другом, они преобразились с течением времени,

по мере того, как события в прошлом соткались в узор, который я собирался распутать. Я пытаюсь найти место, узелок, откуда смогу начать свои попытки уяснить себе исчезновение Астрид, но я не уверен, что мне это удастся. Я рассматриваю нити, чтобы понять логику узора, но узелки распутываются у меня в пальцах, и я в конце концов остаюсь с пустыми руками. Я вновь связываю их наудачу, потому что знаю, что все равно сложится единственный рассказ из многих, так же как возникает один узор из тех, что я смог бы соткать из этих нитей. Как могу я знать, которая из историй будет более правдивой? А быть может, все равно какую из историй я расскажу, быть может, петли на узорах окажутся слабо закрепленными, а каждая из историй окажется чересчур небрежной и непрочной для того, чтобы быть правдивой? Я знаю это и тем не менее пытаюсь, и чем больше я пытаюсь, тем яснее осознаю, как мало я знаю и как плохо помню. Наверняка у меня ничего не получится, наверняка не выйдет ничего, кроме узора, сотканного из недомолвок и провалов в памяти, приблизительных описаний и едва намеченных эскизов, но тут уж ничего не поделаешь. Придется все восстанавливать вновь, хотя я отлично понимаю, что рискую скрыть даже ту

малость, которую мог бы обнаружить. По мере того как я пытаюсь соткать узор моей истории, мне все больше приходит на ум, сколь многое в жизни остается невысказанным, сокрытым в тени. Каким образом это обретает форму? В какой момент жизнь могла пойти по-иному? Как события могли бы сделать иной поворот и из всего этого могла бы получиться совершенно иная история? Я вглядываюсь во тьму, но она сгущается перед моими глазами, иногда возникают короткие вспышки, но эти вспышки ослепляют меня и тут же гаснут, так что на сетчатке глаза остаются лишь неясные, блеклые отпечатки. Больше ничего не сохранилось, ведь все это было так давно. И все же я продолжаю, хотя и уверен, что истина сокрыта в паузах, в молчании, в промежутках между словами. В сущности, мой рассказ — не более чем попытка очертить и определить пустоту прошедшего времени, удержать эту пустоту, иной раз в форме вопросов, не имеющих ответа, а иной раз в попытке ответить на вопросы, которые еще не были никем заданы.

В ту ночь в городе было мало пассажиров, и я вернулся домой раньше обычного. Я снял башмаки в прихожей и бесшумно пробрался в комнату. Астрид отыскала чистую простыню и постелила

себе на диване, там же находилась и моя перина. Очевидно, она посчитала, что теперь моя очередь спать под шерстяным одеялом. Я был тронут. Чистя зубы в ванной, я услышал скрип половиц в комнате, и через минуту ее отражение появилось у меня в зеркале. Она стояла в дверях ванной с извиняющейся улыбкой. Ей не спится. Я тоже не слишком устал. Мне пришло в голову, что я наверняка выгляжу нелепо с зубной щеткой во рту. Вообще-то я никогда не чувствовал неловкости, если кто-то наблюдал, как я чищу зубы, но она ведь не могла этого знать. Я прополоскал рот. На нее было приятно смотреть. Она стояла, прислонясь к косяку двери, в свитере, натянутом на ночную рубашку, без макияжа, с распущенными волосами и усталостью в узких глазах. Большинство женщин выглядит куда красивее без макияжа, но они, разумеется, никогда не поверят в это. Они также не подозревают о том, что красивее всего они бывают именно тогда, когда у них усталый вид. Быть может, это происходит оттого, что они слишком устали, чтобы думать о своей внешности или о том, как они выглядят со стороны. У меня всегда была слабость к усталым женщинам. Их лица обретают те черты, которые им присущи, они забывают о том, что кто-то

смотрит на них, забывают, что им следует быть на высоте, и в их взглядах появляется затуманенная мягкость, точно их глаза устремлены на нечто другое, нечто находящееся внутри их или где-то далеко, в другом месте. Так же выглядела и Астрид, стоявшая в дверях, в ожидании, пока я кончу чистить зубы. Впервые мне пришло в голову, что она не просто красивая. Я предложил ей прикончить полбутылки вина, оставшейся от ужина. Мы сели в комнате, не зажигая света. Мы сидели и курили в полутьме, слабо озаряемой светом от бра из прихожей, и я вспоминаю, что подумал о том, до чего же неприятен бывает вкус красного вина после того, как почистишь зубы. Она говорила приглушенно, слегка понизив свой медленный, чуть хрипловатый голос, говорила так откровенно, точно мы были с ней давние знакомые. Заметила, что никто не знает о том, где она находится. Тогда, много лет назад, у нее возникло чувство, будто она находится вне окружающего мира, скрываясь в некоем потайном месте, и, как я понимаю, теперь ей снова понадобилось испытать точно такое же чувство. Я сказал ей, что она, если хочет, может остаться еще на несколько дней. А как отнесется к этому моя возлюбленная? Сперва меня удивила эта убежденность в том, что

у меня есть возлюбленная, но затем я вспомнил о наполовину пустом пакете с гигиеническими прокладками, который Инес однажды забыла в ванной и который моя гостья, конечно, сразу же углядела. Я его не выбросил, сохранив у себя как некий ностальгический фетиш. Должно быть, она прочитала что-то на моем лице в полутьме гостиной и поняла свою оплошность, потому что не стала дожидаться от меня ответа, а продолжала говорить, глядя на меня своими усталыми, затуманенными глазами; она рассказывала о себе, время от времени ловя мой взгляд, чтобы увидеть, какое впечатление производят на меня ее слова, но вовсе не для того, чтобы апеллировать к моему сочувствию. Она просто отмечала про себя мою реакцию, как будто то, как я слушал ее историю, могло помочь ей лучше узнать меня.

Она встретилась с ним, когда ей было двадцать один год, а ему сорок четыре, этому человеку с проседью, который стоял на вечернем холоде и звал ее вернуться назад. Сперва она стала его любовницей. У нее не было никого в целом свете. Родители ее умерли, когда она была еще ребенком, и ее единственной родственницей была старая тетушка. Он был женат и имел дочь, почти ровесницу ей. Он был довольно известным кино-

режиссером, но я не узнал его в тот вечер, когда он стоял перед моим такси в одной рубашке. Она же работала помощницей на монтаже одного из его фильмов. Так это и началось. Сперва поцелуи украдкой и торопливые объятия в монтажной и номерах отелей. Она говорила мне, что он покорил ее своим влекущим взглядом, своей уверенностью, своим спокойным, низким голосом. Она была очарована его зрелой сексуальностью, ей льстило то, что ее, молодую женщину, возжелал столь знаменитый человек. С ним было все по-иному, не так, как с другими мужчинами, юнцами, которых она покидала, переспав с ними какое-то время. Рассказывая мне свою историю, она говорила, что до сих пор не может понять, как она могла решиться на то, чтобы родить от него ребенка, как могла поверить, что они навсегда будут вместе. Даже в самый разгар их романа ее не покидало чувство удивления. Это она хорошо помнит. Она удивлялась и ему, и себе самой. Однажды он взял ее с собой в Стокгольм, где должен был встретиться с продюсером. Как-то днем она лежала в номере Гранд-отеля, дожидаясь его, и сама удивлялась тому, что находится здесь. Она хорошо помнит, что стены номера были увешаны картинами в позолоченных рамах, изображав-

шими птиц. Синички, малиновки и какие-то другие маленькие птички, доверчиво склонив набок головки, смотрели на нее, лежащую в постели. Она была, можно сказать, тронута их простодушием. Она была любовницей женатого человека. Ее это, в сущности, забавляло. В этом было что-то манящее, пугающе таинственное — лежать здесь в окружении пичужек и дожидаться его. Она оглядела в зеркале свои груди. Они были острыми и налитыми, как широкие носки деревянных голландских сабо. Но разве это могло что-либо объяснить? Она сказала, что однажды видела его на какой-то кинопремьере с женой. В сущности, она так и не смогла увидеть в этой женщине какого-либо изъяна, который объяснял бы, почему ее следует променять на другую. Похоть? Это слово заставило ее улыбнуться, и я вспомнил, что она много лет спустя вот так же улыбалась, стоя у поручней на палубе одного из небольших пароходиков, курсировавших в шхерах, и щурила глаза от слепящих бликов на воде. Когда он отправлялся на деловые встречи, она шла к морю. Когда же он возвращался, то давал волю своей похоти, седоватый, вальяжный, настоящий мужчина, и она уступала ему, не переставая удивляться самой себе. Потом она

позволила ему говорить о будущем, пока его не занесло чересчур далеко и он не умолк, лежа в постели, в окружении певчих птичек, озадаченно глядя на нее и словно ожидая, что она сочтет его планы невыполнимыми. Она была и впрямь удивлена, когда он однажды появился на пороге ее дома с двумя чемоданами и сказал, что «сжег за собой все мосты». Он доказал, что действительно готов был сделать то, о чем говорил, и она снова уступила ему. Она позабыла о своем чувстве недоумения и поторопилась забеременеть, и по мере того, как мальчик подрастал, начинала верить, что их будущее — это не пустые слова. Чем старше становился сын, тем больше она в это верила, пока в тот вечер, когда я приехал в такси по ее вызову, она не обнаружила, что похоть кинорежиссера устремилась к новой миленькой и юной «тайне», с новыми видами на будущее.

Когда я проснулся, ее с Симоном уже не было. Она успела сбегать в магазин и купить мне свежего хлеба, а на столе оставила термос с горячим кофе. На тарелке меня ожидал круассан, а рядом лежали нож и сложенная салфетка, как это делается в отелях. Я вообще-то никогда не ел круассанов. Не в пример минувшему дню, квартира была полна следов, оставленных ими. На

подоконнике выстроились игрушечные рыцари Симона, готовые пронзить своими пиками пространство между стопкой бумаг и телефонными справочниками. Их одежда была сложена на стуле в спальне, в шкафу между моими рубашками появилось женское платье, а на полке под зеркалом в ванной расположилась целая батарея женских бутылочек и тюбиков. Все это выглядело так, словно она вселилась ко мне в квартиру. Я продолжал проводить дни и ночи как прежде, в одиночестве и видел их только по вечерам, когда они приходили домой, а я уже должен был отправляться на работу. Мы по очереди готовили еду и вообще старались не обременять друг друга в маленькой квартирке, были предупредительны и вежливы, а когда наши взгляды встречались, мы невольно улыбались друг другу, забавляясь этим неожиданно возникшим сожительством. При этом меня удивляло, до чего легко я чувствую себя в создавшихся обстоятельствах. Даже молчание не тяготило нас, оно было почти неощутимо, даже когда мы сидели друг против друга, как два чужих человека, какими мы, собственно, и были, которые не знают, о чем друг с другом говорить. Она была первой из встреченных мною людей, в обществе которых можно молчать, не чувствуя

неловкости. Меня удивляло, до какой степени естественным было ее наслаждение внутренним покоем здесь, в доме чужого ей человека, как непринужденно она умела молчать, после того как высказывала все, что хотела, не будучи ни в малой степени угнетена наступившей тишиной, хотя и в обществе другого человека. По сути дела, говорить нам с ней было не о чем, ведь у нас не было ничего общего. Она была для меня всего лишь чужой женщиной, нашедшей на какое-то время приют в моем обиталище. Вместе с тем меня постоянно отвлекали от моих невеселых мыслей детская болтовня Симона и ее кривая усмешка. Иногда я замечал, что она наблюдает за мной, когда я помогаю мальчику чинить его игрушки или читаю ему вслух книжки, которые однажды взял специально для него в библиотеке. Я сходил туда просто от нечего делать. Я делал вид, что не замечаю ее испытующего взгляда, пытаясь сконцентрировать свое внимание на веселых гуттаперчевых человечках или на рассказах о зверушках, одетых в человеческое платье. Мальчик, судя по всему, привык ко мне и вел себя так, точно мы были с ним давно знакомы. В воскресенье мы отправились в зоопарк, собственно, это она спросила, хочу ли я пойти

с ними. Я не был там уже много лет, и мне, показалось, что это те же лоснящиеся тюлени и те же грязные белые медведи, которых я видел, когда был здесь в возрасте Симона. Он был очень недоволен тем, что белые медведи оказались не такими уж и белыми. Когда мы в этот пасмурный день ходили между клетками и загонами с апатичными и меланхоличными животными, мне впервые не удалось удержать облик Инес перед своим внутренним взором. Я слышал, как Астрид чем-то насмешила Симона, тот расхохотался, а я про себя подивился тому, как быстро ей удалось создать вокруг мальчика нормальную атмосферу. Как она с помощью небольших, простых средств могла заставить его забыть свой страх перед тем, что произошло, прикрепляя кнопками к стене его рисунки, или вызвать на его лице улыбку посреди плача, водрузив на голову колпак от чайника и бегая по квартире с чайным свистком. Не успев снять с головы колпак, она встретила мой взгляд и слегка покраснела. Вероятно, она все еще была в напряжении, сама не осознавая этого, и находила отдушину, отвлекая Симона своими клоунскими номерами и своей кажущейся беспечностью. Но в те минуты, когда мальчик готов был горько и неудержимо расплакаться,

я видел смятение в ее глазах, которое относилось не только к безутешности сынишки, но и к ней самой. И тогда я вспоминал решимость, с какой она выбежала из ворот виллы, ведя за руку мальчика, преследуемая по пятам мужем, и села в такси, и снова слышал непреклонность в ее голосе, когда она крикнула мне, чтобы я трогал с места и ехал поскорее.

Однажды вечером она рассказала мне, что кинорежиссер поджидал ее у детского садика, когда она пришла туда за Симоном. Он был совершенно подавлен раскаянием и жалостью к самому себе. Я спросил ее, не надумала ли она вернуться к нему. Она ответила, что если я устал от их присутствия, то мне стоит лишь сказать об этом. Я отрицательно покачал головой. Нет, я вовсе не это имел в виду. Она бросила взгляд в сторону Симона, который сидел на диване, поглощенный мультиком. Нет, ее решение бесповоротно. Она стала убирать со стола, давая понять, что разговор окончен, и пошла на кухню мыть посуду. Я продолжал сидеть за столом, глядя за рисованными зверушками на экране телевизора, которые строили друг другу каверзы под аккомпанемент сумасшедшей музыки, напоминавшей скрип карусели, кружащейся на

большой скорости. Симон лег на диван, глаза его слипались. Я выключил телевизор и накрыл мальчика одеялом. Я посидел еще немного, глядя на него, а затем пошел на кухню, чтобы вытереть посуду. Она стояла над мойкой, неподвижно, словно вглядываясь во что-то в полутьме. Я подошел к ней, и она обернулась. Помню, что мы долго стояли так друг против друга в моей тесной кухоньке. Глаза у нее еще больше сузились, и она выжидательно смотрела на меня сквозь щелки. Я запомнил это, хотя все длилось не более секунды. Быть может, она ожидала, что я на что-то решусь? Быть может, движение, которое я потом сделал, раскрепостило что-то во мне или в ней? Или просто все произошло неожиданно, само собою, независимо от нас самих, во время этой внезапной паузы и внезапно возникшей близости, когда наши взгляды встретились? Я и не подозревал, что что-то произойдет, я даже не могу сказать, что надеялся на это. Не могу объяснить этот внезапный порыв, это едва заметное, но все решившее тогда побуждение, заставившее меня поднять руку и погладить ладонью ее щеку. Она медленно склонила голову набок и прижалась к моей руке. Я положил ладонь на ее затылок под мягким «конским хвостом», а она уткнулась

лицом мне в плечо. Кожа у нее была сухая и теплая, и я поглаживал волоски на ее затылке, напрасно пытаясь представить себе, что ощутит моя рука, коснувшись позвонков на ее шее, и что она подумает, ощутив там мою руку. Я не касался ни одной женщины с того вечера несколько месяцев назад, когда Инес ушла от меня во время снежной метели. Моя ладонь на шее Астрид, ее лицо, уткнувшееся мне в плечо, — всего этого я не мог себе представить в том безволии и отчужденности, которые владели мною тогда. Что-то происходило с нами помимо нашего желания, моя рука, ощущавшая ее кожу, мои губы на ее подбородке, ее волосы, щекотавшие мои ноздри, и незнакомый запах ее волос. Незнакомые, разные миры, чьи границы вдруг соприкоснулись. Я почувствовал ее руки на моих бедрах, она подняла голову и снова посмотрела на меня, и я не знал, что она там видит. Она закрыла глаза, быть может, оттого, что все это было так странно, и мы поцеловались, осторожно, неуверенно, точно нам предстояло вновь обучиться тому, что мы так давно и хорошо знали. Я не мог не думать об Инес, когда впервые целовал Астрид. Я видел ее фигурку, удалявшуюся и исчезающую за снежной завесой, и я подумал о том, что нахожусь уже в

другом времени, что то время миновало и теперь все начинается заново. Губы Астрид были совсем другими, и я думал о том, что и сам уже не тот, каким был тогда, но, с другой стороны, я не вполне понимал, в чем тут разница. Люди целуют друг друга, потому что не знают, что им еще делать. Нет ничего иного, кроме тех же глупых губ, тех же глупых рук, которые продолжают говорить все тем же языком, и между тем мир в эти минуты становится иным. Симон лежал на диване и спал, когда мы вошли в гостиную. В тот вечер мы так и оставили его спать на диване. Я не знал, где она проводила дни в ту первую неделю, когда они жили в моей квартире, впрочем, я вообще знал о ней чрезвычайно мало. И вот сейчас я тоже не знаю, где она: находится ли до сих пор в Лиссабоне или поехала дальше. Она исчезла так же неожиданно, как и появилась, без предупреждения, словно появилась из ничего в ту зимнюю ночь. Я вижу ее одинокой, снова одинокой, как в тот раз, когда она села на заднее сиденье моего такси со своим малышом, для того чтобы бросить все, что стало для нее привычным. Я представляю себе, как она сидит у окна, выходящего на незнакомую улицу, где играют дети, кричащие что-то на непонятном ей языке. Трамваи с шумом проносятся по улице

между облитыми глазурью изразцами фасадов, а она вспоминает то время, когда нашла приют у незнакомого парня, которого никогда прежде не видела, и удивляется тому, что именно с ним провела вместе столько лет. Я попытался представить ее себе, как наверняка делал это седоватый кинорежиссер, сидя одиноко в своей вилле, когда понял, что она выскользнула из его рук, и думал о том, что она находится где-то в городе, в неизвестном, недоступном для него месте. Быть может, она идет на закате дня по Россиу, по улице с дребезжащими трамваями и дымящимися жаровнями продавцов каштанов, в толпе людей, бродящих, свободных, гуляющих, и думает о том, как легко менять направление, сколь мало для этого нужно. А может быть, она идет вдоль реки и видит чернеющие небольшие паромы на поблескивающей глади воды, в лучах закатного солнца над речным устьем, позади тонких тросов моста, которые словно готовы перегореть. И сама она всего лишь силуэт среди множества силуэтов других людей, гуляющих по набережной.

3

Я отправился в Нью-Йорк пять дней спустя после отъезда Астрид. Я не мог знать, что она в это время находилась в Порту. Она просто-напросто исчезла. Я готов был отменить свою поездку и, когда самолет поднялся в воздух, уже пожалел о том, что уехал. Напрасно я успокаивал себя тем, что ей известны были мои планы насчет командировки и она знает, когда я вернусь домой. Сидя в самолете, я начал понимать, что отнюдь не мое беспокойство и не мои оставшиеся без ответа вопросы парализовали меня во все последующие дни, после того, как я увидел ее спускающейся по лестнице со своим чемоданом и услышал ее удалявшиеся по ступеням шаги. Я просто тосковал по ней, и тосковал все отчаяннее, по мере того как шли дни, а я не получал от нее никаких вестей. Когда она прежде по той или иной причине уезжала из дому, мы обычно шутили, что совсем неплохо будет чуть-чуть отдохнуть друг от друга. Я откровенно наслаждался возможностью остаться в квартире один по вечерам, когда Симон и Роза отправлялись спать, и к тому же

у меня находилось немало домашних дел, которые в ее отсутствие падали на мои плечи. Мне нравилось оставаться наедине с детьми, мне казалось, что они, оставленные на мое попечение, становятся ближе ко мне. Я читал им нравоучения, или мы все вместе выходили куда-нибудь поесть, поскольку у меня не хватало сил на покупку продуктов и готовку. У меня не оставалось ни одной свободной минуты, чтобы подумать о том, где сейчас Астрид и чем она занимается. А теперь времени у меня было хоть отбавляй. Я не мог объяснить себе почему, поскольку у меня не было на это никаких веских оснований, но в эти дни после ее отъезда во мне все больше и больше крепла уверенность в том, что я ее теряю. Прежде мысли об этом иногда посещали меня, но только в виде теоретической возможности. Могло произойти какое-либо несчастье, она могла заболеть или попросту влюбиться в другого, но все мои тревоги очень легко было развеять. Ее присутствие изгоняло их, и я посмеивался над своими опасениями, подобно тому, как мы посмеиваемся над стариковски-мудрыми предупреждениями какой-нибудь страховой компании о том, что жизнь полна опасностей. Точно так же как человек по-настоящему не верит в то, что с ним

может что-то случиться, так и я не мог представить себе, что с ней может что-нибудь произойти, или подвергнуть сомнению очевидную, почти банальную истину о том, что мы всегда будем вместе, до такой степени она была частью моих представлений о себе самом. У меня возникло ощущение, будто я пробудился ото сна и увидел вокруг себя мир, который лишь внешне напоминал тот, близкий мне мир. Когда я проснулся в то утро и увидел ее перину, которая лежала рядом с моей на постели, безупречно разглаженная, мне показалось, что мой мир был каким-то чужим, или, точнее говоря, исчезла граница, которая отделяла наш дом от остального мира. А когда я затем запер дверь тихой, пустой квартиры, где мы так долго прожили вместе, у меня возникло чувство, какое бывает, когда ты через много лет посещаешь места, где когда-то жил. Чувство, что лишь по прошествии определенного времени человек привыкает считать своим домом именно это место, а не какое-либо другое.

Последний раз я был в Нью-Йорке семь лет назад, но город за эти годы ничуть не изменился. Такси мчало меня через мост Куинсборо, а город высился на другом берегу Ист-Ривер с серыми вертикальными громадами небоскребов. И снова

я стоял в полусвете на дне глубоких, похожих на шахты улиц, оглушенный, не чувствующий от усталости собственного тела, в суетливом, бесконечном потоке машин и людей, по-прежнему все в том же потоке, что и всегда.

Добравшись до своего номера в отеле, я сразу же лег в постель, но уснуть не мог. Я лежал, глядя в окно, и видел, как небо, отражавшееся в стеклянном фасаде небоскреба, мало-помалу становится все темнее. На какое-то время я задремал, а когда очнулся и снова выглянул в окно, то увидел, что на зеркальной, темно-синей однообразной поверхности неба отражаются квадраты освещенных окон, за которыми люди в белых рубашках сидели перед голубоватыми экранами компьютеров или ходили вверх и вниз по этажам, похожие на привидения в галстуках в призрачном свете, не отбрасывающем тени. В это время в Европе уже была глубокая ночь.

Я воскрешал в памяти пустые, бесцельные дни после отъезда Астрид. Всякий раз, когда звонил телефон, я кидался к трубке, а затем, слыша собственный голос, называющий свое имя, втайне надеялся, что это звонит она. Однажды позвонил один из наших друзей. Он пригласил нас на ужин, и я изо всех сил постарался как можно непринуж-

деннее и убедительнее объяснить ему, что Астрид уехала погостить к своей подруге в Стокгольм. У меня не было ни малейшего желания встречаться с кем бы то ни было, но я понимал, что если откажусь, то это покажется еще более странным, чем если я явлюсь один. Если я действительно хотел придумать убедительную причину своего отказа, то мне следовало сделать это сразу же, а не объяснять, почему Астрид не сможет прийти. Я сказал, что приду с удовольствием, а потом злился на себя весь остаток дня. Вообще-то меня удивляло, что ей почти никто не звонит. Обычно телефон трезвонил постоянно, и звонили чаще ей, чем мне. Она, видимо, предупредила звонки знакомых своей версией насчет Стокгольма, так же как она проделала это с Розой. Если это так, то она, очевидно, планировала свою поездку на продолжительное время. Но Астрид ведь должна была понимать, что выдумка насчет Стокгольма может сработать не более чем на неделю. К друзьям редко уезжают на неопределенное время, и при ее долгом отсутствии правдивость этой версии будет подвергнута сомнению, и затем последуют недоуменные или озабоченные вопросы. Вероятно, целью ее шитой белыми нитками лжи было, скорее всего, намерение исчезнуть как

можно более ловко и незаметно. А после ее отъезда будет уже все равно. То, что она не наплела эту же ложь мне, было вполне объяснимо, если учесть, что я мог догадаться позвонить Гунилле, что я, собственно, и сделал. Она, очевидно, не хотела, чтобы я волновался, но зато, с другой стороны, могла бы предвидеть мое состояние после ее загадочного отъезда. Быть может, ее удивило, что я не настаивал на объяснении или не попытался удержать ее. Быть может, она ждала этого. А может быть, она уважала меня за это и это лишь подтвердило для нее правильность тайной причины ее исчезновения. Так я терялся в догадках, сидел и размышлял в своем кабинете, тупо и бессмысленно перебирая свои заметки о Сезанне. Проведя весь день за бесконечным переписыванием одного и того же абзаца, я почувствовал даже облегчение, заказав такси и поехав к друзьям в одно из северных предместий города, чтобы провести вечер за бутылкой выдержанного итальянского вина и за привычными разговорами обо всем и ни о чем.

Это был один из тех ужинов, на которых мы так много раз бывали все эти годы, встречаясь с одними и теми же людьми. Время от времени какая-нибудь пара разводится, и один из супру-

гов исчезает из виду, а другой спустя некоторое время представляет друзьям и знакомым свою новую половину. В остальном это все тот же более или менее постоянный круг людей, которые находятся на виду друг у друга, наблюдая друг за другом издали или вблизи. Некоторых из них я знаю еще со времен моей молодости, в частности хозяина дома, известного архитектора, и его жену, которая одно время была моей возлюбленной. Это было задолго до того, как она встретила своего нынешнего супруга, и за много лет до того, как я повстречал Инес, а потом Астрид. Она содержит небольшую лавку с разнообразной домашней утварью, привозимой из Индии и Бали. Когда мы беседуем с ней, она обычно доверительно кладет мне на колено руку и этот жест является как бы легким, безболезненным напоминанием о том далеком лете, когда мы оба были так молоды. Вместе с Астрид нас было бы восемь человек, но, к счастью, никто не выразил удивления по поводу ее отсутствия, и после того, как я снова повторил версию о Стокгольме последней явившейся паре, о моей жене вспоминали лишь время от времени. И вот я сидел с бокалом сухого мартини в руке, изображая из себя соломенного вдовца. Сидя спиной к окну, выходящему в сад

моих друзей, я пытался расслабиться и выглядеть как можно более непринужденно. Я оглядывал стильный интерьер гостиной с модной, довольно дорогой мебелью с некоторым налетом старины, не слишком бросающейся в глаза. Все вещи в комнате располагались столь гармонично, что она выглядела просторной и почти спартански обставленной. Я сам точно так же обставил бы свое жилище, если бы не пристрастие Астрид к смешению респектабельного антиквариата с почти откровенным, эксцентрическим китчем. Впервые я чувствовал себя в этом обществе посторонним, словно был затесавшимся сюда чужаком. Я принимал участие в разговоре только тогда, когда меня о чем-нибудь спрашивали, и не особенно прислушивался к тому, о чем говорили другие. Разговоры велись обычные. Меня поражало то, что даже если возникала какая-нибудь новая тема для беседы, то звучала она, как и все остальные. То есть я мог заранее предугадать, что скажет по этому поводу тот или иной собеседник, и даже как он об этом скажет, сообразно своей индивидуальности. Вместе с тем все говорилось с одинаковой иронией, с некоторой отстраненностью и отчуждением, точно все мы, сидящие вокруг камина, в сумерках, создававших особую

атмосферу, принадлежали к избранному обществу, к элите, которая с ироническим наклоном головы лишь констатирует немощь и глупость окружающего мира.

Я обвел взглядом сборище знакомых лиц. Каждый из нас является как бы пеленгом на горизонте другого, свидетелем его жизни. Поскольку мы знаем друг друга с давних пор, то не замечаем, как бежит время. Все мы в той или иной мере ровесники, жизнь у нас уже определилась, и вместе с тем мы еще не старики, и потому будущее представляется нам долгим и отдаленным, как горизонт, который постепенно отдаляется от человека плывущего по морю. У большинства из нас есть дети, одни завели их рано, другие позднее. Большинство из нас занимаются делом своей жизни так давно, что отпала надобность кому-то что-то доказывать. И тем не менее, достигнув определенной цели, мы немедленно начинаем строить новые планы. Мы все еще не можем представить себе, что грядут перемены, и не придаем значения тому, что очень скоро наше прошлое станет длиннее, чем наше будущее. Вместе с тем уже минуло немало лет с тех пор, как мы пришли на смену старому поколению. Быть может, кое-где еще остался какой-нибудь

древний, седой мастодонт, который отбивается от нас своим хоботом. Но тем не менее это наше время, в котором мы все решаем и определяем. Вот только до нас еще не доходит, что все это не навечно, мы все еще позволяем себе улыбаться благожелательной улыбкой, чувствуя дыхание молодых на своем затылке. Мы лишь смутно можем представить себе, что их жадный голод и неудержимый задор сменятся сытой терпимостью и болтовней, как только они займут места, на которых ныне восседаем мы. Пока еще мы не нашли ответа на все и можем еще задавать вопросы. И мы отказываемся верить тому, что когда-нибудь станем такими же напыщенными, и наши лица нальются кровью от вина и сознания собственной значимости, как у тех старых болванов, на смену которым мы пришли. Мы не устаем посмеиваться над ними, видя, как они цепляются за свое прошлое, подобно опасливым старикам, роющимся в ящиках шкафов своими дрожащими, покрытыми коричневыми пятнами руками из страха, что прислуга украла у них столовое серебро. Мы живем, конечно, тоже не без тревог, но у нас еще остались идеалы, мы еще можем сказать что-нибудь дерзкое и остроумное. И мы еще помним то удивительное ощущение

тепла в области седалища, после того как наконец уселись на свои местечки. Мы еще не забыли, каково было мерзнуть; даже сейчас мы едва можем поверить в то, что и вправду сидим на своих теплых местечках. И все-таки мы уже не в состоянии проникнуться сознанием, до чего должно быть тяжко молодым стоять на холоде в ожидании. Неужто они не могут немного подождать, думали мы, ведь мы-то ждали в свое время! Нам не дано постичь их чувства. Слишком много ненависти таится в их глазах. Нам трудно представить себе, каково будет тем, кто придет нам на смену, ощущать тепло оставленных нами сидений, хотя оно, в сущности, всегда одно и то же.

Один из гостей, инспектор музеев, вел какой-то бесконечный рассказ. Что-то о выставке, которую он недавно посетил. Он говорил, по своему обыкновению, пространно, и речь его была убедительна, как всегда. Он немного походит на Стравинского, и сам об этом знает. Он стал лысым еще в ту пору, когда мы вместе с ним изучали историю искусств и говорит все тем же безапелляционным, почти инквизиторским тоном, как и в те годы, когда мы целые ночи проводили в дискуссиях о том, до чего мудро поступил Марсель Дюшан, бросив заниматься искусством и

посвятив остаток своей жизни шахматам. Он не изменился, только стал старше, и теперь все чаще прерывает сам себя внезапным, оглушительным хохотом, точно разглагольствует перед почтительными слушателями только для того, чтобы внушить им малоприятное, обидное ощущение, будто они слушают его рассуждения исключительно ради его удовольствия, а вовсе не, как кажется окружающим, из уважения к его более глубокому взгляду на вещи. Я слушал его рассеянно, но мало-помалу до меня стало доходить, что речь идет о художнике, возлюбленном Розы. По мнению инспектора музеев, все эти его зародыши в пластике и медленно прокручивающиеся порнофильмы о детской проституции — разительный пример того, что авангардизм безнадежно мертв, поскольку когда традиция больше не является авторитетом, а ведь именно против нее направлен протест, когда сама эта провокация — всего лишь часть бесконечного камуфляжа, в который рядится новое направление; то, стало быть, само слово «авангард» есть не более чем малоубедительное оправдание того факта, что люди не знают дела, которым занимаются, что за душой у них нет ничего и что они усохшим фиговым листком прикрывают

свои претензии называться художниками. В сущности, возлюбленный Розы был одним из тех молодых бунтарей, которые считали свою несовершенную мазню ниспровержением истории искусств и из своей сточной канавы прямиком попадали в Синюю книгу. Все, о чем говорил мой плешивый друг, я бы и сам мог сказать и, в сущности, должен был бы радоваться, слыша, как он заставил окружающих смеяться над этим до краев налитым презрением, одетым во все черное молодцом, который, к моему тайному неудовольствию, возможно, скоро станет моим зятем. Тем не менее, сам не зная почему, я вдруг вздумал взять под защиту ожесточившегося, мрачного возлюбленного Розы, и впервые за весь вечер пустился в длинные рассуждения на этот счет, сам не зная толком, куда они меня заведут. Но тут инспектор музеев лукаво посмотрел на меня сквозь очки в металлической оправе как раз в тот момент, когда я сделал паузу, чтобы затянуться сигаретой. И, заполняя мою паузу, заметил, что он, впрочем, видел, как этот наш несгибаемый бунтарь оглаживал языком шею моей дочери. Его небольшие глазки, обрамленные стальной оправой очков, сверлили мое лицо, в надежде обнаружить в нем невольную грима-

су, подтверждающую его разоблачение. Но мое лицо оставалось непроницаемым, а в гостиной внезапно воцарилась тишина. Он не посмел бы этого сказать, во всяком случае такими словами, если бы Астрид была здесь, подумал я. Я мог бы с тем же успехом уступить и присоединиться к грубоватому хохоту остальных, сменившему молчание и заглушающему мучительную неловкость, которую испытывают обычно люди, когда кто-то в их присутствии переходит все границы дозволенного. Что ж, в этом не было бы ничего страшного, отчего бы мне не посмеяться над собой в их присутствии? Это будет всего лишь небольшая дань обычному дружескому ритуалу, при котором унижение расценивается как некий обоюдный залог. Приходится отдавать в заклад свое самоуважение и тем заслуживать уважение других, для того чтобы никто в этой дружеской компании не смел подумать, что у него кредит больше, чем у кого-то.

Перед тем как садиться за стол, я поднялся наверх, в ванную комнату, чтобы немного побыть одному. Я сидел на краю ванны, тупо уставившись на роскошные парфюмерные флаконы хозяйки дома и на букетики засохших васильков, повязанные кокетливыми бантами лилового цве-

та, которые были развешаны повсюду в качестве чисто женского добавления к безликой белизне сантехники. Маленький пятилетний отпрыск хозяев дома, «поскребыш», забыл в ванне желтого пластмассового утенка с большими синими глазами. Тот лежал кверху брюшком и улыбался мне ободряюще, будто пытаясь заразить меня своей жизнерадостностью. Я поймал себя на желании свернуть утенку шею, точно его простодушие было подлинной, живой, синеглазой открытостью миру, а не доверчивостью штампованной пластмассовой игрушки. В ту же минуту я устыдился своего порыва, словно и в самом деле совершил бы преступление, наказав пластмассового утенка за его счастливое неведение. И вдруг все вокруг показалось мне непрочным и фальшивым, как бы увиденным сквозь прозрачную воду, — в этом доме, где мы так часто бывали с Астрид, в окружении этих людей, которые претендовали на то, чтобы считаться «моими ближайшими друзьями». Зачем я пришел сюда? Что я здесь делаю? Каким образом они стали «моими ближайшими друзьями», это сборище ленивых, тщеславных, самодовольных, духовно закоснелых представителей среднего класса, которые, сидя там, внизу, равнодушно и бесстрастно роняют замечания о

Брунелло, как будто их заученные космополитические ужимки могут замаскировать их амбиции честолюбцев? Разве их гастрономический гуманизм и автомобильные поездки в Тоскану могут хоть кого-то заставить забыть, что все они до единого явились сюда из предместья с рядами жилых кирпичных домов, откуда каждый день в пять часов пополудни распространялся запах дешевой вареной колбасы. Безрадостного, забытого Богом предместья, где всегда была пасмурная погода и где их матери-домохозяйки, довольствуясь нейлоновыми чулками и синтетикой, мечтали о чем-то большем. Как будто их недосягаемая светскость, их некричащий, уверенный вкус, все эти томики стихов на ночных тумбочках могли скрыть тот факт, что они вышли из чресел этих изможденных, бесцветных женщин, ныне мамаш-пенсионерок с болями в спине, которых они посещали лишь по необходимости, втайне стыдясь их перманентов, напоминающих кудряшки пуделя, и их брючных костюмов из полиэстера. Теперь их мамаши сидят в своих желтых домах в предместье за столами, покрытыми цветастой клеенкой, и сами крутят себе сигареты, читая в газетах о «сильных мира сего», а иной раз им даже удается мельком узреть собственных чад

в этом беспечном, сверкающем, наводящем на них страх мире, который поглотил их отпрысков. Как же случилось, что я стал одним из них? Неужто я до такой степени состарился, что способен сидеть в их кругу и вместе с ними смеяться над негодующим молодым художником, который в своем гневе, присущем поре полового созревания, неистов в той же мере, в какой все мы закоснели в своей выверенной, заученной уравновешенности, свойственной поре зрелости? Не высмеиваем ли мы его уродливую фантастическую мечту сокрушить всех и вся только потому, что наши собственные, не менее уродливые, амбиции с возрастом ослабли и вынудили нас бросить оружие и нацелиться на те возможности, которые нам теперь доступны? Быть может, мы высмеиваем его экзистенциалистские потуги только потому, что сами уже давно ползаем на четвереньках, превратившись в социальных животных? Когда инспектор музеев с беспардонным и почти сладострастным цинизмом распинал молодого авангардиста — это ведь было не чем иным, как подсознательным оправданием собственного лишенного иллюзий бесстыдства, оправданием задним числом всех тех случаев, когда он лизал зад министру культуры, чинов-

нику из управления или именитому художнику ради достижения того, чего ему в конце концов удалось достичь. Я был сам поражен взрывом собственного негодования. В сущности, инспектор музеев и все остальные не сделали мне ничего худого. Быть может, я сидел на краю ванной и втихомолку поливал их грязью только затем, что мне необходимо было подавить все растущее отвращение к самому себе? Или, может быть, мне просто удалось увидеть их такими, какими они были на самом деле, только теперь, потому что у меня самого все пошло вкривь и вкось? Я видел перед собой инспектора музеев, его взгляд, брошенный на меня в наступившей тишине, тут же сменившейся всеобщим хохотом. Он смотрел на меня так, словно ему было известно то, что я изо всех сил пытался скрыть. Я был убежден, что Астрид непременно взяла бы под защиту Розиного художника. Она была от него не в большем восторге, чем я, но она принимала его, потому что Роза его любила. По крайней мере, она старалась скрывать свой скепсис в присутствии нашей дочери. Задолго до того, как дети стали взрослеть, она внушила мне, что я не должен навязывать им свои вкусы. Воспитание детей было одной из немногих проблем, которая могла служить у нас

поводом для споров. Я снова и снова критиковал ее слепую веру в то, что все будет хорошо, если только оставить детей в покое, а она неизменно отвечала, что я просто пытаюсь установить над ними контроль, чтобы формировать их личности, исходя из собственных понятий о совершенстве. Теперь, когда они так или иначе оказались недосягаемы для моего влияния, я вынужден был признать, что она была права. Симон и Роза вели себя так же независимо и самостоятельно, как и их мать, и если мне был не по душе Розин художник, то это были мои проблемы. Это могло бы стать проблемой для нее только в том случае, если бы я проявил бестактность и вслух высказал свой скептицизм.

Я сидел, нахохлившись, на краю ванны в доме моих так называемых друзей, горя желанием, чтобы Астрид была здесь и взяла под защиту возлюбленного нашей дочери, поскольку сам я предал его. И вообще все в этот вечер было бы поиному, если бы на ужине присутствовала Астрид. Никто бы не стал смеяться над ней так, как они посмеялись надо мной.

Стоило Астрид войти в комнату, как тон разговора сразу же менялся. Она оказывала заметное влияние на окружающих одним своим присут-

ствием, сама того не подозревая. В их глазах она была непостижима, потому что была рождена и воспитана такой, что ей легко давалось все то, о чем они сами мечтали, и ради достижения этого им приходилось прилагать немало усилий и даже унижаться. Ее побаивались из-за непринужденности, которую она могла себе позволить, в то время как другие находились в постоянном напряжении, думая о том, правильно ли они держат в руке бокал и тот ли нож употребляют для рыбы. Она происходила из семьи, некогда считавшейся «старинной фамилией», и хотя ее родители свалились в пропасть на своем «Ягуаре» в горах Неаполя, когда ей было всего лишь пятнадцать лет, они все же успели привить ей, так сказать, «врожденную» естественность, отличающую людей, за плечами которых несколько поколений аристократов. Она никогда не приходила в смущение, и ей был неведом ни страх снобов, ни их высокомерие. Она могла говорить с кем угодно и всегда и везде держалась просто. В ту пору, когда она вышла из школы-интерната, все ее аристократические привилегии остались в прошлом, и когда мы встретились с ней, то в ее положении о светскости говорить не приходилось, и тем не менее, она продолжала держаться

все с той же непринужденной естественностью, и когда ей нужно было за столом вытереть нос, то она проделывала это весьма стильно.

Астрид всегда была невозмутима. Любое бесцеремонное замечание, даже самая оскорбительная глупость отскакивали от нее, натыкаясь на ироническую усмешку и лениво сощуренные глаза, и я не раз видел, как какой-нибудь напыщенный, самодовольный хам или маленькая распутная интриганка спешили убраться восвояси, несолоно хлебавши, после попытки досадить ей. Она сама решала, когда ей нарушить ту незримую дистанцию, которую она воздвигла между собой и окружающими, и в такие минуты могла быть на удивление великодушной и простой. Но никто и никогда, и я в том числе, не мог угадать, о чем она думает. Будь она в тот вечер среди гостей, то по дороге домой развлекала бы меня своими наблюдениями, делаемыми ею без злорадства, но с почти безжалостным любопытством, потому что она никогда не уставала удивляться тем мелким играм, которые люди ведут друг с другом, той незримой бирже пристрастий и социальных положений, курс на которой меняется от часа к часу. Во время одного из последних посещений, когда мы вместе присутствовали на званом ужине,

она по дороге домой анализировала каждую из находившихся там супружеских пар, обращая мое внимание на каждый непроизвольный жест, каждое опрометчивое замечание, каждый мимолетный косой взгляд, которых я не заметил. Быть может, ей помогал ее опыт работы за монтажным столом, ее профессиональное знание о том, как объясняет ситуацию отрепетированное выражение лица и неконтролируемая изменчивость этих выражений и как меняется их смысл в зависимости от того, в какой истории они участвуют и каково их место в череде поступков и реплик. И в который раз она поразила меня тогда своей острой наблюдательностью. Но я все же не смог удержаться от того, чтобы не напомнить ей, что наши друзья наверняка теперь точно так же перемывают нам косточки. Ведь и другие, подобно ей, считают, что именно их точка зрения приоритетна, потому что каждый полагает себя центром мироздания, а всех остальных — планетами, вращающимися вокруг его орбиты. Каждый уверен, что именно его разум, его страхи, его желания определяют все в этом мире. Она пожала плечами, но я стоял на своем, утверждая, что никогда нельзя быть уверенным в том, как люди смотрят на тебя со стороны, и взгляд их невозможно

понять, поскольку он скрывает неведомое нам знание. Она лукаво улыбнулась, точно эта мысль подбодрила ее, и продолжала вести машину, не сводя глаз с белых полос асфальта, которые неслись навстречу нам, освещаемые дальними огнями.

В тот раз машину вела она, поскольку я был в легком подпитии. Ездит она быстро, в сущности, ей даже присуще некоторое лихачество, но руль держит с той же уверенностью, с какой управляется на кухне с остро отточенными ножами. Я разглядывал в профиль ее улыбающееся, загадочное лицо, ее глаза, не спускавшие взгляда с дороги, а сам между тем несколько неуверенно и многоречиво продолжал развивать свою мысль. Я спросил ее, не замечала ли она, что мы, говоря о других людях, стараемся умалять их, словно хотим видеть их как бы в далекой перспективе или в перевернутом бинокле. Разве одного этого факта мало, чтобы усомниться в нашей способности объективно судить о других? И если все мы станем давать характеристики другим, исходя из своей узкосубъективной точки зрения, то кто в таком случае может присвоить себе право утверждать, что его суждение есть единственное правильное? Если бы все бесконечные, противо-

речивые, пересекающиеся и накладывающиеся друг на друга точки зрения были бы в равной степени обоснованными, то каждый из нас сам по себе был бы чем-то иным, а не только безграничной, бессвязной и противоречивой суммой искаженных, неполных и несовершенных отражений в глазах друг друга.

Я привел в пример инспектора музеев. Мы знали, что он распутничает с ученицами художественной академии, хотя жена его об этом не знает. Но с другой стороны, ей, наверное, известно, что он храпит во сне или страдает геморроем, о чем его маленькие элегантные подружки из академии даже не подозревают. Мы знали, что он оговорил своего коллегу ради того, чтобы добиться своей нынешней должности, на которой изображает из себя бескомпромиссного и бескорыстного защитника тех, кто заведомо принадлежит к художественной элите; и как знать, быть может, именно в этот момент он пишет критический отзыв о моих текстах к каталогу выставки, хотя мне он говорил, что тексты эти выше всяких похвал. С другой стороны, мы, возможно, единственные, кто знает о том, что однажды, когда мы вместе проводили отпуск в Греции, задолго до его он женитьбы, он прыгнул

в воду с парусной лодки в открытом море, чтобы спасти от гибели бесхозного щенка, которого Роза подобрала где-то и притащила с собой на борт. На губах Астрид появилась загадочная улыбка, между тем как она резко повернула руль, чтобы обогнать едущую впереди машину и переместиться в другой ряд. Я продолжал говорить, ободренный ее выжидательной улыбкой. Но одно дело — утверждать, что мы мало знаем друг о друге, сказал я. Иное дело — много ли мы, в сущности, знаем о самих себе. Если человек неспособен увидеть себя со стороны, если в нем самом всегда остается неосвещенный угол или белое пятно, которое он сам не в состоянии увидеть или постичь собственным умом, как бы ни был он суров к себе, потому что, когда речь заходит о нас самих, мы всегда либо чересчур суровы, либо слишком снисходительны, и если и вправду найдется кто-нибудь, кто смотрит на нас непостижимо проницательным взглядом, обладая непостижимо проницательным знанием о нас, сам того не замечая, то не следует ли нам смириться с тем, что подлинная, истинная наша сущность, известная другому в полной мере, навсегда останется для нас тайной скрытой в глубине взгляда этого другого человека? Я умолк,

потому что в горле у меня пересохло, а она вдруг рассмеялась. Я был озадачен. Смеялась ли она над тем, что я говорил, или, быть может, каким-то своим мыслям, вдруг пришедшим в голову? Ведя машину, не сводя глаз с дороги, она заливалась хохотом, но не зло, а почти добродушно. Казалось, она увидела нечто забавное, там, в красных огоньках идущих впереди машин. Я обессиленно откинулся на спинку сиденья и стал глядеть на огни приближающегося города.

Быть может, ее просто рассмешило мое многословие. Астрид уже давно научила меня относиться иронически к самому себе. В ее представлении слова никак не могли помочь человеку приблизиться к действительности, а, наоборот, только мешали этому. Ее всегда восхищала моя способность произносить риторические тирады, но не из-за того, что именно я говорил. Так обычно восхищаются человеком, который умеет кататься на водных лыжах или ловко переворачивает на сковородке блины, подкидывая их кверху. Слова для нее были чем-то вроде довеска к сути. Слушая кого бы то ни было, она всегда учитывала, что представляет собой этот человек, и даже я в данном случае не был исключением. Например, когда мы куда-то собирались идти и она в пятый

раз меняла в спальне перед зеркалом свой наряд, то бесполезно было убеждать ее в том, что она выглядит прекрасно. «Это тебе так кажется», — возражала она с косой усмешкой, по-прежнему скептически оглядывая себя в зеркале. Мы оба, она и я, оставались скептиками, понимая, что существуют расхождения между действительностью, какова она на самом деле, и описанием ее, в котором отражается описывающий ее человек. Но мой скепсис всегда заставлял меня бесконечно играть словами, в то время как Астрид делала для себя совершенно другой вывод. Она предпочитала помалкивать, не давала воли словам, как будто считала, что только в тишине правда может выйти наружу. Когда я говорил, что люблю ее и что она — единственная женщина, с которой я способен испытывать счастье много часов подряд, она в ответ лишь улыбалась и застенчивым жестом откидывала мои волосы со лба, точно мои слова были чем-то вроде чересчур большого букета цветов. Она стеснялась слов, особенно громких, и тем ценнее были для меня те минуты, когда она сама вдруг обнимала меня сзади, со спины, и шептала, что любит меня. Однажды я спросил ее, почему она меня любит, но она лишь улыбнулась и ответила: «Потому». Что значит «потому»? Она

озадаченно посмотрела на меня, точно не понимая, о чем я спрашиваю. «Потому, что ты такой глупый», — ответила она и поцеловала меня в лоб. Для нее не существовало никаких «почему» или «потому», и в ее улыбке было даже нечто вроде разочарования, точно я признался, что не чувствую себя таким же уверенным, как она. Она была скупа на слова и не слишком верила в то, что ими можно все объяснить. Насколько холодной и непринужденной она могла казаться в обществе, когда мы с ней появлялись на людях, настолько же легко могла расслабляться, когда мы оставались наедине. Она предавалась мне полностью, без колебаний, с присущей ей безоглядностью. Она была великодушна в своей нежности, почти безудержна, потому что ее ласки не были строго отмеренными посланиями, на которые ждут ответа с нетерпением или опасением, они были как бы продолжением ее самой, отдававшей себя всю, целиком, с головы до пят. Иногда она в буквальном смысле ослепляла меня своей любовью, становясь невидимой, прикрывая мои веки поцелуями, касаясь их своими мягкими, теплыми губами. Но в тот вечер в автомобиле по пути домой с очередного званого вечера в кругу друзей она смеялась, вероятно, не оттого, что

меня, как всегда, куда-то занесло в моих высказываниях. Возможно, ей показалось, что я напрасно трачу так много слов. Хотя ей любопытно было наблюдать все эти петушиные бои социальных игр и любовные пляски, при которых люди обнажали свою сущность, демонстрируя похоть или зависть, сама она в глубине души была совершенно равнодушна к тому, как ее воспринимают окружающие. И хотя могла много часов проводить перед зеркалом, до тех пор пока в большей или меньшей степени не удовлетворялась своей внешностью, я думаю, что делала она это скорее ради самой себя. Это было для нее чем-то вроде игры. Примеряя по очереди свои платья и блузки, она, должно быть, вспоминала, как когда-то в детстве проводила долгие часы, одевая и раздевая кукол. Была какая-то тайна в ее уверенности сомнамбулы, когда она находилась среди людей. Я один замечал это, потому что знал, что она в эту минуту точно так же наслаждается внутренним покоем, как и тогда, когда у себя дома выходит из ванной после душа и бродит по квартире, нагая и влажная под своим разлетающимся кимоно.

Я открыл кран с холодной водой и подставил лицо под струю. Послышался осторожный стук в дверь. Я почувствовал, как кожу на лице стянуло,

и при ярком свете бра, висевшего над зеркалом, стал разглядывать бисеринки воды, оросившие его, словно пот. Все было не так, все вышло глупее некуда, мне не следовало сюда приходить. Я допустил ошибку, надо было найти предлог, все равно какой, или даже, ничего не придумывая, просто сказать, что прийти не смогу. Мне следовало бы сейчас сидеть дома за своим письменным столом и думать о Сезанне или просто смотреть в окно, вглядываясь во тьму над озером и в освещенные окна в ряде домов на другом берегу, окна, за которыми протекает чужая, незнакомая мне жизнь. В этот момент мне не хотелось быть нигде, только дома, в своем кабинете, наедине с собой и с видом, открывающимся из окна. Быть может, Астрид все-таки надумала позвонить. И вообще, все может быть не так, как я думаю. Но что именно я думаю? Что всё уже позади? Что она сбежала от меня с другим? Что я больше никогда ее не увижу? Что произошло какое-то несчастье? Что она покончила с собой? Я был точно слепой, простирающий руки в пустоту, не находя ничего, за что можно было бы ухватиться. Но к чему предполагать худшее? Снова раздался стук в ванную, и я узнал за дверью озабоченный голос хозяйки, подруги моей юности, девушки, с

которой я крутил любовь однажды летом, много лет назад, когда мы оба не знали, чем еще заняться. Если бы случай раскинул карты по-иному, то, быть может, именно я стал бы тем мужчиной, вместе с которым она бы теперь пользовалась этой ванной комнатой. Но разве в этом случае я не стал бы совершенно иным человеком? Человеком, которому с годами осточертела бы эта жизнь среди засушенных васильков, лиловых бантов и восточных тканей. И быть может, однажды этот человек прошел бы мимо незнакомой, чужой Инес или мимо Астрид, которая шла бы сама по себе мне навстречу, улыбаясь каким-то своим мыслям, а потом разминулась бы со мной и удалилась бы, идя по направлению к дому, погруженная в неясные, смутные мечтания.

Я разглядывал в зеркале свое лицо, покрытое бисеринками воды, точно испариной при лихорадке, а видел перед собой Астрид, стоявшую в дверях в утро ее отъезда. Видел ее странный, далекий и одновременно пристальный взгляд. Я вытер полотенцем лицо, открыл дверь ванной и улыбнулся как можно непринужденнее. Нет, ничего не случилось, всё в порядке, просто небольшие проблемы с желудком, не иначе как от кофе, я его выпил чересчур много, когда сидел

за работой. Все уже сели за стол. Мы с хозяйкой стали спускаться вниз по лестнице, и она остановилась на пол пути и спросила, надолго ли уехала Астрид. На лице ее все еще сохранялось выражение озабоченности, точно она забыла его стереть, а я подумал о том, многое ли могло сказать ей мое собственное лицо и догадалась ли она, что у нас не все ладно, хотя я и ответил ей, что Астрид вернется домой через неделю.

Садясь за стол, я сделал вид, что не замечаю устремленных на меня, полных любопытства взглядов. Шел разговор о большой, недавно открывшейся выставке Мондриана, и я включился в него, заметив, что Мондриан вовсе не выстраивал своих композиций заранее, как можно было бы предположить, а, напротив, работал интуитивно, о чем свидетельствуют его незавершенные картины, где можно видеть, как вспомогательные линии, проведенные углем, стирались и наслаивались друг на друга, пока художник не находил их внутренней целесообразности. Иными словами, это был метод работы, который можно наблюдать у абстракционистов-экспрессионистов, которые, как известно, много раз рисовали одну и ту же картину до тех пор, пока она не была завершена, что лишь говорило

о поверхностности подобного метода, но затем послужило признаком различия между конструктивизмом и экспрессионизмом. Я мог слышать, что все идет прекрасно, мой голос звучит спокойно и уверенно, но без назидательности, и даже инспектор музеев благожелательно поглядывал на меня сквозь очки в стальной оправе, как бы желая показать, что он всегда знал, что на меня можно положиться. А хозяйка дома, героиня моего давнего летнего романа, смотрела на меня взглядом, в котором читалась нежность, как будто я наконец выздоровел после длительной болезни. Распространяясь по поводу Мондриана и знаменуя этим свое возвращение в дружеский круг, я встречал то один, то другой устремленный на меня взгляд и спрашивал себя, каков я теперь в их глазах. Для одних я был известным искусствоведом, критиком, которого художники иногда даже побаивались, а для других — мужчиной, который способен был завоевать такую женщину, как Астрид. Но для некоторых я был высокомерным, далеким от житейской прозы эгоцентриком, интеллектуалом, который слишком много курит и наверняка не умеет даже лампочку ввернуть в патрон без посторонней помощи. Что касается инспектора музеев и хозяйки дома с ее засушен-

ными букетиками васильков, то для них я был тем, кто превратился в подобного субъекта из некогда чувствительного, нескладного, по-стариковски умного паренька, который убил попусту полтора года своей юности, терзаясь несчастной любовью к экзотически смотревшейся швабре, хотя любой мог бы предвидеть, что мне нипочем не удастся ее удержать.

Впрочем, многого они все же не знали, да и не могли знать. Многого из того, чего я и сам не знал, и то, что я знал, когда это происходило, но потом мое знание улетучилось, то ли из-за того, что все было забыто, то ли из-за того, что сам я изменился. Теперь я уже не тот, каким был тогда, когда встретился с Астрид. Я могу видеть это по тем немногим фотографиям, на которых я тоже заснят. Их немного, потому что я всегда терпеть не мог фотографироваться, мне казалось, что меня снимают в неподходящий момент — то ли из-за того, что я силюсь выглядеть натурально, то ли потому, что меня сковывает мысль о том, что сейчас будет запечатлено одно какое-либо выражение из сотни других, присущих мне, один какой-либо миг из тысяч часов и дней. Во всяком случае я всегда бываю напряжен и излишне напыщен, когда кто-нибудь нацеливает на меня

объектив фотокамеры, потому что неожиданно чувствую, что это не меня фотографируют, а кого-то, кто пытается походить на меня. Я вижу на фотографиях, как становятся резче мои черты, но не могу решить, то ли это мое истинное лицо постепенно проступает сквозь мягкую пухловатость юности, то ли мое изначальное лицо теперь изменили нажитые годами морщины и складки. Когда я встречаю на снимках, отображающих нашу жизнь, свой собственный несколько скептический взгляд, мне чудится, что человек на фотографии смотрит на меня и с удивлением спрашивает: неужто это и вправду я? Возможно, такое чувство испытывает и Астрид, хотя, конечно, об этом не думаешь изо дня в день. Она тоже изменилась. Теперь это уже не та женщина, которая однажды зимним вечером сидела на заднем сиденье моего такси, напевая песенку своему малышу, тем самым вечером, когда рухнуло все, во что она верила. Она, наверное, тоже удивляется, разглядывая свои старые фото, и спрашивает себя, неужели это те же самые глаза смотрят на нее сейчас сквозь даль времени. Те же глаза, которые когда-то с твердостью встретили настойчивый взгляд кинорежиссера, точно прочитав в нем, что ее ждет со временем, если она

сейчас не уйдет. Мы с ней изменились, живя бок о бок, одновременно и поэтому не замечали этих перемен и лишь время от времени обращали внимание на то, как выросли наши дети, видя, как они летом носятся по прибрежному песку, долговязые, вытянувшиеся, или следя из окна, как они отправляются в школу. Каждый этап стирал из памяти предыдущий, так было и с нами, и с детьми, и остались лишь фотографии и наша ненадежная память. Продолжая изменяться, мы редко над этим задумывались, да и то главным образом замечая, что происходит с нами, но не думая о том, что годы влекут нас за собой и уводят все дальше по жизни.

Я почти не помню, каким ощущал себя прежде до того, как стал жить вместе с Астрид. Вспоминать о том, каким ты был в молодости, — это все равно что вспоминать о паре башмаков, которые носил когда-то, о паре старых, изношенных, давным-давно выброшенных на свалку башмаков. Мы думаем о них только как о своих старых башмаках, и точно так же говорим мы о себе в молодости, хотя башмаки были в ту пору новыми, и, строго говоря, это мы сами стали старше. У меня почти не сохранилось фотографий с того времени. Осталось лишь единственное фото с Инес,

снятое в Амстердаме. Я никогда не показывал его Астрид, просто не представилось случая, а если она все же когда-нибудь ненароком увидела его, то ничего мне об этом не сказала, быть может, потому, что не хотела признаваться, что роется в бумагах у меня в кабинете. Снимок лежит между страницами монографии о Вермере, рядом с цветной иллюстрацией его знаменитой картины, изображающей молодую девушку с жемчужными серьгами в синем тюрбане, стоящую в темной комнате, озадаченную своим одиночеством. Губы у нее полуоткрыты, а в глазах, повернутых к свету, чтобы встретить чужой, пристальный взгляд зрителя, — выражение страха и ожидания. На амстердамском снимке я сижу рядом с Инес, положив ей руку на плечи, в окружении японских и американских туристов, на борту одного из прогулочных катеров, курсирующих по каналам города. Мы все смотрим куда-то вверх, а некоторые из нас приветственно машут фотографу. Такие снимки он делал уже тысячу раз, этот неизвестный фотограф. Я почти не узнаю нас обоих, сидящих среди туристов в тот весенний день в Амстердаме много лет назад. Люди, случайно собранные вместе, чтобы спустя полчаса разбрестись в разные стороны, люди, многие из

которых уже наверняка давным-давно умерли. Все мы выглядим такими веселыми, быть может, из-за того, что мы в Амстердаме, а может, потому, что наконец выглянуло солнце и его отсветы — на зеленоватой воде канала и на наших еще влажных дождевиках и закрытых наконец зонтиках. Наши лица на фотографии настолько мелкие, что черты почти неразличимы. Мне приходится прибегать к помощи лупы, чтобы разглядеть их. Инес с влажными волосами, прислонившаяся ко мне головкой, такая милая, вовсе не похожая на роковую женщину, из-за которой мужчины готовы завыть на луну, как волки. Глаза у нас совсем крошечные, похожие на черные тычинки в глубине фотографии, передающей уменьшенные детали катера и людей.

Наши глаза — всего лишь крошечные темные пятнышки в плоскости остановленного мгновения, в смешении красок и теней, отражения всего того, что было прежде и что придет позднее: воспоминания, неуверенность, забвение и пламенные надежды.

Я не могу вспомнить, что я тогда видел, не могу вспомнить нашей с Инес поездки по каналам Амстердама, и я спрашиваю себя, осталось бы у меня вообще хоть какое-то воспоминание о том

времени, если бы не эта фотография, на которой я сижу рядом с Инес, улыбаясь и подняв глаза кверху. Я раздумываю над тем, не наша ли с ней фотография заслоняет все другие воспоминания. Инес прислонилась головой ко мне, нежно, по-девичьи, то ли чтобы угодить фотографу, то ли затем, чтобы осталась хоть фотография, показывающая, до чего милой она может быть. Я помню ее запах, резковатый запах ее мыла, который всегда вызывает у меня мысли об Испании, хотя мы никогда там не были вместе с ней и только ее имя ассоциируется с этой страной. В руках у нее плоский бумажный пакетик, и я знаю, что там внутри открытка, которую она только что купила в музее. И я помню репродукцию на ней, хотя и не могу ее представить себе сейчас. Там был нарисован фазан с невидящими, потухшими глазами, висящий на крюке вниз головой. Рисунок был сделан аккуратными, едва намеченными штрихами. Не могу вспомнить, о чем я думал в тот момент, когда Инес прислонила свою голову к моей, помню лишь, что это значило для меня, или я надеялся на то, что это будет что-то означать, впрочем, это уже давно не имеет никакого значения. Мои глаза смотрят на меня, подобные двум крошечным черным булавочным

головкам, смотрят из той давней, давно угасшей секунды, но заглянуть в них я не могу, потому что они слишком малы, и к тому же там, позади моего юного лица, черно, оно освещено лишь бледными лучами весеннего солнца, неожиданно появившегося над каналом. Я знаю, что любил ее, но не могу вспомнить, каково было тогда знать об этом, каково было чувствовать эту любовь. Я знаю, что моя любовь терзала меня, но не могу возродить в себе ту давнюю боль или неожиданные всплески счастья. Я могу говорить себе, что в действительности не она заставляла меня страдать до того, что я раздирал себе кожу в кровь, что это не ее я любил, но свое собственное отчаяние, созданную мной самим ядовито-глянцевую картинку той, какой она могла быть или какой я хотел сделать ее. Я могу говорить себе, что моя молодая, жадная и пылкая любовь к Инес была ослеплением, фата-морганой, но я не могу знать этого наверняка. Воспоминание о ней быстро превратилось в бесчувствие, и вскоре я уже больше не ощущал ничего там, где прежде гнездилась боль. Рана затянулась и превратилась просто в шрам, лишенный нервных окончаний.

Оглядывая сидящих за столом, я продолжал говорить о Мондриане и объяснял слушателям, что

неверно было бы трактовать свойственные ему краски и вертикальные и горизонтальные линии как эмблемы антиметафизического, технически зафиксированного рационализма столетия и что его столь конкретные на первый взгляд абстракции скорее надо рассматривать в свете его теософского мистицизма, древней восточной мечты о космической гармонии. Я обратил их внимание на его ранние пастельные пейзажи с их темными лесными лужайками и зеркальной поверхностью озер, озаренных сумеречным светом, и аргументировал эти его картины тем, что Мондриан на самом деле был стихийным романтиком. Все слушали меня сосредоточенно, почти с благоговением, и даже инспектор музеев одобрительно кивал своей лысой головой. И вдруг мне показалось, что он похож на собственную карикатуру с его плешью на макушке и очками в поблескивающей металлической оправе и со своей почти сатанинской усмешкой, как бы говорящей, что ничто в этом мире не может его удивить даже в малой степени и что он, разумеется, настолько хорошо знаком с духовными пристрастиями Мондриана, как если бы речь шла о его родном дедушке. Я бросил взгляд на хозяйку, обладательницу засушенных васильков, и она

в ответ улыбнулась с видом игривой кошечки, и от этого толстый слой пудры на ее щеках едва не пошел трещинами. Она явно ничего не знала о Мондриане и таращила глаза, словно внимала моим речам ими, а вовсе не ушами, украшенными серьгами, напоминающими позолоченные елочные шары. И она также походила на карикатуру той легкомысленной девочки, которую я когда-то повалил на траву, чему она нисколько не сопротивлялась и даже поднялась на локотки, чтобы я смог заглянуть в вырез ее блузки. Теперь она запихнула свои груди в черный бюстгальтер, который был по крайней мере на размер меньше, и сделала это, несомненно, ради того, чтобы напомнить окружающим о своей былой легендарной полногрудости. Ну а я сам? Неужто это и вправду я сам сижу тут и, умничая, разглагольствую о Мондриане? Разве я сам не карикатура того лощеного искусствоведа, который может сказать нечто весомое и умное о художнике лишь после того, как тот умер и стал знаменит? Я улыбнулся, и наверняка милейшей улыбкой, моей бывшей подруге и вспомнил тот момент, когда она повлекла меня за собой в пляжную кабину. Я даже смог вспомнить ощущение влажной кокосовой циновки под моими ягодицами и ее

прохладные, округлые груди, выскользнувшие из купальника. Улыбаясь ей и как бы отвечая на ее невинный символический застольный флирт, я думал про себя, что давние совместные переживания людей определяют сквозную мелодию той музыки, которую они впоследствии станут играть в унисон. Она была на пару лет старше меня, и в те годы этого было достаточно, чтобы она уже имела эротический опыт, а я все еще брел наугад. Тогда я был молод и чувствовал, что внутри я не тот, кем кажусь постороннему взгляду, не тот неловкий, застенчивый паренек, которого она взяла под свою опеку опытной женщины. Я представлял себе, что в один прекрасный день избавлюсь от своей неуверенности и постепенно стану самим собой, бесстрашным и неколебимым. Я жаждал показать всем, каков я на самом деле. В ту пору я был открыт всем, можно сказать, распахнут настежь и позволял каждому видеть себя насквозь. Я был доступен, подвержен любому влиянию и с тревогой всматривался в свое отражение в каждом брошенном на меня взгляде. А теперь я сидел здесь, посылая хозяйке свою самую плутоватую улыбку, но действительно ли это я, тот, кем я стал? Разглагольствующий шарлатан с благообразной физиономией, который способен

сидеть здесь и подавать им Мондриана словно на тарелочке, тонко нарезанными ломтиками? Неужели я заплатил за свою взрослую самонадеянность, за непоколебимость своих взглядов и устойчивость воззрений тем, что превратился в эту застывшую маску? Осталось ли что-нибудь под маской? Скрывается ли еще за ней нечто иное, потаенное?

Я вызвал смех слушателей, рассказав историю о том, как Мондриан покинул группу «Стиль», оскорбленный тем, что ван Дусбург изменил принципу строго вертикальной и горизонтальной живописи, начав рисовать косые квадраты, так как счел диагональные формы более «динамичными». Они смеялись над этим примером почти фанатического пуританизма, а я думал о том, что имении этот благодушный, безапелляционный, хорошо темперированный смех отличает художника, подобного Мондриану, от этого сборища конформистских, признающих лишь собственный вкус, зараженных интеллектуальной ленью снобов от культуры. Но, в сущности, Мондриан был мне глубоко безразличен, так же как мне стал безразличен Сезанн после отъезда Астрид. Впервые за все время я утратил всякое желание писать, пропало творческое возбужде-

ние или ожидание того, что сейчас фразы одна за другой станут ложиться на бумагу, возникнут одно за другим слова, сбегая с кончика пера и ложась в длинные, неровные синие строки, высыхающие на листе бумаги. Я начал писать уже после встречи с Астрид и стал зарабатывать этим на жизнь, когда Роза была еще совсем малышкой. Если бы что-то помешало мне писать, я, наверное, задохнулся бы от сгустившейся тривиальности будней. Я мог дышать лишь в плоском, неподвижном, безмолвном мире картин, потому что для меня это был подлинный, живой, шумный мир, который постоянно втягивал меня в свой водоворот, говорил со мной и требовал ответа. Один из этих двух миров взывал ко мне, когда я находился в другом, и моя взрослая жизнь состояла из постоянного, ежедневного перемещения из одного мира в другой. Когда один из миров смыкался позади меня, передо мной открывался другой мир, со всей суетливостью будней, и тогда я мог посреди этой сумятицы, в поисках банки с анчоусами вдруг задуматься о том, что пустые бутылки в кладовой напоминают мне об одной из робких, меланхолических диагональных композиций Мондриана. Точно так же, посреди размышлений о пористых мраморных яйцах Бранкузи, я не мог

отогнать мысли о светлом пушке на ягодицах Астрид, когда они по утрам бывают освещены солнцем, полосами проникающим в спальню сквозь жалюзи. Это было уязвимое, изменчивое, причудливое равновесие, которого я достиг, и я никогда не мог представить себе, что когда-нибудь могу оказаться лишь в одном из этих миров, отрезанный от другого мира. Но теперь, когда Астрид уехала, в квартире стало так же тихо и безмолвно, как в покинутых, серых комнатах на картинах Хаммершоя с их белыми дверями, распахнутыми настежь в пустоту, и мне нечем было заняться и некуда пойти. Живя рядом с Астрид, я стал таким, каков я есть теперь. Все то, что связывают с моим лицом и моим именем, возникло за то время, что мы были вместе. И не только то, что я написал за это время, но также и многие мои особенности, реакции и привычки — словом, все то, что считается присущим мне. Если правду говорят, что первое впечатление, полученное от человека, надолго остается определяющим и от него зависит, как распределяются тени и свет в постепенно складывающемся окончательном представлении о нем, то я с годами стал именно тем неизвестным шофером такси, который однажды зимним вечером вез в город Астрид и

Симона и которому она спустя несколько дней скорее испытующе, чем удивленно, заглянула в глаза, когда он, подняв руку, погладил ее по лицу. Во всяком случае я именно так представляю себе преображение, отдалившее меня от того мрачного юноши, который сидел рядом с Инес на прогулочном катере, курсировавшем по одному из каналов Амстердама. Он и шофер такси — почти одногодки, но тот из них, которому Астрид заглянула в глаза, превратился в другого, неизвестного человека, которого и я, и она начали узнавать одновременно. Именно она первая разглядела его, ее взгляд освободил меня от уродливого юноши из Амстердама и его снедающей тоски. Она обо мне ничего не знала, в ее глазах я мог быть другим, а вовсе не тем отвергнутым юнцом, который готов был расшибить себе лоб об одну и ту же стену в бешенстве от ревности, стыда и уязвленного самолюбия. Астрид освободила меня, даже не подозревая об этом. Мир вновь стал доступен, и я больше не чувствовал себя отверженным уродцем, вынужденным красться по улицам, прижимаясь к стенам домов, а любовь больше не была ненужной затеей, и я пообещал себе самому, что больше никогда не стану любить понапрасну и не буду больше стоять со своими

чувствами нараспашку, как инвалид войны, разгуливающий напоказ со своими медалями за храбрость, полученными на войне, о которой никто не помнит. Все случилось очень быстро, но это была более неспешная, сдержанная, почти аристократическая разновидность любви, а не тот лихорадочный, изнуряющий голод, который заставлял меня барабанить в закрытую дверь побелевшими костяшками пальцев. Вначале у меня даже голова кружилась от легкости. С Астрид можно было вести себя открыто, все было можно, все просто, и не было надобности взвешивать каждое слово, вымаливать ласки патетическими излияниями или робкими вопросами. Мы пока еще знали друг о друге ничтожно мало, и тем не менее как-то само собой получилось, что Астрид и Симон остались жить в моей небольшой квартире. Теперь я начал ездить днем, в часы, свободные от лекций, а когда к вечеру возвращался домой, они были уже там. Удивительное ощущение — видеть в окнах своей квартиры свет и слышать доносящиеся оттуда голоса, когда ты возвращаешься домой. По вечерам мы укладывали Симона спать на диван, а сами отправлялись в спальню. Вскоре мы стали по очереди утром отводить его в детский сад.

Как-то утром, когда я шел с ним по улице, пожилая женщина бегом догнала нас и с улыбкой протянула мне какую-то вещицу, говоря, что мой сын обронил варежку. Я не заметил, как Симон ее потерял, я даже не обратил внимания, что Астрид надела на него варежки. Я улыбнулся в ответ чуть смущенно и сконфуженно, точно я был похитителем детей, и притом невнимательным, безответственным похитителем. Если у этой женщины у самой были дети, то они, вероятно, уже давным-давно покинули родительский дом. Что-то материнское было в ее улыбке, и чувство это было обращено не только на Симона, но и на меня. В ее глазах я был милым, немного рассеянным молодым папашей, который еще не вполне справлялся со своими новыми обязанностями. Продолжая идти с Симоном по улице, держа его ручонку в своей и отвечая на его невысказанный вопрос, я украдкой присвоил себе этот незаконный статус. Он сыпал вопросами направо и налево, спрашивая обо всем на свете, и, отвечая ему, я вдруг понял, что я для него бесконечная вселенная знаний, столь же громадная, как библиотека в Александрии. Итак, я не только вел двойную игру с проходящими мимо пожилыми дамами, но к тому же изобра-

жал отца перед самим малышом, отвечая на его вопросы о том, далеко ли до солнца и что будет с человеком, когда он умрет. Как и библиотека в Александрии, мои собственные представления о порядке вещей давно сгорели и улетучились, как дым, но тем не менее мальчик ловил каждое мое слово, непоколебимо веря в то, что я знаю все и могу судить обо всем на свете. Когда Симон уставал от ходьбы, я сажал его к себе на плечи, а он вцеплялся мне в волосы. Я удивлялся легкости его тельца и думал о том, что здесь, посреди большого, шумного утреннего движения, он полностью зависит от меня, чужого человека, который поцеловал его мать, сам не зная, почему он это делает, а вернее, просто потому, что это взбрело ему в голову. Я думал также о седоватом режиссере, вспоминая, как однажды холодным зимним вечером он стоял в одной рубашке и умолял вернуться Астрид, сидевшую в такси. Когда-то она наверняка думала, что именно с ним определится ее жизнь, постепенно становясь историей. Мальчик, сидевший у меня на плечах, был живым доказательством того, что она некогда именно так думала о человеке, кричавшем ей вслед. Симон теребил меня за уши и за волосы, когда хотел обратить мое внимание на что-то, и

я, отвечая на его бесконечные вопросы, думал о том, что этот малыш в зимнем комбинезончике, живое доказательство любви, которое я нес на плечах, был единственным, что осталось от этой любви после того, как мечты Астрид рухнули. Он выкарабкался из этой истории родителей подобно тому, как выбрался когда-то из тела матери. Он последовал за ней из одной истории в другую, историю, которой никто из нас не предвидел и о которой даже не мечтал. Я никогда не буду отцом Симона, а навсегда останусь другим человеком из другой истории, и, шагая с ним в синеве зимнего утра среди шумного потока машин и спешащих пешеходов с облачками пара изо рта, я думал о том, что время голубоглазой открытости прошло, миновало и время невинной бездеятельности, когда ничто не предписывается тебе заранее, когда ты можешь быть кем угодно и произойти с тобой может что угодно.

Астрид, должно быть, думала примерно о том же в те первые утра, когда мы просыпались в моей постели и тянулись друг к другу с полусонной, осторожной, чуть неуверенной лаской. Она, наверное, тоже спрашивала себя, много ли ее осталось в том тупике, из которого она вышла, и осталась ли она прежней теперь, когда дарит

те же ласки другому. Мы встретились с ней по чистой случайности, и мы оба наслаждались чувством отринутости от всего мира в те первые недели, когда были вместе в моей чересчур маленькой квартирке, и никто еще не мог знать, что она находится здесь и что я больше не лежу в постели один, изнывая от собственной заброшенности. Я чувствовал необыкновенную легкость, я наконец был свободен, и впервые за долгое время ко мне вернулась способность смеяться. Шли месяцы, мы стали выходить вместе и перезнакомились с друзьями друг друга. Астрид развелась со своим кинорежиссером, и весной мы нашли себе квартиру попросторнее. Наша история началась, она обрела свою интонацию и стиль, и чем чаще кто-нибудь из нас рассказывал о нашей встрече зимним вечером в такси, тем больше она начинала звучать как миф о начале нашей любви. По мере того как эта забавная история распространялась, наша случайная встреча начинала походить на некий судьбоносный час, и по мере того, как шло время, годы до нашей встречи превращались в исторические кущи с заросшими тропками, ошибочными экспериментами и незавершенными набросками. Но временами, когда я в очередной раз слышал себя

рассказывающим эту историю, память моя все ярче высвечивала случайность нашей встречи. Я вспоминал невесомое, призрачное ощущение, что я вдруг отступил в сторону от своего пути и вступил в другой мир, где и сам стал другим, не тем юношей, который забрел неизвестно куда в своих незрелых, вымученных мечтаниях об Инес. В короткие, быстро проходящие мгновения между бодрствованием и сном я спрашивал себя, потому ли столь безоблачна моя любовь к Астрид, что я наконец научился любить по-настоящему, или просто потому, что я научился любить не так сильно. Это была лишь мимолетная мысль, и она сразу же улетучивалась, когда я видел перед собой Астрид. Так было, к примеру, в один из вечеров, когда мы вышли с ней в город поразвлечься, отправив Симона гостить к отцу. Она любила танцевать, и когда стояла при звуках оглушительной музыки, в слепящем свете, кружась с закрытыми глазами, погруженная в себя, то казалась мне островом посреди шума и трясины из движущихся, меняющихся силуэтов, островом, к которому я прибился, обнимая ее. У нее не было особых возможностей потанцевать, когда она была замужем за кинорежиссером. Его это нисколечко не интересовало и постепен-

но перестало интересовать и ее. Из-за него она чувствовала себя намного старше, чем была на самом деле, и, встретив меня, как бы вернулась в свою юность. Так она описывала это мне. Словно попала не в то время, а теперь вернулась к исходному пункту, слегка озадаченная тем, что за этот период успела стать матерью. Она и впрямь казалась совсем девчонкой, когда барахталась в постели с Симоном, дурачась и играя с ним. В эти минуты она больше напоминала его старшую сестру, вспомнившую свое детство. Было удивительно стоять и обнимать ее, кружась в танце, подобно тому, как я нередко танцевал с какой-нибудь незнакомой девушкой в те бесчисленные ночи, что проводил в городе. Было странно, что мы танцуем с Астрид так же, как я танцевал с другими, как будто мы только что встретились друг с другом, молодые и свободные, а между тем нас уже двое и мы принадлежим друг другу.

Домой я отправился в такси вместе с инспектором музеев и его женой. Я уже собрался было уходить, но он как раз заказал машину, и мне неловко было отказаться от его предложения подвезти меня. На прощанье я поцеловал хозяйку дома, а она интимно заглянула мне в глаза и, положив ладонь мне на грудь, коснулась кончи-

ками пальцев кожи в просвете рубашки между двумя пуговками. При этом она сказала, чтобы я берег себя. Я улыбнулся, на этот раз чуть глуповато, и пообещал ей, что непременно буду беречься. Что она, собственно, вообразила себе? Легкий флирт в память о прошлом в отсутствие Астрид и ее мужа, который в это время стоял на улице, поджидая наше такси? А может, она хотела, чтобы я в приступе мгновенного, мимолетного влечения уверил ее в том, что она по-прежнему привлекательна, как в былые времена? Или ей не терпелось напомнить мне, что она, по ее разумению, обладает неким приоритетным правом на мой отросток только потому, что смогла потрогать его задолго до Астрид? И чего я, собственно, должен беречься? Может, ее красных, наманикюренных коготков? Что удалось ей узреть? Неужто мое лицо и вправду как открытая книга? Быть может, именно она единственная из всех присутствующих смотрела на меня с тайным, непостижимым знанием, видя то, что было сокрыто даже для меня самого? Мысль об этом немного раздражала и беспокоила.

Полил дождь, и мы припустили рысью к подруливавшему такси, что было весьма легкомысленно; впрочем, так поступают все люди,

бегущие под дождем, воображая, что если бежать быстрее то меньше намокнешь. Инспектор музеев сел на переднее сиденье, а я сзади, рядом с его женой, довольно красивой, но полноватой женщиной с аккуратной короткой стрижкой. Он, который кутил напропалую в годы нашей юности, шатаясь по барам и вечеринкам подобно дикому дионисийскому кентавру, и залезал в трусики к каждой смазливой девице, в конце концов женился на этой мягкой, застенчивой и неприметной женщине, и не я один немало дивился его выбору. Поначалу мне казалось, что дело здесь в неком моральном перерождении, да и сам он говорил о будущих детях с сентиментальным пиететом, в котором я никогда не мог бы заподозрить его. Но детей они так и не завели, а он вскоре опять принялся за старое, бесчинствуя, точно лис в курятнике. С годами он и впрямь стал напоминать старого лиса, не утратившего вкуса к молодому мясцу. Я не переставал удивляться тому, что новое поколение юных красавиц нашего города, подобно своим более зрелым и вечно рожающим предшественницам, также не в силах было устоять перед этим лысым, тощим, отнюдь не мужественным человеком. Объяснение этому я услышал от одного нашего общего знакомого,

лирика, который сам все еще выглядел так, точно ему лет двадцать пять, и ни дня больше. Я не должен забывать, сказал он, что молодые женщины всегда витают в облаках. Кожа у инспектора, быть может, и впрямь слегка пообвисла, но его глаза в очках со стальной оправой все еще излучают неотразимое обаяние мужской силы.

Он не делал секрета из своей все прогрессирующей неверности ни для кого, кроме своей кроткой, ни о чем не подозревающей жены. Вероятно, он надеялся, что его друзья пощадят ее чувства и не откроют ей неприглядной правды о его беспутстве. Я был немного шокирован его поведением и не скрывал этого от него, между тем как на Астрид его переходящая все границы неверность не производила ровно никакого впечатления. А когда я однажды спросил ее, что бы она сказала, если бы я в один прекрасный день пустился во все тяжкие подобно нашему другу, она поцеловала меня в лоб и ответила, что у меня на это нервишек не хватит. Она наблюдала за его любовными шашнями, не осуждая, но и не оправдывая его, отстраненно, словно речь шла о незначительном проступке, который не стоит того, чтобы о нем рассуждать. Видимо, в этом она была права, и я даже восхищался ею за эту способ-

ность делать различия между теми сторонами его натуры, которые были ей несимпатичны, и теми, которые она в нем ценила. У нее была слабость к циникам, к их беззастенчивому кощунственному юмору, и инспектор музеев иногда заставлял ее хохотать до слез. Во время ужина я сидел за столом несколько поодаль от его жены, и нам не удалось поговорить. Теперь же она, вероятно, захотела проявить любезность и задала мне вполне невинный вопрос о том, как поживает Астрид и какой фильм она сейчас монтирует. Я отвечал на ее вопросы, и у нас даже вышла короткая беседа, пока мы ехали по направлению к городу. Я всегда действую успокаивающе на застенчивых людей, в моем обществе они чувствуют себя более уверенно, и у них развязывается язык, что может показаться несколько тягостным, но в то же время и спасительным в некоторых случаях, вот как, например, сейчас, когда мы с ней очутились вместе в тесном салоне такси. Под конец она окончательно расчувствовалась и попросила у меня прощения за то, что ее муж так неуважительно говорил о моей дочери за аперитивом. Я не согласился с ней и заметил, что, строго говоря, неуважительно говорилось не о Розе, а о ее возлюбленном. Инспектор музеев тут же ухватился

за мой оправдывающий его маневр и подтвердил, что речь шла вовсе не о Розе. И, собственно, с чего это она вмешалась в эту историю? В конце концов, почему бы не позволить себе быть откровенным, когда беседуешь со старыми друзьями? Но его жена возразила, что всему есть границы, ведь речь идет о совсем молодых людях, и откуда ему знать, может, я считаю возлюбленного Розы славным парнем? Инспектор музеев презрительно фыркнул при словах «славный парень» и повторил свою уничижительную оценку смехотворной и фанатической приверженности этого «славного парня» авангардизму. Я попытался выступить в качестве посредника в споре между ними, но кончилось тем, что я взял под защиту инспектора музеев. Их перебранка прекратилась лишь тогда, когда она попросила шофера остановить машину около ночного киоска и вышла, чтобы купить сигареты. Мы сидели молча в ожидании, несколько скованные присутствием шофера, но вдруг инспектор повернулся ко мне и посмотрел на меня взглядом, в котором читалось почти отчаяние. Он сказал мне, что я счастливый человек. Что он имеет в виду, спросил я. Ну, я счастливый человек, пояснил он, потому что у меня есть Астрид. Я не знал, что на это ответить,

и сосредоточился на том, чтобы не выдать чем-нибудь охватившего меня волнения и спокойно встретить его полный отчаяния взгляд в полутьме машины. Запах алкоголя, исходивший от него, достигал заднего сиденья в углу, где я сидел. Ему хотелось бы кое-что рассказать мне. Говорила ли мне когда-нибудь Астрид, что он однажды, когда я был в отъезде, попытался затащить ее в постель? Ему явно было безразлично, что шофер сидит с ничего не выражающим лицом и жадно ловит каждое наше слово, лениво наблюдая, как дождь стекает по ветровому стеклу длинными полосами. Он сказал, что беспокоиться мне не о чем. Это случилось давно, пять лет назад, не меньше. К тому же она отвергла его. Впрочем, я, наверное, другого и не ждал, не так ли? Он помаргивал за стеклами очков, в которых отражались отблески неоновой рекламы. В его глазах была какая-то демоническая веселость, которая так не вязалась с его серьезным, почти жалким лицом, придавая ему неестественный, театральный вид. Он продолжал свои откровения. Это случилось однажды после званого ужина, такого же, как сегодня вечером. Жена его была в тот раз нездорова, и он явился на ужин один. Он отвозил Астрид домой, и они были в машине вдвоем. Ему

показалось, что они так весело хохотали вместе, что между ними в тот вечер возник особый контакт. К тому же никогда ничего не знаешь наверняка, ему ведь неизвестно было, какие у нас с ней отношения. В машине они болтали о всякой всячине, как можно говорить только с Астрид, я ведь его понимаю, и он, повернув руль, вроде бы случайно положил руку ей на колено, а она ее не сбросила. Я слушал его, рассеянно наблюдая за движением дворников на ветровом стекле. Я видел его жену, которая внутри киоска, в очереди, переминалась с ноги на ногу и разглядывала глянцевые изображения гамбургеров и сосисок над прилавком. Лицо ее при неоновом освещении было совсем белым, а взгляд отсутствующим. Инспектор музеев продолжал свои излияния. Он не знал, ощутила ли Астрид вообще его руку на своем колене — ведь она была немного пьяна, но тем не менее она все же не сбросила ее. Стало быть, и вправду был какой-то контакт, если можно так выразиться, и он решил не убирать руку с ее колена. Остановив машину перед нашим подъездом, он попытался поцеловать ее, но она лишь отвернула лицо, улыбнулась, и не успел он и слова вымолвить, как она сказала «доброй ночи», вышла из машины и захлопнула за собой

дверцу. Никто из них впоследствии никогда не упоминал об этом эпизоде. Неужто она и вправду никогда мне об этом не рассказывала? Я следил взглядом за его женой. Она вышла из света неоновой рекламы круглосуточного киоска, и теперь ее темный силуэт приближался к нам. Инспектор музеев похлопал меня по ляжке и примирительно улыбнулся. Теперь, по крайней мере, я знаю, что за гнусная скотина этот человек, который считается моим другом.

Я никак не мог прийти в себя и лечь в постель, хотя было уже больше двух часов ночи. Снова сидел за своим письменным столом, не зажигая лампы, в темноте, и смотрел в окно, за которым тьма была еще более густой и всепоглощающей. Насколько я мог заметить, дождь уже прекратился. Уголек моей сигареты отражался в оконном стекле, тлея ярче и становясь краснее, когда я затягивался, и он, этот огонек, был здесь единственным признаком жизни. Свет в окнах домов по другую сторону озера был погашен, горели только уличные фонари, и городское освещение отражалось в небе еле заметным оранжевым отблеском, который всегда напоминал мне отблески пожара на леденящих душу изображениях Страшного Суда в картинах Хиеронимуса Босха.

Свет уличных фонарей не достигал верхних этажей домов, выхватывая из тьмы лишь отдельные ряды неосвещенных окон, а нижние части стен тонули во тьме, столь же густой, как и та, что окутывала озеро. И лишь блестящий, влажный от дождя асфальт, казалось, находился в отрыве от окружающего мира и длинной лентой света над призрачными, частично освещенными домами тянулся в черное никуда. Этот вид напомнил мне знаменитую картину Магритта «L'Empire des lumières»[2], которая изображает мрачную виллу у ночного озера, окруженную темными деревьями и освещаемую лишь одним, навевающим тревожные предчувствия фонарем, парадоксально и со скрытым лукавством помещенным художником под голубоватым небом с белыми облачками. В любое другое время я бы занялся исследованиями и попытался понять, что же такое было в этом виде за окном, что могло напомнить мне о картине Магритта, подобно тому, как какая-либо другая картина заставляла меня пускаться в воспоминания о каком-нибудь былом восприятии, об особом освещении каких-то полузабытых распахнутых ворот или переулка, которые на миг

---

[2] Примечания: 2
«Империя света» *(фр.)*.

касались краешка моей памяти, для того чтобы миг спустя поблекнуть и сгинуть. Со временем мои воспоминания сами по себе превратились в картины и сливались с воспоминаниями обо всех картинах, которые я видел, до тех пор пока я сам не переставал ощущать разницу и мне трудно становилось отделять одно воспоминание от другого, поскольку и те и другие при всех обстоятельствах были одинаково расплывчатыми, искаженными и произвольными мгновенными озарениями. Теперь же мне было не до Магритта, не до размышлений об игре света, я просто сидел и тупо смотрел во тьму, потому что знал, что мне все равно не уснуть. К тому же я всегда считал Магритта не более чем старательным студентом и плохим художником.

Я спрашивал себя, что бы я сказал инспектору музеев, если бы его жена не села рядом со мной в машину как раз в тот момент, когда он покончил со своими откровениями. Боюсь, что это не имело бы ровно никакого значения, явись она минутой раньше или позже. Он парализовал меня, зажал меня в углу на заднем сиденье такси, и он, наверное, и сам понимал, насколько я буду безответен и обезоружен. Но для чего он рассказал мне эту историю и почему именно в этот вечер? Почему

Астрид никогда мне об этом не рассказывала? Быть может, потому, что он лгал? Но зачем ему лгать, зачем выставлять себя в столь неприглядном свете, рискуя лишиться моей дружбы? И почему Астрид умолчала об этом эпизоде? Ведь если бы она сама, по доброй воле рассказала мне об этом, причем в несколько отредактированной версии, то это могло лишь послужить доказательством ее правдивости и супружеской верности. Быть может, если бы она поведала мне об этом небольшом эпизоде со своей иронической и успокоительной улыбкой, то я теперь мог бы доканать инспектора музеев этим фактом и одновременно все-таки выслушать его версию, согласно которой она оставила его руку на своем колене, то ли по рассеянности, то ли из ложно понятого чувства такта. А может быть, она на самом деле, было ли то во время недолгой поездки к дому или в течение часа во время ужина, обдумывала или по крайней мере тешилась мыслью о том, каково было бы лечь в постель с инспектором музеев, или, возможно, сама мысль об этом, пусть даже она никогда не была воплощена в жизнь, показалась ей постыдной и почти преступной. Я думал об удивительной терпимости Астрид к его амурам с ученицами художественной ака-

демии. Была ли она столь терпима оттого, что хотела оправдать перед собой свой короткий тет-а-тет с этим человеком? Я вспомнил ее смех в автомобиле по пути домой, однажды, с такого же званого ужина, как сегодня вечером, когда я пустился в философские рассуждения о том, как мало люди, в сущности, знают друг о друге, и в качестве примера привел случай с инспектором музеев. Над ним ли она смеялась? Или, может быть, надо мной или над собой? А может быть, она вспомнила совсем другую историю, которую мне никогда не доведется услышать?

Наверное, не имело особого значения, была ли история, рассказанная инспектором, правдивой или нет. Если даже это было правдой, то в любом случае на самом деле ведь ничего такого не случилось. И если даже чья-то рука на несколько минут задержалась на колене моей жены, то это могло означать лишь то, что многие не совсем уместные поступки и заблуждения человек обычно пытается выбросить на свалку своей памяти. Мало ли мимолетных случаев в жизни? Если же эта вполне невинная история была чистой воды вымыслом, то это лишь подкрепляло мое закравшееся подозрение о том, что инспектор музеев рассказал мне ее вовсе не для того, чтобы,

торжествуя, похвалиться тем, что даже Астрид, сама неприступная, недосягаемая Астрид, на какой-то момент дрогнула перед его хваленой неотразимостью соблазнителя. Скорее всего, он рассказал мне об этом для того, чтобы убедиться в своей прозорливости, в том, что он правильно усмотрел трещину в моем явно непрочном фасаде соломенного вдовца, когда нынешним вечером расписывал, как художник в черном на глазах у всех лапал мою дочь. Не исключено, что он изложил эту пикантную историю только для того, чтобы намекнуть мне, что он понял или во всяком случае смекнул, догадался, пронюхал о том, что тут «не без дыма в кухне» или чего-то в этом роде, как выразилась по телефону моя мать. Но почему его вообще должно интересовать то, что происходит между мною и Астрид? Быть может, оттого, что его отчаянье было вполне искренним, когда после ухода его скучной жены за сигаретами он сказал о том, какой я счастливый муж? Быть может, оттого, что все его романы с этими гладкокожими, пышнотелыми ученицами художественной академии были своего рода плотским выражением отчаянной сублимации? Быть может, он, как и многие другие, втайне вожделел к Астрид и потому радовался,

что я вот-вот утрачу то, к чему он сам никогда не смел приблизиться? Я попытался вспомнить, что же, в сущности, происходило тем летом, во время нашего путешествия по Греции, когда он столь героически спас от гибели в море щеночка Розы. Быть может, он сделал это ради того, чтобы покрасоваться перед Астрид, демонстрируя решительные движения своего загорелого, в те годы все еще мускулистого тела спасателя утопающих. Но я не смог обнаружить ни единого слова, ни единого двусмысленного замечания, ни даже какой-нибудь мимолетной внушающей опасение сценки, которые могли бы хоть чем-то подкрепить мои подозрения. Те каникулы запомнились испорченной фотопленкой, знойным маревом с редкими островками тени, отблесками на оплетенной бамбуком бутылке вина, омарами кармазинного цвета, загорелыми плечиками детей, их выцветшими на солнце головенками, полными песка, бирюзово-голубыми языками моря за ставнями и темным, призывным лоном Астрид в полутьме комнаты в часы послеобеденного отдыха.

Проснувшись, я не сразу осознал, где нахожусь. Вокруг меня была тьма, прорезаемая отвесно падающим волокнистым шнуром золотистого

света, который протянулся от потолка до самого пола, словно в стене образовалась щель, через которую в комнату проник странный, потусторонний свет из какого-то другого мира, из другого дня. Я повернулся на бок и увидел освещенные окна сквозь узкую полоску между шторами, которые я неплотно задернул перед тем, как лечь спать. Я долго сидел на краю постели, растерянный, не совсем очнувшийся ото сна, а затем встал и подошел к окну. Конторы на верхних этажах зданий были пусты, белые рубашки служащих перестали мелькать в окнах, но они тем не менее были ярко освещены. Я продолжал стоять у окна, глядя на вечернее движение далеко внизу, на Лексингтон-авеню, на цепочку белых и красных огоньков мчавшихся автомобилей вдоль тротуаров, по которым в противоположных направлениях двигалась бесформенная, изменчивая, неразличимая сверху масса человеческих фигур. А вскоре и я, приняв ванну и сменив рубашку, войду в лифт и, спустившись вниз, в вестибюль с колоннами из светящегося стекла, сам превращусь в песчинку в толпе других таких же песчинок, которые пересекаются друг с другом, несхожие и одновременно одинаковые, направляясь каждая своим путем, увлекаемые одним и

тем же неудержимым потоком без определенной цели и направления.

4

Когда я проснулся, солнце уже переместилось на другую сторону и теперь отбрасывало послеполуденные лучи на фасады домов на противоположном берегу озера. Мне вдруг пришло в голову, что впервые после отъезда Астрид я не удивился ее отсутствию. В первый раз за все эти дни не надеялся в припадке минутной забывчивости услышать звуки из ванной или кухни, плеск воды или стук чайной ложечки о чашку. Я начал привыкать к одиночеству и вести себя в нем, не ощущая надобности считаться с присутствием в доме жены. Я уснул, разлегшись на середине двуспальной кровати, вместо того чтобы лечь на ту сторону, которая обычно составляла часть моей ночной территории. Я стал бросать сигаретные окурки в унитаз, от чего Астрид удалось отучить меня много лет назад. Теперь я ставил на проигрыватель те пластинки с джазом, которых не слушал годами, потому что она их терпеть не могла, а по вечерам стал довольствоваться бутербродами, хотя мы с ней все эти восемнадцать лет ежевечерне готовили горячий ужин,

как бы ни выматывались за день. Меньше чем за неделю какая-то часть меня уже привыкла к одиночеству, несмотря на то, что мысли мои были постоянно заняты ею и ее исчезновением. Я уже мог представлять себе подробности своего существования без нее, хотя пока что совершенно не был уверен в возможности такой перспективы. Бродя без цели по квартире босиком или вяло сидя за письменным столом и наблюдая, как тени окутывают деревья внизу на набережной, я думал о том, как быстро самые экстремальные обстоятельства обретают черты тривиальности. И мое решение осуществить свою запланированную поездку в Нью-Йорк было как бы вопреки этой экстремальности, вопреки исчезновению Астрид, которая присвоила себе непонятное право перевести нашу жизнь в русло, о котором я имел лишь смутные и тревожные представления. Я знал только то, что вступил в полосу перемен, которые происходят с ней, с нами. Но не знал, к чему это приведет. Бывали моменты, когда я чувствовал себя ужасно обиженным, но через какое-то время снова начинал казниться и упрекать себя в том, что дал ей уехать и что не в силах перестать думать о причине ее отъезда. Я был уверен в том, что это моя вина, но вместе с

тем не мог не задавать себе вопроса, неужто я и вправду так уверен, что все зависело исключительно от меня. Скорее всего, это следствие моей обычной эгоцентричности, моих бесконечных бессмысленных размышлений, которые, как привязанные, вертятся вокруг моего застывшего «я», подобно вращению лун вокруг пустынной планеты. Скорее всего, бессмысленно спрашивать, почему она уехала. Возможно, она и сама не смогла бы ответить на этот вопрос.

Сидя однажды днем над моими заметками о Сезанне, я вдруг понял, что пора со всем этим кончать. Яблоки Сезанна могут гнить и без меня. Раз вся моя прежняя жизнь рушится, то мне следует сосредоточиться над обдумыванием этого факта, а не отвлекаться на всякие амбициозные проекты и обещания или обязательства, выполнить которые нынче не в моих силах. Я поднял трубку и позвонил редактору, заказавшему мне статью. К моему удивлению, он проявил полное понимание, хотя я даже не сделал попытки что-то ему объяснить. Позже я понял, до чего бесплодными были все эти мои потуги минувших дней, хотя сразу было ясно, что мне теперь не до Сезанна. Вероятно, это проявилось в интонации моего разговора с редактором и сделало его таким по-

кладистым. Обычно я бываю неизменно вежлив с людьми, и меня самого удивила резкость, с какой я говорил с ним по телефону. Положив трубку, я почувствовал облегчение и прилив бодрости. Впрочем, причиной тому могло быть и солнце, сиявшее за окном и наполнявшее квартиру живым, теплым светом. Я решил пойти прогуляться, раз уж теперь оказался свободен от взятых на себя обязательств. Давным-давно я не бродил по улицам просто так, никуда не спеша, поскольку меня никто и нигде не ждал. Все эти годы, что я прожил вместе с Астрид и детьми, город был для меня лишь местом целенаправленных и запланированных поездок. Были улицы, которые я проезжал ежедневно, но, с другой стороны, были и такие кварталы, куда я не наведывался годами, потому что у меня не возникало надобности туда ехать. Город уже давно перестал быть для меня влекущим, чуждым и многообещающим миром возможностей и открытий, скрещением встреч и взглядов, миром, который я когда-то исследовал, полный любопытства и юных надежд. Теперь он стал нашим миром, принадлежащим Астрид, детям и мне, и почти таким же обжитым, как комнаты нашей квартиры со всей их обстановкой, и я ходил по нему с уверенностью лунатика, хотя и

понимал, что наш город — это всего лишь один из многих городов, созданных воображением других его обитателей сообразно их собственным воспоминаниям, переживаниям, разочарованиям или возрожденным надеждам. Но в тот день, когда я бродил по нему без цели, то в одном направлении, то в другом, город вновь стал для меня запутанным лабиринтом, и, несмотря на то что я знал здесь каждый поворот в перекрестье улиц, у меня возникло чувство, будто я заблудился. Была пятница, на улицах было полно народу, и повсюду царило обычное, лихорадочное, полное надежд оживление, какое бывает всегда, когда приближается уикенд с его праздностью, гулянками, приключениями и попытками к бегству. Время от времени я ловил свое отражение в окнах автобусов или витрин, проходя мимо домов по освещенной солнцем улице, и спрашивал себя, как делал это вчера во время ужина у друзей, действительно ли это я — человек, быстрым шагом идущий мимо собственного отображения в стеклах витрин и автобусов, мимо пешеходов, едущих в автобусе пассажиров и неподвижных восковых манекенов в витринах магазинов. Иной раз я напрасно искал свое отражение в зеркалах и видел там лишь случайные, безымянные для

меня фигуры и лица прохожих, точно я превратился в пару растерянных глаз, наблюдающих фильм, который разыгрывается между светом и их сетчаткой.

Я присел в одном из кафе, намереваясь почитать газету, но не смог даже сосредоточиться на заголовках. Грандиозные события, происходящие в мире, казались слишком мелкими и незначительными в моем сознании, целиком поглощенном отсутствием Астрид и внезапной, невыносимой пустотой, в которую теперь вторглась толпа на улицах, заполнив ее собою. Я был лишь способен сидеть в своем углу и разглядывать прохожих с тем же чувством апатии и заброшенности, какие ощущает человек, оказавшийся в кафе чужого города и разглядывающий людей, языка которых он не понимает. Хотя в воздухе еще чувствовалась прохлада, стулья и столики уже выставили на улицу, и там разместились люди, которых было ничуть не меньше, чем внутри кафе. За одним из крайних столиков одиноко сидела девушка приблизительно одного возраста с Розой. Она и одета была так же, как Роза, с той же элегантной небрежностью. На ней был свитер грубой вязки с воротником хомутиком и вытертые мужские брюки с нашлепкой

«Принц Уэльский», которые она наверняка откопала где-нибудь в магазинчике Армии Спасения. Как брюки, так и свитер были на пару размеров больше, чем требовалось, и во всем облике девушки было бы нечто комическое, если бы не ее элегантная поза. Она сидела, положив ногу на ногу, откинув руку с сигаретой рассеянным, усталым жестом, и пристально глядела на площадь сквозь узкие солнцезащитные очки, переводя взгляд от пульсирующей струи фонтана на стайку голубей, которые через равные промежутки времени вдруг вспархивали и рассыпались в разные стороны. Ее медно-рыжие волосы были собраны на затылке и скреплены карандашом, протыкавшим неплотно закрученный узел. Ее худенькое личико было усеяно веснушками, и я вдруг живо заинтересовался, кого же это она здесь дожидается. Кто этот молодой человек, которого могла полюбить такая высокомерная, непосредственная на первый взгляд девушка? Я заказал еще одну чашку кофе и стал дожидаться вместе с ней, одновременно наблюдая, как грациозно она отхлебывает чай из своей чашечки. Вдруг она подняла голову и устремила взгляд в какую-то точку на площади. Дождавшись, пока тот, кого она увидела, в свою очередь заметит

ее, она подняла в приветственном жесте узкую руку и улыбнулась. Я устремил взгляд в том же направлении, пытаясь разглядеть человека, которому она помахала, но тут же увидел, как из толпы прохожих отделилась девушка и направилась в нашу сторону. Минуту спустя я узнал Розу, а она уже приблизилась к столику и обняла свою рыжеволосую подругу.

Я поспешно развернул газету, точно с первой до последней секунды был поглощен статьей промышленного раздела, сообщающей об экономическом росте в Южном Китае. В ту же минуту я разозлился на самого себя, раздосадованный своим абсурдным поведением. Я укрылся за газетой, точно у меня совесть была нечиста. Пристыженный, я спросил самого себя, неужто я и вправду сижу здесь и украдкой подглядываю за молоденькой рыжеволосой девушкой, подобно какому-нибудь старому кобелю, который пытается скрыть свое тайное и бессильное распутство. Я ведь еще далеко не стар и был не старше юного бунтующего художника Розы, когда стал ее отцом. Отчего же я не подождал, пока она заметит меня, а потом не помахал ей весело рукой и не поднялся навстречу, когда она подошла бы поздороваться? Почему я не допил кофе, не направился к выходу,

а по пути не разыграл удивление от неожиданной встречи, не поцеловал ее в щеку и не обменялся с ней парой слов, прежде чем уйти, предоставив им и дальше общаться друг с другом. Чем дольше я сидел, укрывшись за газетой, тем больше понимал, что теперь уже будет неловко, если Роза меня заметит. Но мне невыносимо было смотреть ей в глаза. Я не смог бы вынести того, что Гунилла из Стокгольма снова станет лживым предметом, объясняющим отсутствие Астрид и делающим его чем-то нормальным и естественным. Я не был уверен, что мне удастся сохранить марку бесстрастности на лице и утаить внутреннее глухое беспокойство и мучающие меня вопросы. И все же я не мог время от времени не наблюдать за ними украдкой из-за газетного листа. Теперь в рыжеволосой больше не оставалось и следа от ее высокомерия и утомленности жизнью. Она подняла на лоб солнцезащитные очки, придававшие ей вид изысканной и неприступной представительницы богемы. Она понимающе кивала головой и громко смеялась тому, что Роза ей рассказывала. До меня доносился их смех, и я вспомнил, как часто слышал такой же смех сквозь закрытую дверь Розиной комнаты, когда у нее собирались подруги. Приглушенный смех

из таинственного и недоступного мира пылких мечтаний и коварных девичьих интриг. Подрастая, Роза стала постепенно уклоняться от наших прежних доверительных отношений, теперь она поверяла свои тайны только матери. Я не мог представить себе, что заставило этих девушек за столиком кафе наклонять друг к другу головы, а затем откидываться назад в приступе смеха. Мы с Розой любили друг друга по-прежнему, но в тех случаях, когда она посещала нас, я замечал по беглому поцелую, которым она награждала меня на прощанье, что, если не считать все более редких разговоров с Астрид, предметами нашего общения были теперь стиральная машина, практические отеческие советы или отеческие тысячекроновые банкноты, в которых она все еще нуждалась. Другие темы для разговоров она находила теперь в общении, скажем, с этой рыжеволосой девушкой с карандашом в волосах, со своим художником или с другими сверстниками, которых я даже не знал.

Через некоторое время рыжеволосая вошла внутрь кафе и стала спускаться по лестнице, ведущей к туалетам, а Роза осталась сидеть, задумчиво глядя на освещенную солнцем площадь, где толпы людей сходились и расходились слу-

чайными, произвольными коловращениями. У меня еще была возможность подняться и подойти к ней, я мог бы еще сделать вид, как будто только что заметил ее. Но я не сдвинулся с места. Мне вдруг пришло в голову, что я не знал бы, что ей сказать. Мы сидели по разные стороны стеклянной стены кафе с видом на площадь, и мне вдруг подумалось, что мы с ней уже находимся по другую сторону от тех лет, когда имели доступ к неким скрытым каналам внутри нас, многие из которых были скрыты даже от нас самих. Конечно, можно было бы ограничиться тем, чтобы спросить ее как дела, и она, без всякого сомнения, улыбнулась бы и ответила, что у нее все в полном порядке. Но я не был уверен, что мне удастся соблюсти точное соотношение между дистанцией и близостью, между отцовской нежностью и нейтральной вежливостью. По сути дела, я был, пожалуй, даже рад, что она больше не нуждается во мне, хотя иногда испытывал по этому поводу легкую горечь. Но я не хотел дать ей заметить, что на этот раз я могу нуждаться в ней, потому что нахожусь в растерянности, не знаю, что мне делать, и чувствую, как почва уходит из-под ног. Я хотел пощадить ее, избавить от этого невеселого зрелища и одновременно

хотел пощадить себя и не допустить, чтобы она видела меня таким. Мне было совершенно ясно, что Роза с такой уверенностью ориентируется в этом новом для нее мире, потому что знает, что у нее есть я и что я всегда бываю непоколебимо спокоен, независимо от того, нуждается она во мне или нет. Но я понимал и то, что не смогу вынести ее удивленного, а может, даже испуганного взгляда, если она увидит, что я знаю еще меньше, что я еще более уязвим и растерян, чем она. Она продолжала подтрунивать надо мной, но делала это только потому, что не могла представить себе, что это может всерьез задеть меня. Она поддразнивала меня, пыталась поколебать мое спокойствие, но в душе была уверена, что это ей никогда не удастся. Стоило ей хоть чуть-чуть повернуть голову, например чтобы посмотреть, не возвращается ли подруга, и она увидела бы меня. Но она продолжала сидеть, устремив взгляд вперед, покуривая сигарету, погруженная в какие-то свои мысли. Она была очень красивой и совсем взрослой, сидела в профиль ко мне, сощурив глаза, с сигаретой в мягких, девичьих губах. Она все больше и больше начинает походить на Астрид, какой та была в молодости. Те же густые каштановые волосы, те же узкие зеленые глаза

и широкие скулы. Но, рассматривая дочь в тот день, я все еще мог заметить в ее облике последние, ускользающие следы ребенка, каким она была не так уж и давно. Я опять представил себе, как гуляю вдоль озера, держа ее пухлую ручонку в своей и отвечая на самые немыслимые вопросы, как расхаживаю взад и вперед по комнате с ней на руках, а она вопит как оглашенная и отрыгивает прямо мне на спину. Я вспоминаю, как однажды ночью стоял в больничной палате и видел, как она появляется из широко раздвинутых бедер Астрид, сине-фиолетовая, вся в крови, с темным незрячим личиком, напоминавшим мне темные сморщенные лики каменного века, найденные на дне торфяного болота. Но она была живая, неистовая, охваченная страхом, орущая, с головенкой, откинутой назад, и сжатыми кулачками, молотящими воздух. Это было не так уж и давно, а вот теперь она сидит и курит, щурясь от солнца.

Астрид, Симон и я проводили наше первое лето вместе у моря, в домике, снятом у друзей. Она только что официально развелась со своим кинорежиссером, отказавшись от всех финансовых притязаний, и, я полагаю, не только из гордости, а затем, чтобы покончить со всем этим как можно

скорее. Ее решимость не оставляла ему выбора, поскольку она была пострадавшей стороной, и тем унизительнее для него было то, что она даже не пыталась содрать с него шкуру. Он изменил ей, и тем не менее ему было позволено сохранить при себе и его виллу, и его деньги, так что ему в этой истории досталась весьма неприглядная роль. Астрид больше не могла скрывать от него, где теперь живет, но она всегда просила меня оставить ее одну, когда ее бывший муж приходил за Симоном. Он, разумеется, не упускал случая высказаться по поводу тех жалких условий, в которых она оказалась, променяв на них фешенебельную виллу в северном предместье. Но тут же разражался рыданиями на глазах сына и экс-супруги, изображая глубокое раскаяние и униженно умоляя дать ему еще один шанс, несмотря на все случившееся и во имя того, «что между ними было». Симон становился совершенно неуправляемым, когда отец приходил, чтобы взять его с собой. Мальчик не желал идти с отцом ни в Тиволи[3], ни в кино, и Астрид приходилось буквально отдирать от себя вцепившиеся в нее детские ручонки и выпроваживать его за дверь,

[3] Примечания: 3
Тиволи — увеселительный сад в центре Копенгагена.

а когда Симон наконец уходил вместе со своим удрученным седоватым отцом, она ожесточенно принималась за уборку, пылесосила, мыла окна, чтобы хоть как-то унять клокотавшую в ней ярость. О своем замужестве с кинорежиссером она всегда говорила как об ошибке, о неосмотрительности или неверном шаге, объяснить которые могла, лишь дистанцировавшись не без удивления и иронии от той молодой девушки, которая шесть лет назад не смогла устоять перед страстью зрелого человека. Рассказывая об их совместной жизни, она оправдывала свой опрометчивый брак влюбленностью юной души, ослепленной иллюзиями, которые длились слишком долго и завели ее слишком далеко. Я никогда не говорил ей, что думаю по поводу ее объяснений. Быть может, она умаляла их взаимное чувство, низводя его до легкомысленных эротических причуд, с тем чтобы противопоставить его нашим отношениям и убедить себя, что наши с ней чувства незыблемы и неизменны, как закон всемирного тяготения. Вопреки смутным, тревожным опасениям, таившимся в глубине души, она, вероятно, хотела уверить и себя, и меня в том, что именно я — мужчина ее жизни, а не первый случайно подвернувшийся шофер

такси, который вез ее и сына. Мы оба были все еще молоды и, возможно, опасались своей молодости и удивлялись той поспешности, с которой наша любовь сменила свою личину. Быть может, в какие-то неконтролируемые моменты ей также приходило в голову, что новое лицо ее любви может оказаться всего лишь еще одной маской. Мы пока еще не забыли страданий, испытанных до этого, и не могли знать, что история столь же неясна и двусмысленна, как и будущее. Мы продолжали верить, что прошлое можно изгнать заклинаниями и ритуальными жестами и что одного нашего теплого дыхания достаточно, чтобы вдохнуть жизнь в наши надежды. Мы не собирались заводить ребенка, но и не восприняли как трагедию то, что Астрид той весной забеременела. Это была еще одна непредвиденная случайность, которая должна была изменить нашу жизнь. Она ничего не сказала мне о своих подозрениях, пока не побывала у врача и не получила подтверждения. Рассказала она мне об этом в своей обычной манере, точно так же, как говорила о своей любви ко мне, с тем же недоверием к словам, точно ей приходилось пробовать в руках тяжесть каждого слова, удивляясь его весомости и необычности. Она сказала мне об этом однажды вечером, ко-

гда мы лежали с ней в постели и она рассеянно перебирала мои волосы. И снова я испытал то же чувство, что и тогда, когда, посмотрев на нее, стоявшую в моей кухне перед мойкой, подошел и впервые к ней прикоснулся. Это было то же легкомысленное, головокружительное предчувствие того, что передо мною открывается новая жизнь, что я, наконец, получил ответ на мучивший меня вопрос. А почему бы и нет? Сообщив мне о своей беременности, она отвела взгляд, дожидаясь ответа. Я взял в ладони ее лицо и улыбнулся в ответ на ее испытующий взгляд. Почему бы ей не стать матерью моего ребенка? Когда же, как не сейчас, придать моей жизни определенную осмысленность? Чего мне еще ждать? И чего мне бояться? Моя спокойная улыбка убедила Астрид в том, что мы можем соединить наши жизни, что это больше не просто мечта, не надежда в ряду других, которая в юности заставляет людей метаться в поисках чего-то, кидаясь в разные стороны. Я не вполне сознавал, что делаю, но все же сделал это, и захватывающее дух ощущение прыжка в неизвестность, причем без страховки, охватило меня, наполнив удивительным чувством уверенности, какого я прежде никогда не испытывал. Когда наступило лето, она была на

третьем месяце беременности и мы поселились в домике у моря. Мы никому не сказали, куда уезжаем. Сохранить развод в тайне было невозможно. Газеты помещали на первой странице снимки известного кинорежиссера, которого бросила жена. Когда обнаружилось, к кому ушла Астрид, мне пришлось то и дело выслушивать колкости по этому поводу. Домик у моря стал нашим тайным прибежищем, здесь мы надеялись переждать, пока новые разводы или смерти не отвлекут на себя внимание публики в этом вульгарном мире кричащих заголовков и хищных белозубых улыбок, запечатленных при свете блицев на страницах печати. Это был мир, с которым Астрид теперь распрощалась. Было самое начало лета, пляж постоянно пустовал. В домике были только Астрид, Симон и я, и недели сливались воедино, как и краски моря в течение дня. Под конец мы перестали отличать дни друг от друга, точно так же, как мы не замечали изменчивости моря, светло-серого по утрам, темно-зеленого днем и сине-фиолетового по вечерам, со слепящими бликами низкого закатного солнца.

Солнце только что скрылось за горизонтом. Симон и я стояли на коленях во влажном прохладном песке у кромки моря и рыли канаву для того,

чтобы волны могли заполнить крепостной ров вокруг замка из песка, который мы строили весь день. Это был мрачный, серый средневековый замок с конусообразными башнями, сооруженными с помощью детского совка. Мы почти не разговаривали друг с другом, целиком поглощенные возведением этого мощного инженерного сооружения, и даже не заметили, как море под оранжево-зеленым небом потемнело. Дул береговой ветер, и невысокие волны обессиленно наползали на влажный берег. Постепенно нам удалось загнать воду в крепостной ров, хотя и ненадолго, потому что она постоянно уходила в песок, оставляя после себя лишь немного грязной пены. Я слышал, как Астрид зовет меня, наверное, уже давно пора было ужинать, но Симон делал вид, что не слышит зова матери, и я продолжал рыть ров, хотя начал уже сомневаться, что из этого выйдет что-то путное. Астрид снова позвала меня, и я поднял голову. Она стояла на верхней ступеньке крыльца, ведущего в дом, находившийся за откосом, поросшим кустами шиповника. Она снова и снова выкрикивала мое имя, крича с каждым разом все громче. Она звала меня по имени, причем пронзительно, почти истерически. Но лишь когда она в который уже

раз выкрикнула его, я наконец стал догадываться, что стряслось что-то неладное. Я отшвырнул пластмассовый совок и со всех ног кинулся к дому. Она стояла бледная и заплаканная. Приблизившись, я увидел полоски крови, стекавшие по ее голым ногам под легким летним платьем. Я на руках внес ее в дом, положил на диван и набрал номер «скорой помощи». При виде крови на ногах матери Симон тоже расплакался. Она попыталась успокоить его, при этом не сводя глаз с меня, звонившего по телефону. Не знаю, как долго я сидел, держа ее за руку и гладя по голове, не в силах сказать ничего, кроме обычных банальных фраз. Но вот машина наконец приехала. Астрид захотела, чтобы я остался дома с Симоном, который сидел, скорчившись в кресле, онемев от ужаса. Вскоре мы уже стояли с малышом, наблюдая, как машина «скорой помощи» удаляется в полутьме по пустынной дороге. Готовя ужин, я говорил с мальчиком без умолку, одновременно пытаясь успокоить его и заглушить собственную тревогу. Говорил обо всем, что мне приходило в голову: о крепостном рве, который мы прорыли вокруг рыцарского замка из песка, об огромных опустевших средневековых замках, где некогда томились скукой рыцари, с нетерпением ожи-

дая, когда можно будет выступить в очередной поход. Позднее я положил мальчика на диван, накрыл его одеялом и сидел около него, пока он не уснул. Потом вышел из дома, сел на верхней ступеньке крыльца, там, где она стояла, зовя меня и выкрикивая мое имя. Я сидел и смотрел на сероватую, прозрачную, как стекло, поверхность моря под светлым вечерним небом. Смотреть, в сущности, было не на что, но все-таки я устремил взгляд на неподвижную пустынную водную гладь, подобно тому, как путник устремляет взгляд на пустынную дорогу, не зная, на что ему еще смотреть. Я видел контуры маленького замка у кромки моря, видел, как волны с равными промежутками времени бились о подножье его стен, и он казался темным жалким островком, окруженным белеющей пеной прибоя. Теперь, когда мы почти начали верить в то, что началось как случайная встреча, пробудившаяся было надежда грозила рухнуть снова. Теперь, когда тело начало обретать форму, еще несовершенную, еще незавершенную, но уже ставшую не только плодом нашего воображения, наших объятий и слов. Впервые в жизни я говорил с кем-то, кого не было рядом. Я говорил с Астрид, стоявшей на крыльце в вечернем сумраке, и просил ее дер-

жаться, не сдаваться, как будто мои слова могли что-то изменить.

Вокруг меня все больше сгущалась тьма, а я сидел и курил на ночном холоде у поросшего кустами шиповника откоса и смотрел на первые звезды, выступившие на застывшей бездне небосвода. Затылок у меня заломило, оттого что я задрал голову, глядя на мертвенный отблеск звезд. И еще больше, чем прежде, ощущал не только свое одиночество; я понимал, что одиноки мы оба — я и Астрид, что мы предоставлены себе и друг другу.

На следующее утро мы навестили ее. Нам сказали, что ей придется остаться в больнице еще на несколько дней. Врач ничего не мог обещать. Астрид лежала, обессиленная от пережитого волнения, а Симон до смерти испугался, увидев мать на белой больничной койке, такую бледную и слабую. Она спокойно заговорила с ним, объяснила, что произошло, а потом спросила, что сталось с нашим замком из песка. Симон ответил, что замок уцелел, волны не разрушили его. Она улыбнулась этому известию, словно маленькому чуду, и забыла о своих тревогах. Я вспомнил, как она напевала свои песенки в такси, в тот зимний вечер, когда рухнул их мир.

Теперь она распространяла вокруг себя то же спокойствие, несмотря на то, что внутреннее напряжение не покидало ее. Тогда, в такси, ей удалось успокоить мальчика, унять его плач с помощью простенькой песенки, которую она, не переставая, напевала ему все время, пока я возил их по городу. Она не имела представления о том, куда едет, и при этом способна была петь сынишке, нежно и спокойно, как бы давая ему понять, что нет нужды бояться, тревожиться о том, где они и что происходит вокруг них, пока он может прижиматься к обнимавшим его рукам матери. Мы ходили к ней в больницу каждый день. Судя по всему, теперь главное для нее было лежать спокойно, не двигаясь. Самое страшное осталось позади, она выдержала. До этого времени мне приходилось оставаться с Симоном не более чем на два-три часа, но он уже привык воспринимать меня как главного человека в своей жизни. И все же я удивлялся себе, целуя его на ночь или, позднее, тихонько подходя к его комнате, чтобы, приоткрыв дверь, посмотреть, как он спит. Впервые в жизни кто-то нуждался во мне, кому-то мое присутствие было необходимо. Он дружелюбно наставлял меня, когда я забывал положить кусочек масла в его овсяную кашу или помочь ему

почистить зубы, и мы вместе с ним составляли список продуктов, когда мне предстояло идти за покупками, чтобы я чего-нибудь не забыл. Большую часть времени мы проводили на берегу у моря. Я учил его плавать, и уже через несколько дней он отпустил мои руки и впервые немного проплыл самостоятельно, не чувствуя никакого страха. Когда спустя четырнадцать дней Астрид вернулась из больницы, он смог проплыть вместе с нами до ближайшей отмели. Он улыбнулся в ответ на ее удивленный взгляд и заметил, что, в сущности, мы теперь плывем уже вчетвером, трое в воде, и один у нее в животе.

Я навсегда запомнил эту ночь без сна на откосе у моря. В моей памяти запечатлелось, что именно там, на крыльце из мореной древесины, началась наша история, или, вернее говоря, в историю превращалось то, что началось поздним зимним вечером как непредвиденное стечение обстоятельств. В прошлом, всегда, сколько я мог себя помнить, ощущалась дистанция между моими мыслями и чувствами, между моим внутренним «я» и тем миром, который окружал меня, с его событиями, лицами, чередой дней. Как будто сам я находился где-то в стороне и постоянно жаждал преодолеть эту дистанцию, жаждал открыться,

чтобы свет окружающей действительности и взгляды чужих глаз смогли проникнуть вглубь и разглядеть во мне неизвестного, скрытого во тьме. Но ни этот свет, ни эти взгляды не способны были проникать достаточно глубоко, так что всегда оставался затененный угол, укрывающий того, кем я, по сути, должен был быть. Когда Инес обернулась ко мне однажды жарким летним днем в полутьме музейного зала среди разрушенных временем римских бюстов, я подумал, что наконец нашел кого-то, кто способен разглядеть человека, скрытого в глубине меня, и я попытался ухватиться за нее, так как мне показалось, что в ее глазах я увидел нечто, увиденное ею во мне. Так я во всяком случае надеялся. В ту пору, когда я встретился с Астрид, я почти утратил надежду стать кем-то иным, а не одним из многих бредущих сквозь окружение и время, просто лицом в этом изменчивом и быстротечном водовороте городских будней. Но в ту ночь, когда я сидел, наблюдая за едва заметным, ускользающим переходом от черноты неба к морю, все мое существо в эту минуту сконцентрировалось в двух коротких словах, которые я без устали повторял полушепотом среди кустов шиповника. Я повторял их до тех пор, пока они не перестали означать нечто

конкретное и определенное, а стали олицетворять собою абсолютно все. «Держись! Держись!» — твердил я про себя.

А потом однажды вечером следующей зимой, когда я стоял в родильной палате, наблюдая, как появляется на свет Роза, перемазанная кровью Астрид, мне вдруг показалось, что одновременно с этим рождением появляется на свет и мое внутреннее «я». Пока Астрид, крича от боли, выпрастывала из своего тела ребенка, сформировавшегося внутри нее, я чувствовал, что наконец преодолел не дававшую мне покоя дистанцию и моя любовь больше не была всего лишь чувством, вопросом, жестом в пустоте, а превратилась в нечто, возникшее между нами, и лишь теперь, набрав воздуха в легкие, возвестила о себе громким криком.

Наши первые годы прошли словно в дымке усталости и счастья, дни и месяцы утратили свое очертание, растворились в головокружительной, неустанной спешке. Думая о них, я вспоминаю их не в виде устоявшихся, остановившихся мгновений, а как движения на месте, всегда на одном и том же месте. Наши первые годы были как бы просветом в беспросветности времени, и мне помнится мое тогдашнее ощущение, как будто я

после долгого блуждания среди деревьев в глухом лесу по едва заметным, заросшим тропкам наконец вышел к свету и снова увидел небо. Я и вправду стал думать, что ждал встречи именно с Астрид, сам не подозревая, что это она. Я стал думать, что наконец нашел свое место, что здесь мне и следует находиться.

Дни сливались воедино, и казалось, будто это был все время один и тот же день, один и тот же вечер, плавно перетекавшие друг в друга. Я больше не подгонял нетерпеливо бег времени и не ждал, чтобы время перенесло меня куда-нибудь в другое место. Дни походили один на другой, шло время, а когда минул еще год, я снова удивился тому, что перемены явились плодами повторения, можно сказать, выросли из повторяющейся круговерти повседневности. Изо дня в день мы занимались одним и тем же, а Роза и Симон между тем подрастали, и год за годом на нежных детских личиках все явственнее проступали будущие черты взрослых людей. Мы обменивались теми же словами и ласками, а между тем регистр тональностей и нюансов все ширился, пока наконец любой беглый взгляд, едва заметное касание, наполовину высказанное замечание не стали приобретать особый смысл, понятный

только нам. Всякий раз, когда мы снова сидели с детьми за обеденным столом, всякий раз, когда мы опять любили друг друга, наши слова, улыбки и жесты вбирали в себя все минувшие вечера и ночи, их повторение, отражающее бег времени. Дни не зачеркивали, не поглощали друг друга, они сливались во все тот же спокойный ритм расставаний и встреч, хлопот и сна, как будто мы разбили лагерь посреди самого времени. Иногда я скучал, но скука больше не проявлялась болью из-за того, что повторение притупляет мой взгляд и мои мысли. Моменты скуки превращались в размышления над неприметным обликом привычных деталей, отблеска солнца на стене брандмауэра, видимого из кухонного окна, хруста шелухи луковицы в моих руках, капель воды, скопившихся под водопроводным краном, фокусировавших свет, а затем серебристой кометой устремлявшихся на дно серой жестяной раковины. Это, собственно, не было скукой, а, скорее, долгим бездумным отдыхом посреди тягот, которые я снова и снова преодолевал в течение дня, и в этом отдыхе я черпал силу для дальнейших действий и движений. Много часов подряд я не вспоминал о себе, то меняя Розе пеленки, то читая вслух Симону, то сидя у себя в кабинете за

письменным столом и наблюдая, как рождаются на бумаге слова, то лежа в постели с Астрид и чувствуя, как она загорается желанием от ласки моих рук. Что-то постоянно извне захватывало меня и отвлекало от одиночества, от самого себя, вовлекая в круговорот событий.

Даже когда я сидел один в своем кабинете, я оставался лишь воплощением пары глаз и пера, того, чем я смотрел, и того, чем пытался выразить свои мысли. В те годы я не мог делать различий между долгом и свободой, потому что для меня было освобождением то, что ежедневно и ежечасно находилось нечто, что я должен был сделать, и я работал тем более сосредоточенно, поскольку знал, что в моем распоряжении отнюдь не целый день.

В связи с моей работой я часто уезжал в командировки, и, когда в очередной раз оказывался вечером в неуютном номере отеля в чужом городе и коротал часы, глядя в окно, то представлял себе их всех. Симона, который сидит у себя в комнате, раскрашивая темно-синей краской мундиры оловянных солдатиков, Розу, которая плещется в пластиковой ванночке и, мурлыча себе под нос песенку, моет волосы кукле с улыбкой кинозвезды. Астрид, которая, стоя в кухне, полощет под

краном шпинат покрасневшими от холодной воды пальцами, задумавшись над зелеными листьями, сморщенными, как и кожа на распухших подушечках ее пальцев. Когда я звонил домой, то подчас не знал толком, что им сказать. Я заставлял их рассказывать все, что у них произошло за день, потому что мне самому рассказывать было нечего. Короткие будничные слова обретали особый смысл, когда я видел перед собой их лица, но теперь, вдали от них, они становились легковесными и ничего не значащими и не способны были преодолеть разделявшее нас расстояние.

Как правило, я тяготился повторяющейся рутиной будней, стремился к чему-то неизведанному, но стоило мне уехать, как я сразу же начинал скучать по своим домашним и чувствовал себя совершенно потерянным, бродя в одиночестве по улицам чужого города, предоставленный собственным мыслям. Целыми днями мне не с кем было и словом перемолвиться, не считая гостиничной прислуги, в общении с которой я ограничивался самыми необходимыми, ничего не значащими репликами и замечаниями. Когда же время от времени встречался с торговцем картинами, художником или критиком, то замечал, что был до унижения рад беседе с ними, точно я

был бесприютным скитальцем, приглашенным к ним в дом из чистого милосердия. Теперь в поездках я чувствовал себя как никогда неприкаянным, и мне не раз приходило в голову, что на улицах чужого города, где меня не знала ни одна душа, я был всего лишь господином Никто, говорившим со странным забавным акцентом и движущимся по улице несколько неуверенно, без заданной естественности движений, присущей тем, кто направляется с определенной целью туда, где его ждут. Астрид часто посмеивалась надо мной, когда я звонил домой дважды за день и спрашивал, как там дела, как будто за это время могло произойти нечто из ряда вон выходящее.

В ту зиму, когда Розе исполнилось семь лет, я уехал на несколько дней в Париж, чтобы ознакомиться с большой выставкой Джакометти в Музее современного искусства. Весь день я бродил по выставке среди высоких людей из бронзы, стоявших на громадных, массивных ногах, худых и жилистых, с опущенными по бокам руками и невыразительными, узкими, небрежно вылепленными лицами, чуть приподнятыми кверху, точно прислушивающимися к чему-то. Я уже раньше писал о них, но мне так и не удавалось уловить нечто, заставлявшее воздух

вокруг незаметно вибрировать всякий раз, когда я вновь смотрел на них. И не только потому, что сами они были всего лишь линиями в воздухе, лишенными объема, как будто воздух был тонким листком бумаги, на котором Джакометти быстрыми штрихами обозначил их контуры, напоминающие полосы света в неведомой тьме. Была какая-то особенность в пространстве вокруг них, невидимом, призрачном пространстве между их ускользающей фактурой и моим взглядом, тянущимся к ним и блуждающим в пустоте, в которой они грозили раствориться. Пока я кружил вокруг этих тонких, невыразительных, замкнувшихся в себе мужчин и женщин в белом зале, мне вдруг пришло в голову, что они заставили меня увидеть сам воздух на шаткой границе между незримостью и исчезновением. Когда я смотрел на них, они не только отступали куда-то в самую глубь пространства. Казалось, мои глаза, впиваясь в их бронзовые тела, натыкались на нечто бестелесное, как будто тонкие одинокие фигуры, если смотреть на них слишком долго, грозили исчезнуть совсем. Они казались мне неукротимыми, видимо, из-за того, что всякий раз, когда мой взгляд всматривался в них, он ощущал какое-то сопротивление. Это была последняя,

непреодолимая граница, которая разделяла нас и не давала им слиться с воздухом на глазах у меня. Именно эту границу и продолжал, вероятно, искать Джакометти. После экспериментов прежних лет его работы больше не были проблемой обновления и расширения экспериментального пространства. С тех пор он оставался на том же месте, поскольку нашел самый последний штрих перед той границей, где присутствие и исчезновение устремляются навстречу друг другу. И, может быть, я оттого вспоминаю Джакометти, что и сам приближаюсь к границе, которую не могу переступить, когда снова вижу перед собой Астрид, неподвижно стоящую в пальто на пороге спальни в ожидании, когда я проснусь. Я просыпаюсь, встаю с постели, я подхожу к ней, я стою лицом к лицу с ней, встречаю ее взгляд, после чего она исчезает. Она стоит передо мной, но ее больше нет, она смотрит на меня, и мне кажется, что ее взгляд проходит сквозь меня. Создается впечатление, что она здесь одна, а я всего лишь ее фантазия.

Но есть еще одна причина, по которой мне вспоминается этот зимний день в Париже, в Токийском дворце. Расхаживая взад и вперед в тихом зале среди бронзовых силуэтов Джакомет-

ти, я вдруг почувствовал на своем плече чью-то руку. Обернувшись, я увидел, что передо мной стоит улыбающаяся Инес. Я не видел ее со дня нашего расставания, когда стоял у окна и смотрел вслед ее фигурке, исчезающей в снежной круговерти. В ее иссиня-черных волосах появилось несколько серебристых прядей, и она стала носить очки, еще более подчеркивающие красоту ее персидских глаз. Чуть более резкие и глубокие бороздки по обе стороны ее высокомерного носика лишь подчеркивали те черты в ее лице, которые я так хорошо помнил и которые когда-то присутствовали во всех моих бессонных ночах. С тех пор прошло уже почти восемь лет. Мы вежливо осведомились друг у друга о нашей жизни, и я рассказал ей об Астрид и детях, быть может, чуть бегло, как мне показалось самому, пока мы шли с ней среди платанов вдоль реки. Она шла так же стремительно, как в прежние годы, и нервно жестикулировала во время разговора. Поворачивая к ней голову, я видел стальные балки Эйфелевой башни из-за оголенных крон деревьев и ее быстрые, внимательные взгляды, обращенные на меня. Она сказала, что я постарел, но что это мне идет, а я в ответ улыбнулся, не зная, что сказать. Мы зашли в кафе на площади Альма. Мы сидели

рядышком на длинной скамье с обивкой, и отсюда можно было видеть площадь. Она рассказала, что живет в Париже уже несколько лет и, быть может, останется тут еще на некоторое время. Сообщила, что живет одна, хотя я ее об этом не спрашивал. Я так и не понял, чем она, собственно, занимается; вроде бы всем понемногу, как и тогда, в годы нашего знакомства. И как тогда, деньги явно не были для нее проблемой. Нотки одиночества и неприкаянности послышались мне в ее рассказе, хотя она и старалась выглядеть все той же бесшабашной и распутной женщиной, какой я ее когда-то знал. Я рассказал, что пишу об искусстве, и она слушала внимательно, как будто это ее и вправду интересовало. Я несколько приободрился и заговорил о той перемене, которая наступает в жизни с появлением детей, а Инес в ответ на мои речи улыбнулась улыбкой, которая могла показаться и скромной, и сочувственной, но одновременно чуть снисходительной, и я предпочел истолковать ее реакцию таким образом, что она по-прежнему оставалась порхающей, беспечной дамой полусвета, которая забавлялась моим новым мещанским статусом счастливого отца семейства. Мало-помалу новости наши стали иссякать, и в разговоре возникали все более

долгие паузы, во время которых я сидел, рассеянно наблюдая за механическими, привычными и выверенными движениями официанта. Вдруг я почувствовал ее взгляд на моем лице. Она ведь и так отлично знала, что я стал отцом. Я посмотрел на нее. Она стала спокойнее, чем в те годы, когда я знал ее. Теперь уже не боялась задержать на мне свой взгляд, но ноздри ее по-прежнему чуть-чуть раздувались во время улыбки, а ее зубы все так же сверкали белизной на лице медового цвета. Я все еще не мог понять, как подействовала на меня наша с ней встреча, насколько глубоко задела меня возможность увидеть ее снова. Однажды Инес встретила меня на улице с Розой, сидящей в коляске. Она спросила, чем занимается моя жена, и я ответил чуть отрывисто. Теперь уже она стала следить глазами за деловитой суетой официанта. Она сказала, что тоже хотела бы иметь ребенка. Я удивленно посмотрел на нее, а она, поймав мой взгляд, улыбнулась каким-то своим мыслям. Разве это так странно? Я промолчал. Я зажег сигарету и стал рассматривать фигуры прохожих под серым небом на площади Альма. Вдруг я почувствовал, как она положила свою руку на мою, сперва легко и как будто случайно. Я ощутил сухое тепло ее ладони.

Она много раз готова была позвонить мне в ту зиму, когда мы расстались, и позднее тоже, год спустя, когда ей стало ясно, что я больше не думаю о ней. Она ведь не могла знать, что я уже встретил другую. С годами она поняла, от чего сама отказалась. Хотя время уже прошло, она не могла отделаться от мысли, что, быть может, у нас с ней и получилось бы что-нибудь. Конечно, она не слишком хорошо обошлась со мной. Я пожал плечами. Об этом я и сам знал. Она спросила, счастлив ли я. Да, подтвердил я, отвечая на ее взгляд. Да, я счастлив. Но я сказал это после небольшой паузы, словно мне пришлось обдумывать ответ. Слово «счастлив» прозвучало в моих устах несколько неестественно. Слово это было одновременно и слишком значимым, и слишком незначительным, одновременно слишком высокопарным и слишком плоским, как бы окрашенным в пастельные тона. Оно не могло описать мою жизнь. Она медленно погладила тыльную сторону моей руки, потом взяла ее в свою и повернула ладонью кверху, как цыганка, приготовившаяся предсказать мою судьбу. Я не отнял руки и стал смотреть на нее, лежавшую в ее ладони на сиденье рядом с ее коленом, слабо просвечивающим сквозь черные чулки под

краем юбки. Она тоже встретила другого, спустя пару лет после того, как мы расстались. Они долгое время были вместе, и тогда у нее никого не было, кроме него. Она снова улыбнулась, на этот раз чуть выжидательно. Она в самом деле пыталась не изменять ему. Они еще были вместе, когда она встретила меня на улице с Розой. Но все-таки у них ничего не вышло. Потом она время от времени думала обо мне, и не только потому, что видела меня с моей маленькой дочкой. Она вспоминала наше прошлое. Я был очень молод, и я любил ее, как бы это сказать, слишком неистово. Мы оба посмеялись над этим выражением. Ей приходилось защищаться, обороняться от моей юной ненасытной любви. Я дружески пожал ей руку, и на какой-то миг почувствовал себя стариком. Но никто ни до этого, ни после этого не любил ее так, как я. Так безоглядно! Я отнял у нее руку и закурил сигарету. Она спросила, тороплюсь ли я куда-нибудь. Мы могли бы вместе поесть, она может кое-что приготовить. Я опять посмотрел на нее и, чуть поколебавшись, придумал извинение, не слишком убедительное, но приемлемое для нас обоих. Мы немного поговорили о Джакометти, о его бронзовых фигурах, балансировавших на грани реальности и ис-

чезновения. Разговор становился вымученным. На прощание она написала на салфетке номер своего телефона, а когда мы вышли наружу, на шумную, ненастную площадь Альма, она быстро поцеловала меня и попросила, чтобы я позвонил, если найду время. Я смотрел ей вслед, когда она сбегала вниз по ступенькам в метро в своем длинном черном развевающемся пальто, и думал о том, что она поцеловала меня не в щеку, как можно было ожидать, и ощущал почти забытый вкус ее губ на своих губах.

По дороге в отель я поздравлял себя с тем, что так стойко отклонил приглашение Инес, но я не выбросил салфетку с номером ее телефона, хотя на какой-то момент у меня возникла такая мысль. Я положил ее на ночную тумбочку между счетами, полученными в этот день, и разменной монетой. Лишь после того, как мы расстались, я понял, что она без зазрения совести навязывалась мне, и это было тем более поразительно, если учесть, что мы не виделись с ней восемь лет и лишь по нелепой случайности в один и тот же день оказались в Токийском дворце. Я даже не знал, что она переехала в Париж. Если я задним числом возмутился ее заигрываниями, то в неменьшей степени и потому, что чуть было

не поддался им. Впрочем, что дурного было в том, что мы говорили о прошлом и что она призналась, что думала о нем с раскаянием или во всяком случае с некоторой ностальгией? Может, это я сам неправильно истолковал ее жест, когда она дружески положила свою руку на мою, или ее взгляд, с удивительной интимностью искавший перемен в моем лице? Разве можно ее упрекать в том, что во мне внезапно ожили воспоминания о ее коленях и губах? Может, и нет, но она не могла не знать, что ее слова осветили мою версию нашей любовной истории с неожиданной, непредвиденной точки зрения. И она не просто спросила меня, не хочу ли я, чтобы мы поели вместе, она предложила сделать это у нее дома. Все это было шито белыми нитками. Неужто она и вправду думала обо мне? Выходит, я был не единственный, кто потерпел поражение в этой игре? Стало быть, это я вытащил самую длинную «соломинку»? Это был явный триумф, но только наступил он слишком поздно. В тот год, когда она бросила меня, я чувствовал лишь тоску и жалость к самому себе. А потом Астрид заставила меня забыть ее, на удивление быстро, как я теперь понимаю. А что было бы, если бы я не встретил Астрид? Если бы седоватый режиссер

не помчался следом за нашим такси в тот вечер, когда я привез Астрид и Симона к дому ее подруги? В этом случае она стала бы лишь очередным пассажиром такси, который, расплатившись, навсегда исчез бы из моей жизни. А что, если бы Инес навестила меня в моем сентиментальном одиночестве? Смог бы я быть в ту пору более стойким, более твердым, раз я любил ее столь безмерно? Мог бы это быть наш с ней ребенок, которого я несколько лет спустя катил бы в коляске и, быть может, даже прошел бы по улице мимо незнакомой Астрид, даже не обменявшись с ней взглядом? Мысль была настолько нелепой, что улетучилась через пару секунд. И снова я почувствовал головокружение при мысли о том, как мало нужно было для того, чтобы моя жизнь сложилась иначе. Просто обстоятельства, случайные, ни от кого не зависящие, могли сложиться несколько по-иному. Незаметные, малозначащие подвижки между моими мыслями, чувствами и побуждениями могли изменить направление или произойти в чуть иное время. Что, если бы я однажды зимним вечером не встал из-за стола, сам не сознавая толком, что делаю, не вышел бы к себе в кухню, где Астрид стояла спиной ко мне, пока всего лишь незнакомая молодая женщина,

которую я вызволил из безвыходного положения? Что, если бы я не погладил ее тогда по щеке? Что, если бы она негативно прореагировала на мое прикосновение?

Драгоценная жизнь, которая стала моей, когда я наконец вернулся к самому себе, обрел свое лицо в этом мире и покой в своей любви к Астрид и детям, была не чем иным, как слепым, пробным шагом в незапланированном перекрестье возможностей, дарованных временем. Шагом, который не больше и не меньше совпадал с моим внутренним «я», чем все те ложные шаги, которые зачахли и отпали по пути. Единственное ответвление на этом пути оказалось жизнеспособным и само продолжилось в новых шагах, потому что мы этого хотели и потому что обстоятельства сделали это возможным. Совсем незначительные отклонения в слепом нагромождении случайностей могли бы воспрепятствовать тому, чтобы из этого что-либо получилось. Но, быть может, все-таки существовала какая-то скрытая пугающая связь между чахлыми и жизнеспособными шагами? Когда я стоял в кухне тем зимним вечером, а потом протянул руку к лицу Астрид, это был бунт против Инес, протест против того жалкого состояния, в котором она меня бросила.

Но в то же время это было и предательством по отношению к самому себе, по отношению к страданию, с которым я слился воедино и которое грозило изглодать меня изнутри. Я спас себя, но лишь ценой предательства самого себя. Я смог переступить порог, отделявший меня от новой жизни, лишь повернувшись спиной к прошлому. Я мог превратить этот сам по себе случайный и произвольный шаг в переход через некий порог, через некую границу, лишь убедив себя в том, что это переход в новую жизнь. Поэтому я не мог точно знать, кто был этот человек, который погладил щеку Астрид и сжал ее лицо в своих ладонях. Если это был тот, кто так безнадежно и отчаянно любил Инес, то этот жест ласки в кухне не мог быть вполне искренним. Но если это было новое и пока еще неизвестное издание меня самого, того, кто несколько месяцев спустя спокойно улыбнулся, когда Астрид сказала ему, что он станет отцом, то, быть может, ему следовало бы помедлить со своим легкомысленным замечанием: «А почему бы и нет?» Ему бы не мешало подумать над этим «почему», но он еще не знал достаточно хорошо ни ее, ни самого себя, чтобы ответить на этот вопрос. Она ошарашила меня. И не успел я оглянуться, как мы стали семьей, я и

эта девушка, которую я посадил к себе в такси. Это пришло ко мне, как нежданный дар, и я принял его, даже не успев осознать, его ли я желал. Тот, другой, человек во мне обосновался внутри меня, и я привык к тому, что он говорил и действовал вместо меня до тех пор, пока отделить нас друг от друга стало невозможно. И когда я спустя восемь лет сидел в своем номере в Париже и вспоминал то время, когда я любил Инес, это было все равно, что думать о любви кого-то другого. И все же я невольно спрашивал себя, с тревогой, затаив дыхание, кого же из нас двоих я предал — только ли самого себя или также Астрид.

Я вижу ее стоящей на пороге нашей спальни и смотрящей на меня взглядом, который видел что-то, неизвестное мне, из места, которого я не знал. Я вижу Розу, сидящую за столиком перед кафе, освещенную солнцем, глядящую на площадь и рассматривающую там нечто, о чем я не имею понятия. Ее волосы, ее кожа и ее смех стали воплощенным доказательством моей любви. Это ее детские глаза заставили меня почувствовать себя отцом, когда я ходил взад и вперед по комнате, держа ее на руках, обнимая ее маленькое, невесомое тельце, целиком предоставленное моим заботам. А потом, позднее, я чувствовал

это, видя ее доверчивый взгляд, когда я, держа ее ручонку в своей, гулял с ней вдоль озера, а она вдруг останавливалась и озабоченно спрашивала меня, когда кончается время, целиком полагаясь на мой ответ. А вот теперь она сидит за столиком кафе и курит сигареты, такая далекая и одинокая. В ту пору, когда я увидел ее сидящей за чашкой кофе, держащей в пальцах сигарету с фильтром, по другую сторону своего детства, я давно уже перестал сравнивать свою короткую юную любовь к Инес с моей любовью к Астрид. У меня было время, чтобы измениться. Сидя, укрывшись за газетой и разглядывая освещенный солнцем профиль Розы снаружи, я вспомнил историю, которую инспектор музеев рассказал мне минувшим вечером в такси. Теперь, при свете дня, эта история показалась мне странной и неправдоподобной. Я просто не мог представить себе, чтобы у Астрид была интрижка с моим старым плешивым товарищем студенческих лет, уж во всяком случае не с ним. Было нечто отвратительное, липкое в его признании, после которого у меня появилось желание почистить зубы. Я никогда не мог бы принять его предложение отведать пережеванный и тошнотворный кусок знания, насквозь пропитанный слюной и

мстительным тщеславием. Я должен был держаться в границах того, что знал тогда, на пороге спальни, лицом к лицу с Астрид, и всего того, чего я не мог знать. Она смотрит на меня, стоя в пальто, с упакованным в дорогу чемоданом, а я понятия не имею, что она видит, пронизывая меня насквозь взглядом. Быть может, она тоже колебалась между первым шагом и следующим, быть может, и она в те едва заметные мгновения перехода от одного шага к другому спрашивала себя, действительно ли движется в нужном направлении или заблуждается, сама об этом не зная. И все-таки она продолжала движение, всего лишь со слабой тенью сомнения в глазах, и так — изо дня в день. Пока она снова не оказалась лежащей без сна в темноте, в промежутке между двумя днями, и снова не отдалась течению своих мыслей и не позволила проникнуть в сознание холодному сквознячку неизвестности. И снова возникла в ней неуверенность, она ли это на самом деле, та, что лежит рядом со мною в постели, или это уже другая, изменившаяся женщина? Быть может, Астрид также думала о постоянном круговороте случайностей, может, и она с годами все чаще задумывалась над тем, что различия не в дорогах и лицах; дорогах, которые постоянно

открываются перед человеком в самых разных направлениях, и лицах, которые встречаются на этом пути и проходят мимо. Быть может, и она также со временем пришла к мысли, что это лишь она сама, шаг за шагом, изо дня в день и из года в год, идет навстречу переменам. Переменам, которые никогда не шли из глубины сердца, потому что достичь их можно было, лишь сделав какие-то шаги. Потому что ее любви безразлично, кого любить и за что.

Когда мы несколько лет спустя выходили с Астрид вместе из кинозала и я поздоровался с Инес, увидев ее в толпе зрителей, она к этому времени уже давно была для меня всего лишь былым, угасшим огнем, на котором я обжегся в годы своей безрассудной юности. Но, быть может, мне понадобилось слишком много времени, чтобы понять это, а может быть и так, что я понял это слишком поздно. Астрид обратила внимание на красивую, экзотически смотревшуюся женщину, которая, улыбаясь, кивнула мне с другого конца фойе, прежде чем исчезнуть во тьме улицы, и спросила меня, кто это, спросила с небрежным любопытством, точно ей это было не слишком интересно. Я ответил, что это моя старая знакомая. Но я не сказал ей о том, что это

Инес. Возможно, она сама догадалась об этом, а возможно, не стала задумываться над тем, кто эта неизвестная ей женщина. Это случилось много лет спустя после того, как я рассказал ей о несчастной любви моей юности. Мы уже давно перестали рассказывать друг другу о нашем прошлом, быть может, потому, что постепенно оно стало так мало значить для нас в сравнении с нашей общей историей, а может, мы и вправду решили, что все уже сказано. Но почему же я все-таки не сказал ей, что это Инес? Мое умолчание заставило меня гораздо больше думать об этой мимолетной встрече, чем в том случае, если бы я сказал Астрид, что женщина в фойе кинотеатра с ястребиным носом и серебристыми прядями в черных волосах — это та самая девушка, которая была когда-то предметом моей бурной страсти. Я рассказал о ней жене летом после нашей встречи, когда она была беременна Розой. В то время мы еще выспрашивали друг друга обо всем, что было с нами до того зимнего вечера, когда наши жизни столь круто изменились. Мы лежали у себя в спальне в домике у моря, а Симон спал в соседней комнате. Ее лицо неясно мерцало в синем полумраке летней ночи, и я гладил ее лоб и щеки, как будто стремился освободить их от

тонкой паутины полумрака, подобно тому, как я очищал от прибрежного песка ее ноги. Я описывал, сначала нерешительно, как я унижался, снедаемый ревностью, как я шпионил за Инес, обложив ее, точно в осаде, так, что она не могла и дохнуть в моем присутствии. Я говорил об этом с некоторой иронией, отстраненностью, и одна лишь моя интонация давала ей понять, что это не только прочитанная глава, но и наваждение, ослепляющий сон, от которого она, Астрид, пробудила меня. Она слушала меня с задумчивой, кривой усмешкой, точно не могла поверить, что я и вправду мог быть таким безрассудным, до такой степени потерять голову от отчаяния и ярости. Она, казалось, была увлечена моим рассказом и выспрашивала меня о несущественных деталях, и я поддался на удочку, с увлечением рисуя гипертрофированный портрет охваченного страстью безумца, каким я был в ту пору. Но вдруг я заметил ее рассеянный и блуждающий взгляд, словно она делала усилия, чтобы не отводить от меня глаз. Я поцеловал ее и сказал, что люблю ее, что я научился любить по-настоящему лишь после встречи с ней, потому что она освободила меня от моих эгоцентрических фантомов. Астрид теснее прижалась ко мне и прошептала мне в

ухо, что не надо больше ничего говорить, что в этом нет необходимости. Она взяла мое лицо в свои ладони и посмотрела на меня в полутьме нежным, затуманенным взглядом. Ведь мы здесь, прошептала она. Разве этого мало? Я ласкал ее теплое тело, пока не заметил, что она достаточно возбуждена, а затем проник в нее, сначала очень бережно, поскольку помнил тот вечер, когда она стояла на крыльце, зовя меня, а по ее ногам текла кровь. Но она лишь улыбнулась в ответ на мою осторожность и сказала, что мне нечего опасаться. Ведь несмотря на случившееся, у нее теперь все в порядке. Потом мы лежали, тела наши тесно переплелись друг с другом, и мы прислушивались к шуму волн за окном, которые набегали на берег, а затем с протяжным шуршанием отползали назад.

И вот теперь, когда я зимним днем спустя одиннадцать лет сидел в Париже, следя за гаснущим светом за окнами, от которого в конце концов остался лишь темно-синий переплет рамы на полу комнаты, я вдруг подосадовал на то, что позволил Инес, поцеловав меня на прощанье, исчезнуть в метро под площадью Альма. Я был напуган мыслью о том, что способен откликнуться на ее ностальгический призыв в голосе и как

бы взять задним числом реванш, как будто я все еще мог срывать яблоки на ветке, которую сам же и отпилил. Сидя в сгущающейся тьме номера, я видел перед собой Инес, ее глаза, скрытые за непривычными, новыми для меня очками, вспоминал короткие секунды прощания в серых зимних сумерках, и мне вдруг захотелось сделать шаг в сторону от проторенной дорожки, притянуть ее к себе и вдохнуть запах былого приключения, которое закончилось ничем. Я хотел провести лишь одну-единственную ночь в том мире, которого больше не существовало, на одну ночь погрузиться в нее, в кольцо ее рук и ног, сомкнувшихся вокруг моего тела с былым неистовством, пока она наконец не разомкнула бы объятий, а я не почувствовал бы, что мой застарелый гнев наконец улетучился. Должно быть, я и вправду воображал, что сумею изгнать призрак прошлого, заключив его в свои объятия. А может быть, моя дремлющая, ни к кому конкретно не адресованная страсть пробудила мою фантазию после того, как Инес столь неожиданно предложила себя. Моя близорукая, беспардонная страсть, которая, быть может, и была самой банальной истиной, скрывающейся за всеми масками сентиментальной чувствительности. У

нее был автоответчик. Я слушал ее мелодичный, чувственный голос, который объяснял что-то по-французски всем и каждому, и лишь после того как в трубке наступило молчание, за которым последовало мое собственное молчание, я понял, что угодил в западню. Все равно, что бы я ни сказал и безразлично каким тоном, даже если бы я говорил обиняками, она все равно поняла бы, почему я позвонил. Единственной фразы, пусть даже самой тривиальной и нейтральной, было бы достаточно для того, чтобы я предал себя, предал Астрид, предал свою новую жизнь и то драгоценное, обретенное мною в этой жизни чувство уверенности, которое дало мне смелость поднять трубку телефона и набрать номер, набросанный на салфетке, которую мне следовало, в сущности, измять, выбросить вон сразу же, пока еще не было поздно. Даже если бы я самым безразличным и сдержанным тоном дал ей понять, что мне не чужда мысль о том, чтобы встретиться с ней снова, я рисковал обнаружить свое желание. Несколькими короткими, на первый взгляд самыми невинными фразами, наговоренными на ее автоответчик, я дал бы ей доказательство того, что и сам я запутался в дебрях случайностей и что моя жизнь с Астрид и с детьми все-таки была

отступлением, капитуляцией перед тем, что могло случиться даже после того, как она покинула меня. Вышло бы так, что именно она осталась верна нашей юной, чистой любви, а я предал ее, потому что у меня не хватило мужества страдать и ждать, а теперь, когда она протянула мне руку, я схватил ее сразу же, едва не плача от благодарности и исходя слюной от едва сдерживаемой страсти.

Не успел я положить трубку, как телефон зазвонил. Я переждал пару сигналов, а затем взял трубку. Это была Астрид. Она хотела знать, в какое время я завтра прилечу и хочу ли, чтобы она встретила меня в аэропорту. Она спросила, не случилось ли чего, хотя мне самому казалось, что голос мой звучит абсолютно нормально. Я ответил, что спал, когда она позвонила. Я рассказал ей о выставке, которую осмотрел, а она сообщила о каком-то забавном замечании Розы сегодня утром. Внезапно я почувствовал, до чего сильно соскучился по ним, а ей показались забавными мои нежности по телефону только потому, что мы не виделись друг с другом пару дней. Я тут же позабыл о своей встрече с Инес, а когда в течение следующей недели время от времени вспоминал о ней, то сам удивлялся тому, что позабыл

ее так же быстро, как позволил вдруг одолеть себя сомнениям и мучительным вопросам. Если я иногда ночью лежал без сна рядом с Астрид и прислушивался в темноте к ее спокойному дыханию, то это было вовсе не оттого, что меня преследовало видение Инес, ее глаза и губы, увиденные однажды зимним днем на площади Альма. Это было и не потому, что я представлял себе Инес, лежащую во тьме рядом со мной, в другой квартире, в другой части города, в другой жизни. Не встреча с Инес потрясла меня, а ее последствие, не мимолетный приступ желания в моем парижском номере отеля, когда я набирал номер ее телефона, но неожиданный, холодный свет, брошенный в мою нынешнюю жизнь, мое внезапное замешательство в тусклом полусвете парижского ненастья на площади Альма. Именно эти внезапные и головокружительные приступы невесомости не давали мне уснуть и заставляли обращать взгляд к невидимому во тьме лицу Астрид и, протянув руку, охватывать ее спящее тело, точно я боялся, что меня унесет куда-то ввысь и я умчусь в беспредельность ночи.

Я больше не был одиноким с тех пор, как Астрид однажды зимним вечером появилась из ворот виллы, ведя за руку маленького мальчика, и села

на заднее сиденье моего такси. Да и она сама с тех пор не чувствовала себя одинокой. Она была молода, когда родила Симона, и еще моложе была тогда, когда встретила седоватого режиссера с уверенными руками и настойчивым взглядом, который, казалось, лепил ее, глядя на нее и обнимая ее. А она, эта молодая женщина, улыбалась в ответ на его зрелую мелодраматическую страсть, но потом в конце концов уступила ей. Быть может, ей надоело быть в тени и захотелось выйти на свет. Она ведь была, можно сказать, невидима, когда он заприметил ее. Она была еще совсем ребенком, когда во время летних каникул, гостя у тетушки, однажды утром получила весть, что автомобиль ее родителей сорвался в пропасть на горной дороге в Италии. Последние годы ее детства прошли в школе-интернате, а потом она наконец стала свободна и могла делать что хочет. Но она не знала, что ей делать с этой обретенной свободой. Она была одна в целом свете, и ее ошеломляла мысль обо всех открывшихся перед нею возможностях, у нее кружилась голова при виде всех путей, манящих ее, всех лиц, встречающихся на этих путях, и она еще не успела ни на что решиться, когда седоватый режиссер положил на нее глаз. Некому было рассказать ей,

кто она такая, никто не пришел и не сказал ей об этом. Поначалу ее просто забавляло, что зрелого человека можно довести до такого безрассудства, а потом ей понравилось быть тайной его жизни, невидимой для всех других, а временами и для него самого, когда она закрывала глаза, а он тискал ее, вне себя от желания. Потом ей наконец захотелось выйти на свет, быть может, потому, что она боялась совсем исчезнуть, если и впредь будет оставаться его драгоценной тайной, которую ему так ловко удавалось скрывать от жены и дочери. Она сама могла быть по возрасту его дочерью и все-таки уступила, когда он, сам устав от своей тайной игры, в один прекрасный день появился на пороге ее квартиры со своими чемоданами и своим патетическим взглядом. Она подумала, что, может быть, это все-таки любовь, то, что началось как тайная охота, когда юная добыча распаляла старого охотника своей загадочной или рассеянной улыбкой. Она решила, что это наверняка любовь и, приняв решение, не изменяла ему. Она утвердилась в своем решении, обосновалась вместе с маленьким сыном и его отцом в белом доме к северу от города, отдавшись течению времени. Сперва она не задумывалась над тем, почему ее седоватый муж стал все чаще

поздно возвращаться домой, а когда однажды вечером узнала почему, наступил долгий миг, во время которого ей казалось, что она падает и падает в пропасть, бесконечную и бездонную. Когда она наконец очнулась и ощутила под ногами доски пола, то была уже в совсем ином мире. Они жили теперь в разных мирах, она и кинорежиссер. Это была не она, это не могла быть она, та юная женщина, которая родила их ребенка и заботилась о нем, в то время когда муж лежал где-то в городе в постели с другой, еще более молодой женщиной, и единственное, что она знала, — так это то, что не может больше ни единой минуты оставаться в этом доме, внезапно ставшем чужим.

У нее не было пристанища нигде, когда она сидела на заднем сиденье такси со своим маленьким сыном, но это не было для нее внове. Поэтому, быть может, она лишь немного поколебалась, когда шофер такси предложил ей пожить у него несколько дней. Он казался таким славным, и они были почти ровесники. И она осталась жить у него. Позднее она, должно быть, спрашивала себя, как это случилось, что она положила на него глаз и почему он внезапно стал для нее не просто услужливым таксистом, квартира которого по

ночам пустовала. Вышло ли это случайно? Поначалу это ничего особенного не значило, и, быть может, именно поэтому она уступила ему. Он был просто случайно встретившимся ей шофером такси, а для него она могла быть кем угодно. Он не спешил открываться ей и говорить, что она значит для него; она могла быть для него кем угодно, и, обнимая ее, он предоставлял ей думать все, что ей заблагорассудится. Он не вводил ее в заблуждение и на первый взгляд не строил никаких планов, этот человек, который каждую ночь раскатывал по городу взад и вперед. Она, должно быть, спрашивала себя, не слишком ли это опрометчиво, когда обнаружила, что беременна. Но не могла не улыбнуться, когда в ответ на ее сообщение он лишь посмотрел на нее спокойно и сказал: «Почему нет?» Быть может, и она подумала: «А почему, собственно, нет?» Позднее она рассказала ему, что именно его спокойствие убедило ее, когда он, вместо того чтобы запаниковать, лишь посмотрел на нее, как человек, который знает, что делает. Она не могла не полюбить человека, который способен был так спокойно посмотреть ей в глаза, ей, в сущности, совершенно чужой женщине, сообщившей, что может сделать его отцом, если он не против. Это его неожиданное

«Почему нет?» заставило ее забыть о том, что ей самой не мешало бы спросить себя, почему отцом ее ребенка должен стать именно он. Она не могла не полюбить человека, который дерзнул использовать шанс, предоставившийся ему по чистой случайности, потому что знал, что, как бы там ни было, это дело случая, с кем встретиться и когда, и потому что у него хватило мужества поверить, что именно сейчас, а не в будущем году или еще когда-либо его жизнь должна определиться.

Только лишь потом, после того, как решающий шаг был сделан, и сделан, можно сказать, вслепую, ее любовь обрела опору. Поначалу ей просто понравились его глаза, спокойствие, которое было в его взгляде и голосе, в общем, нечто чисто случайное. Однажды Астрид рассказала ему об этом, и он улыбнулся. Да, ответил он, не все ли равно, почему человек влюбляется. Однажды утром она проснулась оттого, что он произнес ее имя своим мягким, спокойным голосом, и, открыв глаза, вдруг почувствовала, что именно здесь ее пристанище, в его спокойном взгляде, который, казалось, обволакивал ее всю, со всех сторон. Взгляд его ласковых, слегка меланхоличных глаз, казалось, создавал вокруг нее некое пространство, в котором она могла оставаться сама собой

и откуда могла бежать, когда ей вздумается, и так далеко, как ей захочется, но при этом никуда не исчезать. Впрочем, у нее больше не было желания убегать, как она убегала в молодости, когда еще один влюбленный щенок или еще один отчаявшийся зрелый человек воображали, что способны открыть ей, кто она, в сущности, такая, и лепить ее образ своими похотливыми руками. В молодости ей казалось, что где-то внутри она не такая, что там она другая и разгадать ее может лишь посторонний, неизвестный ей человек. Она бросала мужчин одного за другим, и молодых, и зрелых, из-за разочарования, потому что это был явно не тот человек, который способен вызволить на свет божий ту неизвестную и прекрасную женщину, что жила внутри нее. Да и кто бы это мог быть? Она посмеивалась над собой, рассказывая о своих девичьих терзаниях. Постепенно она не смогла думать о том, кто она, при этом не думая о той жизни, которая стала ее собственной однажды зимним вечером, когда она бросила своего седоватого кинорежиссера, обнаружив, что больше не находится в том мире, в котором себя воображала. Все, что происходило в ее судьбе до этого вечера, постепенно стало казаться ей стертым, ничего не значащим, отвергнутым

наброском ее будущего. Но так она рассказывала мне о себе много лет назад. В сущности, говорить об этом так много не было надобности. Мы были здесь, и этого было достаточно.

Я не могу осмыслить первые годы нашей совместной жизни, не могу отделить их друг от друга. Даже если я разматываю эти годы подобно нити из клубка повествования, даже если мой рассказ путается между прошлым и настоящим, между явью и клубком есть различие. Хотя клубок состоит из той же нити, сам по себе он все же не история. Это просто массивный клубок из спрессованных дней, намотанных друг на друга, и внутренность клубка уже давно сокрыта в его мягкой глубине. По мере того как я разматываю нить, клубок становится все меньше и меньше, он утрачивает свою тяжесть, и под конец остается всего лишь одна-единственная невесомая ниточка, длинный ряд связанных между собою точек, которая скручивается и свертывается при моей попытке объяснить сложности и повороты этих лет. Годы наматываются друг на друга в соответствии с вечным круговоротом земли, в коловращении перемен и превращений. Меня забавляет, когда о времени говорят как о каком-то определенном месте, где движешься взад и

вперед. А может, это и впрямь место, где все дни и часы находятся рядом друг с другом. Быть может, человек рассказывает свою историю, чтобы суметь найти путь сквозь лабиринт воспоминаний и мгновений, отделенных забвением. Но через этот запутанный лабиринт ведет много дорог, и если пойдешь по одной из них, то отрежешь себя от всех остальных. Через лабиринт движется человек, разматывая свой клубок, а когда он кончается, в руках остается лишь кончик, за который можно держаться. И мы медленно возвращаемся назад, двигаясь по собственным следам. Иной раз слышишь голоса за тонкими стенами тьмы, иногда замечаешь просвет, думая, что там есть дорога, но продолжаешь идти по собственному следу, боясь потерять путеводную нить и окончательно заблудиться. В своих воспоминаниях я нахожусь повсюду одновременно, каждое мгновение, забытое или живущее в памяти, но меняющееся от места к месту. В своем повествовании я могу быть лишь в одном месте в определенное время, если хочу найти путь между этими местами, найти выход и уяснить себе, каким образом я шел от одного места к другому.

Роза откинула голову, зажмурилась от солнца, и ее длинные волосы мягко упали ей на пле-

чи. Я представил себе, как она воспринимает свет солнца в виде оранжевого тумана сквозь зажмуренные веки, представил себе, как она прислушивается к цокающим шагам прохожих, к голосам, доносящимся до нее от других столиков. Когда закрываешь глаза, то оказываешься как бы в центре мироздания. Звуки внешнего мира и твои собственные мысли сливаются в одном и том же невидимом пространстве. В уголках ее губ появился легкий намек на улыбку. То ли тепло, коснувшееся ее щек, было тому причиной, то ли какая-то мысль, пришедшая ей в голову. Она подняла руку и провела ею по шее, медленным, ласкающим жестом, и я узнал его. Так поглаживала шею Астрид, когда задумывалась, углубляясь в собственные мысли. Я тоже на какой-то момент прикрыл глаза, и это словно приблизило нас друг к другу, меня и Розу. Почему же я не могу просто встать и подойти к ней, почему мы сидим по разные стороны стеклянной стены кафе, моя дочь и я, ее отец? Я устыдился того, что скрываюсь от нее, но я знал также и то, что, если выйду наружу и встречусь с ней взглядом, мне тоже будет стыдно, стыдно оттого, что Астрид покинула меня. Если я иногда, когда тьма была слишком густой или слишком бездонной, невольно охватывал руками

тело спящей Астрид, боясь ускользнуть от нее, то одного взгляда Розы было обычно достаточно, чтобы убедиться в том, где мое место, в том, что именно здесь мой дом, а не какая-то случайная точка на земном шаре. Ее взгляд держал меня крепко, словно невидимый шнур бумажного змея, но сама она даже не подозревала об этом. В ее глазах именно я держал конец шнура, чтобы она могла без опаски взмыть вверх и парить там, изучая небесное пространство. Когда я стоял в родильном отделении, держа в руках мягкое тельце новорожденной дочери, завернутое в одеяло, меня переполняли безумный страх и растерянность. Я боялся уронить ее и бормотал про себя те же слова, которые повторял однажды летней ночью, сидя около кустов шиповника на крыльце, обращенном к морю: «Держись! Держись крепче!»

Когда я вновь открыл глаза, то увидел, что она сидит, наблюдая за сверкающими, колеблемыми ветром струями фонтана, где вода разбрызгивается по краям блестящими каплями и пеной, бесконечно обновляющаяся и неустанно исчезающая с тем же пульсирующим движением. Я держался. Теперь пришло время ослабить хватку.

Я увидел рыжеволосую подругу Розы, которая поднялась по лестнице, ведущей из туалетов, а затем двинулась между столиками кафе, приближаясь ко мне. Она подкрасила губы, и теперь ее алый рот резкой чертой выделялся на бледном веснушчатом лице. Встретившись со мной взглядом, она слегка улыбнулась. Я улыбнулся в ответ и не спускал с нее глаз, пока она приближалась, а затем прошла мимо. Я заметил слабый румянец, проступивший под веснушками, прежде чем она скрылась из виду. Если бы я отвел глаза в сторону в тот миг, когда она увидела меня, то мое смущение показало бы, что мой взгляд не был случайным. А теперь смутилась она, потому что я ответил на ее легкую, открытую улыбку, промелькнувшую в ее заинтересованном взгляде. Быть может, она улыбнулась, отметив про себя на ходу, что мужчина, читающий газету в углу кафе, в сущности, довольно недурен. А может быть, ее согрел на какую-то секунду мой внимательный взгляд и краешком сознания ее коснулась мысль о том, что я мужчина, а не только человек, который по возрасту годится ей в отцы. После этого она тут же замкнулась в себе, испугавшись, что я могу истолковать ее улыбку как призыв. А возможно, и тут пришла моя очередь покрас-

неть, возможно, ей известно, что я отец Розы, и она покраснела при мысли, что мой взгляд был дерзким нарушением распределения ролей. Я снова ухватился за газету и выглядывал из-за нее, словно настороженный кот, наблюдая за двумя девушками, освещенными солнцем. Если рыжеволосая и знала, кто я такой, она не дала этого понять Розе. Они снова принялись болтать, кивая и улыбаясь друг другу, и в какой-то момент, когда я снова почувствовал себя до некоторой степени в безопасности, она вдруг поглядела мимо Розы через стеклянную стену кафе и на мгновение поймала мой взгляд. Так повторялось несколько раз. Она как будто хотела удостовериться, что я все еще здесь и наблюдаю за ней. Мои глаза беспокойно забегали по газетным заголовкам, и я стал тщательно следить за выражением своего лица. Спустя некоторое время, когда я снова поднял глаза от газеты, то увидел, что они уже ушли. Я продолжал сидеть, глядя на оставленные ими чайные чашки, и увидел на краю чашечки Розиной подруги алый отпечаток ее нижней губы, словно привет, посланный моему смятению сорокачетырехлетнего субъекта.

Я двинулся по Стрёгет навстречу весеннему солнцу, под которым человеческие силуэты то

смыкались воедино, то снова расходились, и толпа напоминала темный движущийся лес силуэтов, отбрасывавших длинные тени, сливающиеся на слепящей брусчатке. Низкое солнце в расщелине между домами поглощало силуэты, тонкие и невесомые, как бронзовые фигуры Джакометти. Солнце било прямо в глаза, так что я не мог различить лиц в темном потоке фигур, пока они не делали последнего шага мне навстречу, выступая из темного круга, и мы, за секунду до того, как нам разойтись, встречались глазами. Я подумал о том, что прохожу под чужим взглядом, который минуту спустя сменится другим, идущим сзади, и чужие лица все время меняются перед моим взглядом, проходя мимо по очереди, выступая навстречу из тени. Казалось, они не просто проходили мимо, а шли сквозь меня, и сам я проходил сквозь их взгляды в том же движении, в том же ритме шагов и мелькающих лиц. Я постоянно видел перед собой другие лица, и эти движущиеся мне навстречу лица смотрели на меня, и мне казалось, что я не могу оставаться одним и тем же более чем на мгновение, вбирающее в себя чей-то мимолетный взгляд.

5

Я вышел из отеля и стал бродить по улицам между Пятой авеню и Таймс-сквер, в толпе пешеходов, среди вертикальных квадратов освещенных окон и горизонтального потока автомобильных фар. Я разглядывал лица, которые двигались мне навстречу во тьме, выступая из островков света, все новые и новые лица, чужие, каким был и я сам в этом городе, в который все постоянно откуда-то приезжают. Это единственный из чужих городов, где каждый сделанный мною шаг не напоминает мне о том, что я иностранец, и где моя внешность и мой акцент — это всего лишь еще одна разновидность среди множества разновидностей людей, непохожих друг на друга. Если я действую на нервы шоферам такси, барменам и официанткам, то это вовсе не оттого, что они считают меня иностранцем, а, напротив, потому, что они принимают меня за ньюйоркца, который невыносимо медлителен или просто нерешителен и туповат. В Нью-Йорке я могу быть кем угодно, лишь бы я не забывал исправно давать чаевые. В тот вечер на меня

успокоительно подействовало блуждание то в одной, то в другой толпе пешеходов по сети разделенных на квадраты улиц. Усталость подействовала на меня, как местный наркоз, и лишь мои слух и зрение не участвовали в этом приятном ощущении полудремы. Все, что я видел и слышал вокруг, было повторением того, что я уже видел и слышал прежде: автомобильные гудки, обрывки фраз, освещенные окна домов и поток лиц. Казалось, я вошел в какой-то фильм, виденный мною сотни раз: те же самые уличные сценки, которые повторяются во всех фильмах о Нью-Йорке. Но фильм не вел меня от сцены к сцене, скорее, это было так, словно передо мной разматывалась кинолента и я двигался, не сходя с места. Шагая вперед без остановки, я видел, как город живет вокруг меня, движется, а я смотрю на него, пассивный и неподвижный, из какого-то уголка в глубине моего существа. Я думал обо всех этих людях, которые приехали сюда, увлекаемые стремлением к бегству или слабой надеждой на какие-то перемены. Они шли теми же улицами, которыми теперь шел я, по тем же глубоким улицам между громадами квадратных домов. Меня снова поразила мысль о том, что этот город притягивает к себе столь великое множество

людей со всех уголков земного шара и в то же время сам не имеет сколько-нибудь заметного центра, как это бывает в европейских городах. Там, если ты идешь по улицам достаточно долго, то обнаруживаешь, что они всегда сходятся в каком-то одном пункте. Старые, закопченные таинственные города, куда приезжаешь поездом однажды вечером и спустя минуту после того, как выходишь из здания вокзала, оказываешься лицом к лицу с подсвеченными апостолами или святыми на фасаде кафедрального собора. Здесь же все вокзалы находятся под землей. Ты прибываешь сюда впервые, и тебе остается лишь плыть по течению, двигаясь по улицам, регулярно пересекающимся через равные промежутки времени. Сам по себе этот город никогда не создает у тебя впечатления, что ты прибыл в зачарованное царство своей мечты. На самом деле это как бы незримый город. Невидимая сеть его улиц запечатлена в воображении тех, кто сюда приезжает. Это, по сути дела, отображение тех мест, которые они покинули, быть может, навсегда. Нью-Йорк видим лишь тем, кто смотрит на него сквозь призму смутного, призрачного воспоминания о степях Украины, о горах Армении, о трущобах и бидонвилях Пуэрто-Рико или о залитых водой

рисовых полях Гонконга. Здесь так просто найти дорогу и в то же время, как ни странно, легко заблудиться, потому что монотонность квадратной планировки мешает человеку сориентироваться и отыскать путь туда, куда он направляется. Но в тот вечер меня это вполне устраивало, так как мне не нужно было идти куда-то в определенное место. Я пообедал на Пятьдесят второй стрит, в одном из тех демократических, функционально обустроенных заведений, где можно сидеть на высоком табурете за длинной стойкой, не смущаясь тем, что ты закусываешь в одиночестве. Я сидел, наблюдая за уличным движением позади зеркально отраженной в окне рекламы пива из красных неоновых трубок, и в оконном стекле ярко освещенного помещения отражался мой силуэт на табурете, склонившийся над стойкой бара, призрачный, так что прохожие шли по тротуару как бы сквозь меня. Среди них были бездомные попрошайки с бумажными пакетами и красивые, торопливо бегущие куда-то женщины всех рас и цветов. Я взглянул на свои часы, прибавил шесть часов и попытался вспомнить, что именно я делал в это же самое время прошлым вечером. В тот вечер я стоял в углу сцены, спиной к опустевшим зрительским креслам и смотрел

на упругие, как резина, ярко накрашенные губы моей матери, обнажавшие белые вставные зубы, раздвигавшиеся в хищной улыбке всякий раз, когда кто-нибудь подходил, чтобы поцеловать ее в щеку во время небольшого «нахшпиля» после ее премьеры, о которой она напомнила мне звонком в тот вечер, когда у меня ужинали Роза и ее художник. Она, как обычно, была самоуверенна и театральна на сцене, и как обычно вокруг нее толпились фанаты, аффектированные театралы и экзальтированные примадонны с блудливыми глазами, чтобы заверить ее, что она была неподражаема и великолепна, превзошла себя и превосходно вошла в образ, что игра ее была исполнена чувств, вдохновенна, изысканна и безупречна. Если у моей матери и был когда-либо весьма умеренный талант, то он уже давно был загублен ее ненасытной жаждой поклонения и любви зрителей, которые, вот уже несколько десятилетий наблюдая за ее игрой, покатывались от хохота там, в темноте зала, и обливались слезами благодарности, растроганные тем, что она своими разбитными ужимками и фривольными гримасами потрафила их площадному чувству юмора, а своими крокодиловыми слезами и вздохами волнообразно вздымающейся груди

возвышала их банальное беспутство и чувствительность до уровня роковых страстей и великой любви.

В прежние годы ее осиная талия и бесконечная череда кавалеров обеспечивали ей роль за ролью как слабой и неотразимо очаровательной женщине, не способной обуздать свои пылкие чувства. В общем-то она была классическим олицетворением поговорки о том, что если пусто в голове, то нужно иметь кое-что между ног, и в этом директора театров один за другим имели возможность убедиться. Но в конце концов возраст все же вынудил ее перейти на роли «зрелых дам», и вместе с тем это обстоятельство дало критикам повод обнаружить новые грани ее таланта, облагороженного мудростью опыта. Ее панически пугала мысль о старости, и она была слишком глупа, чтобы осознать хоть что-нибудь из тех реплик, которые выкрикивала со слезливым надрывом, но после того как ее главная соперница была обезврежена с помощью инсульта, роль театральной гранд-дамы оказалась вакантной и досталась ей, поскольку других претенденток не нашлось.

Сидя в темном зале и следя за ее слезливо-сентиментальными ужимками на ярко освещенной

сцене, я еще раз утвердился в правильности своего решения никогда не ходить в театр и пожалел о том, что не остался дома. Но после того как Роза и ее рыжеволосая подруга исчезли в толпе, я, возвратившись с прогулки домой, понял, что мне предстоит пустой, скучный вечер в тихой квартире, и ухватился за премьеру моей матери как за жалкий предлог хотя бы на несколько часов сделать вид, что все нормально. Теперь же мне захотелось оказаться за своим письменным столом и сидеть, глядя невидящими глазами на освещенные окна домов по другую сторону озера. Чуть поодаль от меня, в том же ряду, сидел мой отец, который уснул минут через пять после начала первого акта. Позднее я увидел его в фойе. Он стоял одиноко среди публики, собравшейся на премьеру, среди потных мужчин, явно неуютно чувствовавших себя в своих отглаженных, скорее уместных для похорон костюмах, и их жен, которые выглядели так, словно вот-вот рухнут на пол, хотя их длинные платья из таиландского шелка были сантиметров на десять короче, чем следует. Мой отец был элегантен, как всегда, и оглядывал фойе своим обычным нервным взглядом, который больше подошел бы неуверенному тинейджеру, чем изысканному семидесятилетне-

му мужчине. Мне стало жаль его, когда я увидел, с каким облегчением он обнаружил меня среди публики, но я тут же устыдился своей жалости. Лишь после того как мы подошли друг к другу и поговорили несколько минут, я обратил внимание на то, что он забыл спросить, почему со мной нет Астрид. Быть может, он уже успел поговорить с моей матерью, а может, просто обрадовался тому, что мы хоть разок сможем побыть вдвоем, но не исключено, что все это просто-напросто объяснялось его рассеянностью. То, что сам он явился на премьеру один, никого не удивило. Моя мать презирала его новую жену и не считала нужным скрывать это в те немногие разы, когда они встречались. Это еще больше усиливало ее презрение к экс-супругу, который довольствовался столь жалкой заменой после того, как сама она его бросила. Ей было ровным счетом наплевать, придет он на ее премьеру или нет, но хотя минуло уже без малого тридцать лет с тех пор, как она оставила его, он неизменно являлся в такие вечера в театр, украдкой и с виноватым видом, чтобы, как он выражался, «порадовать ее».

Я виделся с ним редко. Он переехал на другой конец страны за несколько лет до того, как я встретил Астрид, и, ссылаясь на расстояние, мы

старались отказываться от его приглашений. Я навещал его несколько раз. Сначала я приезжал к нему каждое лето вместе с Астрид и детьми, и он всякий раз в начале весны звонил и спрашивал, приедем ли мы снова нынешним летом. Но с каждым посещением мне все труднее становилось сохранять добрые отношения с его новой женой. Она была специалистом по керамике, двадцатью годами младше отца, и увлекалась астрологией и биодинамическими овощами. Когда мы приезжали к ним в их маленький, крытый соломой пряничный домик, она набрасывалась на меня так, словно месяцами не общалась ни с одним цивилизованным человеком. С жаром требовала, чтобы я объяснил ей, почему в моей статье, написанной много лет назад, я заявил, что изделия художественного ремесла нельзя поставить в один ряд с произведениями искусства. Из жалости к отцу я предпочитал не говорить ей, что думаю о ее бесформенных, выполненных в этническом стиле кувшинах и чашах, но моя сдержанность заставляла ее лишь еще более энергично наскакивать на меня и с торжеством в голосе объяснять мою холодность и невозмутимое высокомерие тем, что я «типичный скорпион». Быть может, я бы еще мог прими-

риться с ее взрывами, вызванными комплексом неполноценности, и с ее насквозь пропахшим мускусом эзотерическим провинциализмом, если бы не был вынужден оставаться безучастным свидетелем того, как мой отец, словно побитый пес, подчинялся невротическим перепадам ее настроения, которые она объясняла то фазами луны, то его мужской бесчувственностью по отношению к ее биоритмам. До выхода на пенсию отец был инженером, строил мосты и плотины в Африке и на Ближнем Востоке, а теперь проводил время, разжигая палочки для курений, готовя снадобья из трав для своей голистской истерички, делая ей тибетский массаж ног, ублажая ее астральное тело и усваивая ее вздорные теории о чувствительности растений. Со всем этим я никак не мог примириться, но однажды Астрид со своей обычной кривой усмешкой обратила мое внимание на то, что в своем негодовании я не замечаю, что отец мой, судя по всему, счастлив в этом браке. Я думаю, что она была права, и переход от его прежней слепой веры в математику к этому новому экологическому мистицизму был не столь уж неожиданным, поскольку и то и другое являлось результатом радикальной последовательности, того же самого страха перед

иронией бытия и перед вопросами, не имеющими ответа. В моих глазах новый брак отца был пародией на его брак с моей матерью, с той лишь разницей, что на сей раз его унижение не было мучительным, а было просто смехотворным. За мужественным фасадом инженера-бетонщика всегда скрывалось доброе, испуганное сердце, которое тайно молило о любви, жаждало этой любви в наивной убежденности, что любовь можно чем-то заслужить. Когда я был ребенком, он посылал мне открытки из городов с экзотическими названиями, и я прятал эти открытки с африканскими или арабскими мотивами в коробочку под кроватью. Он всегда был занят строительством какого-то моста или плотины, а может, электростанции где-нибудь в жарких странах. Он часто отсутствовал много месяцев подряд. Каждое утро я сидел за столом, набив рот овсяной кашей, и прислушивался, не раздастся ли стук почтового ящика и тихие шаги в прихожей. Я сохранил одну из его открыток, которая и теперь кажется мне особенно трогательной. Меня трогает не сам снимок с высоты птичьего полета, изображающий узкий перешеек, тесно застроенный высотными домами в окружении неправдоподобно синего моря, не коротенькое

письмецо на оборотной стороне открытки, в котором отец сообщает о температуре, о том, что у него все хорошо, и которое датировано девятым октября тысяча девятьсот шестьдесят пятого года. Меня завораживает текст, напечатанный мелким шрифтом под поблекшими строками письма: Beyrouth moderne. Vue générale et les grands hotels de la Riviera Libanaise.

Я рано научился сам заботиться о себе, потому что моя мать всегда долго спала по утрам, а когда я возвращался домой из школы, она уже обычно была на репетиции или «на радио», если не отдыхала за закрытой дверью супружеской спальни со спущенными шторами. В то время как матери моих товарищей стояли у себя в домах, на загородных виллах, в послеобеденное время, надев фартучки и держа наготове кофейники с горячим какао, моя мать лежала, развалясь на неприбранной постели с сигаретой в уголке рта, и читала газету, неприступная и как-то по-особому небрежная, и это оскорбляло мое пуританское мальчишеское сознание. Мы встречались только по вечерам, когда она наконец выходила из своего будуара, заспанная и вызывающе роскошная в своем распахнутом кимоно. Она разогревала суп из консервов или какое-нибудь замороженное

готовое блюдо для нас обоих, а затем снова исчезала в спальне, чтобы «привести себя в порядок» перед тем, как вызвать такси и укатить в театр, предоставив меня самому себе. И лишь в тех случаях, когда ей предстояло «давать интервью», она одним махом наводила повсюду порядок, так что наш дом на какое-то время в виде исключения становился похож на обычный, нормальный дом. А когда нас вместе фотографировали, она наклонялась и погружала подбородок в волосы на моей макушке, так что фотограф имел удовольствие лицезреть одновременно и мои полные детские щечки, и ее полную грудь. Я и сам не могу не признать, что в те годы она была красива, даже можно сказать, пугающе красива, особенно когда она, напудренная и причесанная, склонялась ко мне, чтобы поцеловать меня на прощанье, а потом шла по садовой дорожке к подъезжавшему такси, цокая высокими каблучками, покачивая пышными бедрами, обтянутыми узкой юбкой. Мне казалось, что в ее красоте таится какая-то скрытая и безотчетная угроза, потому что она была предназначена не для меня, а для других, и когда она склонялась надо мной, чтобы поцеловать меня в щеку своими мягкими, пухлыми губами, запах ее духов, ее белые, круглые груди

в низком вырезе платья заставляли меня чувствовать себя маленьким уродливым карликом, который на какое-то мгновение, незаслуженно, в виде особой божьей милости, смог соприкоснуться со смертельно притягательным отблеском того мира, куда ему никогда не будет доступа. Мы редко разговаривали с ней подолгу, а когда это случалось, то, как правило, это был скорее нескончаемый монолог, как будто она просто рассуждала вслух в моем присутствии, сетуя на жестокость жизни, на то, что люди к ней безжалостны и ей иногда хочется «с громким воплем бежать куда-нибудь прочь отсюда». И в моих глазах возникала эта картина, я видел и слышал, как она с громким воплем бежит по дорожкам виллы в одной рубашке, с распущенными волосами. Я не преувеличиваю, утверждая, что общение матери со мной по объему и содержанию соответствовало кратким весточкам от отца, посылаемым мне на обратной стороне видовых открыток с верблюдами, бедуинами, минаретами и негритянскими деревнями. Это были, можно сказать, телеграфные, немногословные послания, в которых кроме сообщений о погоде говорилось, что у него все хорошо, и что он надеется, что и у меня также все хорошо, и что он рад будет увидеться

со мной снова. Лишь изредка текст его посланий бывал несколько более глубокомысленным, но и в таких случаях он лишь невнятно сообщал о том, что «он думает обо мне». Что именно он думал обо мне, я так никогда и не узнал. Вместе с тем мне и в голову не приходило упрекать его за эту застенчивую немногословность. Я воспринимал ее как доказательство его непререкаемой мужской независимости. Ведь он был так занят, строя свои мосты, плотины и электростанции. Я представлял себе, что он строит их, можно сказать, голыми руками, заросший щетиной, в пробковом шлеме, выбиваясь из сил под палящим солнцем, в окружении хищных зверей, борясь с закоренелой, неисправимой ленью туземцев. По вечерам я лежал в постели, представляя, как он в один прекрасный день возьмет меня с собой, и мы покинем мою нерадивую мать с ее послеобеденным сном и с ее театром, и как я буду стоять, утопая ногами в песке пустыни, и подавать ему разводной ключ, а он, весь в поту, возьмет его у меня, не глядя, и, играя мускулами, затянет последнюю гайку на стальной опоре моста, проложенного через забытую богом деревушку в раскаленном добела сердце Сахары.

За день до его приезда после строительных

подвигов в доме происходили полные драматизма перемены. Вместо того чтобы проводить послеобеденный отдых в постели, моя мать вдруг ощущала необыкновенный прилив энергии. Она носилась по дому как ураган, убирала, чистила, пылесосила, взбивала подушки, проветривала вещи, и то, что в течение всех минувших недель походило на бордель после закрытия, на пару часов превращалось в респектабельный буржуазный дом наподобие тех, что, к моей зависти, были у моих товарищей. Впервые за много недель мать покупала продукты и демонстрировала неожиданные для нее кулинарные способности. А когда мой отец, загорелый, овеянный духом приключений, появлялся на пороге, она кидалась ему на шею, обвивалась вокруг него, так что он в конце концов, смеясь, вынужден был высвобождаться из кольца ее любящих рук. Единственный вечер я чувствовал себя на седьмом небе, спокойном, безоблачном семейном небе, и мы с матерью сидели за столом и внимали рассказам отца об экзотических странах. Только в этот единственный раз ослепительная красота моей матери не таила в себе угрозы и меня ни на минуту не задевало то, что она целует моего отца, обнимает его за талию и призывно гладит по ягодицам. Эту роль

она тоже играла так, чтобы выжать у зрителей слезу. Но уже на следующий день она снова становилась раздражительной, и я видел, как мой отец, строитель мостов, конструктор турбин, специалист по бетонным сооружениям, должен был вертеться ужом, чтобы угодить ей и добиться хотя бы одной-единственной небрежной ласки. Она опять закрывалась после обеда у себя в спальне, а когда отец возвращался домой, со злым и упрямым видом подавала на стол то, что находилось в холодильнике, а короткие и проникновенные взгляды отца делали ее еще больше отчужденной и раздражительной. Когда ее увозили в театр, мы с отцом устраивались на диване и погружались в мир Киплинга, Купера и Стивенсона с их легко преодолеваемыми опасностями и примитивными добродетелями. Но чаще всего я смотрел на него сквозь полуприкрытую дверь моей комнаты, когда он, пожелав мне спокойной ночи, сидел в гостиной за бутылкой виски, устремив взгляд в пространство, одинокий и бесприютный в собственном доме. Я прислушивался к стуку кубиков льда в его стакане и к тому, как они ударялись о его зубы, после того как он осушал его. Иногда я просыпался по ночам, когда они ссорились за стеной. Мне было около тринадцати лет, когда

я начал мало-помалу понимать, что происходит у нас в доме. Сперва это были лишь смутные подозрения, которых я толком даже не осознавал. Когда отец снова уезжал, я слышал голос матери за дверью спальни. Она полушепотом говорила с кем-то по телефону незнакомым, вкрадчивым голосом, а иногда ее ждал у ворот частный автомобиль вместо такси. Нередко случалось, что она звонила домой по вечерам и с неожиданной лаской в голосе спрашивала, не возражаю ли я, если она останется на ночь в городе у подруги. Я ведь теперь уже совсем большой мальчик и к тому же привык вставать по утрам один. Однажды вечером во время нашего телефонного разговора я сказал ей, что тоже собираюсь переночевать у товарища. Я ходил к нему часто, не только для того, чтобы поиграть с ним, а чтобы хоть несколько часов побыть в семейной обстановке. Но во время ужина мой товарищ вдруг почувствовал боли в животе, и меня отослали домой. Ночью я проснулся от звуков приглушенного смеха, доносившихся из спальни матери. Сперва я подумал, что она смеется во сне или что мне самому это снится. Я услышал, как она протяжно и ритмично вздыхает, и готов был уже бежать к ней в спальню в полной уверенности,

что она тоже заболела, как и мой друг. Кто знает, может в городе распространилась какая-нибудь эпидемия? Но я остался в постели, услышав еще чей-то стон, более низкий и глубокий, слившийся с ее ритмичными, приглушенными вздохами. Наутро я осторожно приоткрыл дверь в спальню матери. Она лежала одна на широкой кровати и спала. Я ушел в школу в полной уверенности, что все это мне приснилось. Со временем она почти перестала скрывать свою неверность, даже от меня, и я научился распознавать ее маневры, поскольку она, сама того не сознавая, приоткрывала передо мной завесу над своей тайной, беспутной жизнью. Поскольку она фактически предоставила меня самому себе, я стал поступать с ней так же. Если я не гостил у друга, то уходил в город и бродил по улицам. Именно тогда, случайно, можно сказать, от нечего делать, я зимой, когда на улицах и в парках было слишком холодно, начал посещать музеи и постепенно почувствовал вкус к осмотру статичного, безгласного мира картин, где взгляд, отрешенный от грязных мыслей, мог углубляться в созерцание света и тени, лиц и мест. В музее я обретал мир и покой, никто здесь со мной не заговаривал, никто не поворачивался ко мне спиной, и бывали дни, когда я прогуливал

занятия в школе и уходил в музей, чтобы посидеть в тихих залах, устремив взгляд на замкнутые в раме ландшафты, застывшие события, портреты и предметы вне времени. Я мог просиживать так целыми часами, пока не исчезало расстояние между моими глазами и мифологическими обнаженными фигурами, задрапированными складками плащей, стоящими в разных позах в окружении облаков, и не было больше заметного перехода от моих мыслей к лазурно-синему морю, к закрытым ставням в темной комнате, где кто-то оставил скрипку. Хотя картины были написаны в самое разное время и хотя в их квадратном обрамлении были запечатлены самые разные сцены, они всегда вызывали у меня одну и ту же ясную и поразительную мысль о том, что мир не состоит из различных, не связанных между собой мест, что мир — это единое целостное место, но только очень большое. Именно в это время я начал видеть вещи такими, как они есть, так сказать, буквально, точно мир состоит из слогов, из гласных света и согласных тени. Обозревая мертвые вещи, я забывал о времени. Я перестал прислушиваться к тому, что говорят люди. Я мог видеть, что это вызывает у них озабоченность, но меня подбадривало равнодушие, которое я испы-

тывал к их растерянным взглядам. Мне было все равно, понимают ли они меня или нет, и я прилагал все меньше усилий, чтобы быть понятым. Я перестал учить уроки, но всегда умел отвечать наугад так, чтобы совсем уж не попасть впросак. От меня требовали ответа о том и о сем, и я скрепя сердце пытался отвечать из вежливости, пока не стал отвечать на все вопросы одной и той же фразой: «Не хочу отвечать». Вокруг раздавались смешки. «Не хочешь отвечать?» На меня обрушивались гнев и возмущение учителей. Чем яснее я выражался, тем сложнее становилось. Однажды утром один из учителей остановил меня в коридоре и, прислонившись к вешалке с влажными от дождя пальто, устремил на меня взгляд, полный растерянности. Неужто я хочу остаться тринадцатилетним недорослем? Я невольно проникся к нему симпатией за этот его растерянный взгляд и, приветливо улыбнувшись, сказал, что мне ведь всего тринадцать лет. Он выпучил на меня глаза и сказал, что сейчас разрыдается. Но он так и не заплакал.

Я сидел за своим столом в классе и читал имена тех, кто сидел здесь до меня и вырезал свои «руны» на лакированной поверхности. Я рассматривал карту мира, развернутую перед доской,

исписанной неровными меловыми строчками бессмысленных цифр и знаков. Африка походила на опрокинутую детскую коляску, а моя собственная страна напоминала простуженного гнома, который дает наставления своим детям, между тем как холодный ветер дует ему в затылок. Я больше не думал о своем отце, который стоит где-то далеко под палящим солнцем среди бетономешалок и строительных кранов, пока его жена раздвигает ноги под своими неизвестными любовниками. Я представлял себе песчаные бури, муссоны, раскачивающиеся листья пальм, дельты, деревни на сваях, глубокие ущелья в горах, протяжный крик с минаретов в городах, где люди сидят на крышах домов. Я больше не общался с окружающими. Я попросту забыл слова, которыми обмениваются, сообщая друг другу новости или рассказывая о семейных делах, о планах на каникулы, и которые располагают людей к доверию. Даже влюбленность постепенно ослабила свою хватку. В классе у нас была девочка с острыми грудями, выпирающими из-под ее обтягивающих хлопчатобумажных кофточек, которые она всегда носила. Она сидела впереди меня, чуть согнувшись, поставив локотки на стол. Ее светлый «лошадиный хвостик» едва касался

кожи на шее, а под белой хлопчатобумажной материей выделялись лопатки, похожие на сложенные крылья по обе стороны выступающего позвоночника, исчезавшего под брючками, туго стянутыми пояском над ягодицами, сердечком выступающими под застиранными голубоватыми джинсами. Глаза у нее были синие, а ее строгая красота заставила меня поверить, что она сможет понять меня лучше, чем кто-либо другой, если только я найду нужные слова для разговора с ней. Я представлял себе, что ее синие глаза способны увидеть вещи такими, какими их вижу я, и такими, какие они есть на самом деле. Я бывал у нее дома вместе с другими ребятами из класса, мы сидели на полу, пили чай и слушали музыку. Всегда находился какой-нибудь парень-здоровяк, который мог сказать что-либо остроумное, а я смотрел на нее, слушая ее прелестный смех, — она смеялась этим туповатым шуткам. Я уходил последним. Мы сидели друг против друга, проигрыватель крутился вхолостую, догорали стеариновые свечи. Слова были как барьер между нами. Казалось, мы находимся в громадном здании с пустыми комнатами и никак не можем отыскать друг друга. Однажды на каком-то празднике я танцевал с ней. Мы стояли,

топчась на месте в полутьме, как обычно танцуют медленные танцы, тесно прижавшись друг к другу, и я ощущал ее тело сквозь одежду и вдыхал запах ее вымытых волос. Но я не знал, как мне продвинуть руки дальше предписанного правилами места на ее бедрах, она была так близко от меня и в то же время так далеко. Потом, когда все стали замечать мои странности в поведении с товарищами, она догнала меня по пути из школы домой. Мы остановились у проволочной сетки, ограждавшей спортивную площадку.

Она спросила, в чем дело, почему я всех избегаю. Позади нее простиралась трава, словно цепь между безмерными футбольными площадками. Она была парламентером, она явилась не от себя, это «они» послали ее, потому что заметили, как действуют на меня ее синие глаза. Ее груди под мягкой белоснежной хлопчатобумажной блузкой были гневно наставлены на меня. Ее общение со мной было подачкой, ее синие глаза, устремленные на меня, — частью заговора. Я оглядел травяную лужайку — меня всегда поражали огромные размеры спортивного поля, когда мы выходили на него в своих коротких штанишках и разбегались врассыпную, превращаясь в маленькие фигурки на зеленом пространстве.

Я по мере возможности старался не брать мяч, а в тех редких случаях, когда он все же оказывался у меня в руках, охотно перебрасывал его ближайшему от меня противнику. Я стоял, глядя, как она удаляется на своем велосипеде по аллее, обсаженной каштановыми деревьями, и следил, как луч солнца время от времени падал на ее спину, обтянутую белой блузкой.

Я не знаю, хотел ли я на самом деле, чтобы отец положил конец бесчисленным изменам моей матери. Чего я ждал от него? Чтобы он швырял на пол фарфоровую посуду? Или отколотил мать? Или, может быть, перерезал ей горло арабским кинжалом, привезенным мне в подарок, а затем проткнул им себе живот? Она становилась все более небрежной в своих выдумках и увертках, даже в те периоды, когда отец бывал дома, но он не хотел ничего замечать и только по ночам, когда думал, что я сплю, продолжал сидеть и дожидаться ее. Я слышал его голос через дверь моей комнаты, когда она наконец возвращалась домой. Он донимал ее своими жалкими, смиренными, униженными вопросами. Обычно мать отвечала со злостью и издевкой, если вообще снисходила до ответа. Однажды я слышал, как она сказала, что если он и дальше будет упорствовать в своей

смехотворной ревности, то ей и впрямь придется завести себе любовника. Может быть, тогда он наконец будет доволен. Эти ночные сцены обычно кончались тем, что она уходила в спальню, хлопнув дверью, а некоторое время спустя оттуда ко мне доносился его голос. Возможно, он сидел на краю постели, если не стоял перед нею на коленях, с отчаянием моля о прощении и уверяя ее в своей страстной любви. Иной раз она вообще уходила из дому, а он оставался в гостиной со своей бутылкой виски и сигаретами и сидел там, пока за окнами не начинало светать и на пустой аллее виллы принимались щебетать дрозды. Все чаще случалось, что она вообще не возвращалась домой из города, и могло пройти несколько дней, прежде чем мы опять лицезрели ее. Когда мы оставались одни, отец неожиданно обнаруживал новые качества своей натуры. Он готовил еду, стирал белье, спрашивал меня, как дела в школе. Я лгал ему, поскольку считал, что он заслуживает хоть малой толики хороших вестей посреди всех своих несчастий. Но я не в силах был отвечать на его внимание любящего отца. Когда я возвращался из школы и он расхаживал по дому в фартуке, я уходил в свою комнату, закрывал дверь и лишь по необходимости с неохотой отвечал ему, если

он, постучавшись осторожно, входил ко мне и садился на постель. Я видел по нему, что огорчаю его своей отчужденностью, как будто у него и без меня мало было огорчений. Но его несчастные глаза и мягкая, унылая улыбка делали меня еще более немногословным и замкнутым. Наконец он поднимался, ласково гладил меня по волосам, и у меня все сжималось внутри. Однажды днем, в начале лета, придя из школы, я увидел, что мать возвратилась домой после многих дней отсутствия. Она стояла у окна в гостиной, глядя на аллеи сада, а отец лежал на полу, лицом к стене, скорчившись и дрожа, словно от холода. Он не заметил меня, а мать обернулась лишь спустя некоторое время. Все это время я стоял и прислушивался к невероятным, пугающим звукам, которые издавал мой отец. Он плакал. Лицо матери ничего не выражало, оно было безвольным и белым от усталости. Она посмотрела на меня, точно я был чужим, забредшим сюда по ошибке. Решение пришло внезапно. Я вошел к себе в комнату и стал укладывать свой рюкзак. Они даже не заметили, как я ушел из дому, целиком поглощенные своей собственной драмой.

Развалины почти не просматривались за деревьями и разросшимися кустами в палисаднике. В

одном месте крыша дома и этажные перекрытия обрушились, и сквозь образовавшиеся отверстия видны были обрубки балок, щебень, обломки кирпича. Я не раз уже обследовал эту полуразрушенную виллу, идя домой из школы или по воскресеньям, когда раскатывал на велосипеде по безлюдной тихой дороге. Я мог часами сидеть на старом, заплесневелом диване, греясь на солнце или наблюдая, как дождь беспрепятственно проникает через дыру в крыше, прибивая пыль и образуя темные пятна между битым стеклом, обрывками обоев и разбитыми оконными рамами. Вилла находилась в конце проселочной дороги, и за ней сразу же открывалась лесная лужайка. Лес уже начал вторгаться в заросший, запущенный сад, а ветер заносил семена через отверстия окон и крыши, так что трещины, образовавшиеся в бетонном полу погреба, стали еще более расширяться под натиском разветвляющейся корневой системы растений. Зеленые стебли разрастались между обвалившимися досками пола, пробиваясь к обрывкам обоев на стенах помещения, которое когда-то было гостиной. Пройдет два-три лета, и они дотянутся до осыпающейся штукатурки на остатках потолка. Когда я впервые прислонил свой велосипед к покосившемуся штакетнику

изгороди и пошел к дому, продираясь сквозь высокую траву, во мне вдруг возникло ощущение, что за мной кто-то наблюдает. В густых зарослях за изгородью показались посреди листвы развалины виллы, зияя черными провалами ободранных окон, которые уставились на меня, точно пустые глазницы черепа. Я полез внутрь сквозь эти отверстые глазницы и, оказавшись под обрушившимися стропилами, пошел, балансируя по краю широкого кратера в полу, то ослепляемый солнцем, то ощупью в полутьме.

Лестница, ведущая на верхний этаж, была почти невредима, и я двинулся по коридору с дверями, которые с одной стороны открывались прямо наружу с той стороны дома, которая разрушилась окончательно. В самом конце коридора была комната, которая, если не считать дыры в потолке, сохранилась вполне сносно. Здесь-то и стоял диван между стенами, увешанными полками, на которых еще осталось несколько книг в заплесневевших кожаных переплетах, с пожелтевшими, изъеденными червями страницами, покрытыми пятнами сырости. На полу я нашел полусгнившую позолоченную раму без стекла, обрамлявшую старую фотографию некогда белого, а теперь пожелтевшего парохода с высокой,

скошенной назад трубой. Пароход стоял на якоре в сероватой морской воде неподалеку от берега с серыми пальмами, обрамлявшими картину своими изогнутыми стволами и обтрепанными листьями. Я нашел также воду. Старый, потрескавшийся резиновый шланг лежал свернутый под стеной дома. Оказалось, что он прикреплен к водопроводному крану, скрытому зарослями плюща. Как ни странно, кран не заржавел окончательно, и я был вне себя от радости, когда увидел, как брызнувшая струя из ржаво-красной превратилась в прозрачную и сверкнула в лучах солнца, точно начищенное до блеска серебро.

Сперва меня просто забавляла мысль о том, что я нашел место, где могу укрыться, место, о котором кроме меня никто не знает. В течение нескольких предыдущих недель я незаметно утаскивал из дома родителей разные необходимые вещи — книги, консервы, несколько пачек печенья, кухонную утварь, спальный мешок, транзистор и штормовой фонарь. Я обнаружил, что смогу уместиться на покрытом плесенью диване, если буду лежать на боку, согнув ноги. Это будет постель для меня. Светлые часы дня я использовал на то, чтобы устроиться, а когда наступили сумерки бывшая библиотека виллы

стала почти похожа на дом. Я подбадривал сам себя, слушая по транзистору концерт Брамса, потом нагрел на примусе жестянку с томатным супом. Итак, я все же сделал это. Я ушел из дому, мой замысел воплотился в действительность. И все-таки мне трудно было заснуть здесь в первую ночь. Я долго лежал, прислушиваясь к далекому шуму автомобилей на шоссе и к возне мышей под полом и пытаясь различить созвездия на небе. Несмотря на тщательные приготовления, я кое о чем не подумал, например о туалетной бумаге. Она понадобилась мне утром, когда меня разбудил яркий луч солнца, от которого заблестели капельки росы на моем спальном мешке. Я отправился в густую траву, доходившую мне до колен, и в последующие дни я всякий раз выбирал другое место. Не прошло и недели, как я побывал везде вблизи дома и вернулся обратно к исходному пункту. Но к этому времени экскременты уже засохли и не издавали никакого запаха, а остальное довершила земля. Мои штаны намокли от росы, когда я в первый раз пошел по тропке в заросли, подняв руки кверху, чтобы не уколоться о шипы и не обжечься крапивой. Сидя на корточках в глубине сада, я глядел на дом и представлял себе, что окно в мое новое жилище — это квадратный

зрачок, который смотрит на меня не мигая. Я не взял с собою школьный ранец, и моя забывчивость помогла мне принять окончательное решение больше не ходить в школу. В утренние часы я шатался по дорогам и воровал продукты с заднего хода супермаркетов, где разгружались машины с товаром, а в послеобеденное время лежал на диване и читал или следил, как по моей комнате летают птички.

Я быстро привык к неудобствам и приспособился к особенностям своего нового существования. Я привык даже к мышам и продвинулся в этом настолько, что взял их под свое покровительство. Развалины были естественным местом встречи всех бездомных и одичавших, живших окрест, так что я во время своих грабительских набегов на супермаркеты раздобыл несколько жестянок кошачьей еды, но по ночам я мог убедиться, что кошки все же предпочитали естественную добычу. Я даже сумел в какой-то мере наладить собственную гигиену. Каждое утро я мылся холодной водой из-под крана, который обнаружил за домом, а потом стирал нижнее белье, колотя им о камень, как это делали африканские женщины в какой-то телепередаче. Я чувствовал себя Робинзоном Крузо, добровольно поселившимся

на пустынном острове, который он неожиданно отыскал посреди почти космического однообразия бесконечных ухоженных садов в этом квартале вилл. Слушать радио для меня было все равно, что принимать сигналы с какой-то дальней планеты, а когда я однажды днем услышал в новостях о том, что разыскивается мальчик, а потом было названо мое имя и перечислены мои приметы, то в первый момент подумал, что речь, вероятно, идет о странном совпадении, о каком-то неизвестном мне двойнике. Конечно, мысль о том, что моих родителей встревожит мое исчезновение, приходила мне на ум, хотя у них и своих проблем хватало, но я не собирался обнаруживать себя. Меня приводила в восторг мысль о том, что я — один из тех пропавших без вести, о которых слышишь время от времени и которых разыскивают с помощью невода на дне озер или в мергельных ямах. Я вспоминал озорную реплику Лесли Ховарда из «Красного Пимпернеля»: «Ищут там, и ищут тут, Пимпернеля не найдут. Французишки сбились с ног: куда он подеваться мог? Ты поди-ка угадай — в ад попал он или в рай. Где же прячется теперь этот чертов Пимпернель?» Иногда, когда моя мать уединялась в спальне, она, полуизвиняясь, оправдывала себя тем, что

ей надо побыть «самой собой». Теперь я понимал, что она имела в виду. Наконец-то и я мог побыть «самим собой», далеко от их бесстрастных разглагольствований и бессмысленных планов. Но я был «самим собой» только потому, что забыл самого себя в моих развалинах, затерянный среди книг и бесконечной смены солнечных пятен и световых полос и тени от нагромождения балок и остатков крыши. Погружаясь в мечты и углубляясь в себя, я оказывался всего ближе к малозаметным деталям видимого мира. Я забыл о времени и обо всем, что знал. Мои глаза снова обрели способность видеть мир вокруг меня, точно я пробудился от оглушающего влияния мыслей и слов. По вечерам, гуляя в саду, я видел, как свет поглощается травой, каждой былинкой, а мой заброшенный дом окутывает синева. Сидя в траве с закрытыми глазами, я чувствовал, как последние лучи солнца исчезают с моего лица, и творил, словно собственную литургию, языческую вечернюю молитву. Это было несколько строк из стихотворения, которое мы читали на уроке английского языка. Я не запомнил имени поэта, но первые строчки стиха врезались в мою память, как мантра. Они объясняли мне, что я чувствовал, даже больше, чем реплика Лесли

Ховарда: «Я никто, а кто ты? Ты ведь тоже никто? Тогда мы с тобой пара. Молчи! Они объявятся, ты знаешь. Как тоскливо быть кем-то, ты становишься общедоступным, как лягушка…» Остальное я не запомнил, лишь образ общедоступных лягушек вставал в моем воображении всякий раз, когда я слышал по радио, как они выкрикивали свои новости, свои суждения, объявления о розыске, результаты спортлото, сообщения о фарватерах прямо в мою накрапывающую, шуршащую, щелкающую, шелестящую тишину.

Это время вспоминается мне так, будто я прожил там целое лето. На самом же деле не прошло и двух недель. Я уже не помню теперь, каким образом мой отец нашел меня. Но в один прекрасный день он оказался у железной изгороди моей «виллы». Он стоял и звал меня, кротко и боязливо, как всегда, словно я был сбежавшим от него котом. Я показал ему дорогу через развалины, указывая, куда ставить ногу, и когда усадил его на диван, то вежливо, как воспитанный мальчик, спросил, не хочет ли он выпить стакан воды. Он долго рассматривал воду на свет, прежде чем пригубить из стакана, точно не вполне доверял мне. «Так вот где ты прячешься», — сказал он. Я ответил, что вовсе не прячусь, а просто переехал

сюда на житье, и он бросил на меня ласковый взгляд. Потом сообщил, что тоже ушел из дому. Он ведь так много ездит по свету, он нашел себе жилье в городе. И сказал, что мать скучает по мне, и у него был такой вид, будто он сам в это верит. Я спросил, страдает ли он. Да, ответил отец и улыбнулся почти извиняющейся улыбкой. Он похвалил меня за то, что я так удобно устроился, и рассмеялся, когда я рассказал ему, каким образом добываю себе пропитание. Перед уходом он оставил мне пачку стокроновых банкнот, чтобы я мог, как он выразился, «отовариваться более приличным способом». Отец не пытался уговорить меня покинуть мое убежище. Он знал, что теперь, раз уж я все равно обнаружен, это было бы излишне. Он постоял немного, перед тем как попрощаться, и я обнял его. Он был этим поражен. Теперь, думая о своем отце, я предпочитаю видеть его таким, как в тот раз, когда он обернулся и на прощанье помахал мне, стоящему среди битого кирпича и треснувших балок.

На другой день я вернулся домой. Моя мать сообщила мне, что отец уехал в Йемен на много месяцев и будет там руководить строительством турбогенератора. Она постаралась как можно лучше войти в роль одинокой, заботливой мате-

ри, особенно в течение той недели, когда развод моих родителей обсуждался на первых страницах цветных еженедельников. Однажды в воскресенье она даже испекла печенье. Но вскоре она снова стала проводить дни за закрытыми дверями своей спальни и часто возвращалась домой не раньше утра следующего дня. Однажды вечером, стоя перед зеркалом в прихожей и подкрашивая веки в ожидании, когда за ней придет такси, она вдруг обернулась ко мне и сказала так, словно это только что пришло ей в голову, что мой отец — тряпка и слюнтяй. Я хотел ответить, взять его под защиту, но промолчал, злясь за это на самого себя. Эти два коротких словечка так и повисли в воздухе, когда она, послав мне быстрый воздушный поцелуй, вышла к поджидавшей ее машине. Мы предоставили друг друга самим себе. Иногда она ночевала у своих то и дело меняющихся любовников, иногда они проводили ночь у нас в доме. Со мной они неизменно обращались с изысканной вежливостью, как будто я был взрослым человеком, и постепенно я привык к мельканию все новых лиц, появлявшихся в дверях спальни в утренние часы, когда я собирался в школу. Хотя я теперь вернулся к прежнему образу жизни, мое пребывание в разрушенной вилле все же стало

поворотным пунктом в моем существовании. Моя эскапада стала известна всей школе, и в глазах остальных это смахивало на авантюру. Из замкнутого, странноватого чудака я превратился почти в героя. Кроме того, жить в доме было куда приятнее, чем обитать в разрушенной вилле. Когда я спустя несколько лет начал спать с девушками, то оценил эгоцентризм образа жизни моей матери. Ей было все равно, кто проводил ночь у меня в комнате, и ее лишь забавляло, что это редко бывала одна и та же девушка. По крайней мере, она была довольна, что ее сын не был тряпкой и слюнтяем.

Я научился вести себя так, как все. Научился правилам игры, милой, невинной игры, которая ничего не значит, потому что, в сущности, может означать все что угодно. Но когда я очередной светлой ночью лежал в своей комнате или на морском берегу, а рука моя погружалась в трусики еще одной разбитной или робкой девицы, я постоянно чувствовал, что между моей рукой и моими мыслями существует дистанция. Она же существует между тем человеком, каким я был в глубине души, и тем наверняка безумно симпатичным, но абсолютно равнодушным парнем, которому девушка пристально смотрела в глаза,

а он между тем лихорадочно пытался приладить презерватив. Я смотрел на эту чувствительную сцену как бы со стороны и снова вспоминал те счастливые часы в развалинах, когда я лежал на покрытом пятнами плесени диване и, наслаждаясь отдыхом, смотрел на звезды сквозь отверстие в крыше, и единственным моим обществом были бродячие коты и шуршащие мыши. Отшельник холодно взирал на меня из развалин своего прогнившего царства, и я видел холод его глаз, но его самого я видеть не мог. Мне представляется лишь слабый отсвет звезд, словно подернутых снежной мглой, в раме из скрипучих стропил кровли. Всякий раз, когда очередная девушка шептала мне на ухо милые нежности, а я отвечал ей обычными стереотипными фразами, то думал о том, что это всего лишь слова, не более чем обычная меновая торговля под покровом ночи, одно слово в обмен на другое, ласка в обмен на поцелуй, нежный взгляд в обмен на возможность головокружительного проникновения внутрь, между ее прельстительными ляжками. Слишком велико было различие между моими внутренними ощущениями и внешним поведением, от которого мне удалось отрешиться на то время, когда я жил в доме, где между стен летали птицы,

а из цементного пола в подвале поднимались растения.

Когда я видел, как моя мать красит губы и осыпает лицо пудрой, перед тем как отправиться на свидание к своим любовникам, то невольно спрашивал себя, почему она когда-то жила с моим отцом. Впрочем, они ведь были так молоды, лишь немногим старше, чем теперь был я сам, всего лишь дети, заблудившиеся в светлые ночи. Быть может, это была лишь случайная ночь в дюнах или в снятой комнате, где у них произошла случайная, единственная встреча, краткое, упоительное, головокружительное свидание, которому они придали слишком много значения. А быть может, они кинулись друг другу в объятия потому, что им надоело болтаться с кем попало. Как бы то ни было, я невольно задавался вопросом, не появился ли я на свет вообще по недоразумению. Может, по представлениям матери, это должен был быть не я, а кто-то другой. Но по мере того как я превращался в красивого юношу, она стала больше интересоваться мной.

Она, поддразнивая, с любопытством выспрашивала меня о моих любовных приключениях и делала меня поверенным своих тайн, как будто мне впрямь было интересно слушать о том, когда,

где и с кем она лежала в постели. Теперь мы с ней были товарищами, и я был единственный, кто, по ее словам, «понимал ее». Когда мой отец возвращался из своих зарубежных командировок, я навещал его в квартире, которую он снял в городе. Он, как и в былые времена, рассказывал мне о своих мостах и плотинах, но я слушал его рассеянно и отвечал уклончиво, когда он осторожно выспрашивал о том, как идут дела дома. Время, когда я мечтал о том, чтобы стоять рядом с ним на строительных площадках в жарких странах, внезапно отодвинулось куда-то далеко-далеко, и теперь, когда я получал его неизменно лаконичные и ничего не говорящие открытки, они казались мне столь же ребяческими, каким был я в те годы, когда прятал их в коробку под кроватью, чтобы потом перечитывать ночью, в часы бессонницы.

На спектакле он проснулся лишь тогда, когда артисты стали выходить на вызовы, но зато первым вскочил с места и стал аплодировать с особым усердием, точно хотел загладить свою дремоту во время представления, а моя мать тем временем вышла на сцену одна, приняла букет цветов, который ей передала пунцовая от смущения билетерша, и поклонилась восторженной

публике с заученной скромностью. Впрочем, восторженность — это не то слово. Публика буквально исходила слюной от экстаза. Глаза зрителей сияли, точно у новообращенных христиан, они топали ногами и аплодировали так, что, казалось, готовы были содрать кожу с ладоней. Итак, моя мать снова добилась своего. И на этот раз ее ограниченный, но хорошо изученный и доведенный до совершенства набор патетических и вульгарных гримас внушил публике ощущение подлинности жизни, глубокой и удивительной жизни, а не того декорированного, дешевого и коварного подражания, от которого они отдохнули в этот вечер, а потом, когда зажжется свет, они снова вернутся домой, испытывая одновременно и блаженство, и чувство обделенности.

После того как мать в последний раз вышла на поклон, я и отец вместе с остальными особо приближенными собрались за кулисами на «небольшое торжество», о котором она не преминула напомнить, когда звонила мне. Я держался чуть позади, наблюдая, как она с двусмысленной улыбкой подставила отцу щеку, чтобы принять его смиренный поцелуй. Я видел, как он еще и теперь, спустя тридцать лет, пытался соединить некую интимность и доверительность во взгляде

со светски независимой манерой обращения. Именно из-за этого мгновения он и пришел. Все эти годы отец дожидался, когда снова сможет показать ей и себе, что старые раны уже затянулись. Но не успел он получить вознаграждение в виде единственного теплого и узнающего взгляда, как она уже подставила щеку для поцелуя очередному поздравителю. Для нее он был лишь одним из множества других знакомых лиц, которые толпились вокруг, точно семь гномов вокруг Белоснежки, столь же безвредных и трогательно наивных в своей преданности. Для бывшего мужа она представляла как бы застарелое увечье, легкую, но уродующую хромоту, от которой пытаются отвлечь внимание своим ухоженным видом и постоянной предупредительной улыбкой, обращенной ко всем вокруг. Он растерянно оглядывался, снова чувствуя себя одиноким, после того как его миссия столь внезапно завершилась, а я спрятался за спинами сгрудившихся директорских жен, которые, утопая в облаке духов, восторженно внимали режиссеру, а тот, усиленно жестикулируя, живописал, нажимая на слово «мы», муки творчества, терзавшие их в процессе работы над постановкой. Когда я снова бросил взгляд в ту сторону, где стоял отец, его уже

там не было. Я было собрался воспользоваться удобным случаем и улизнуть за кулису, но тут мать, заметив меня, устремилась ко мне сквозь препятствия в виде бокалов с шампанским и дымящихся сигарет, решительная, как пущенная в цель торпеда. Она так громко изображала материнскую радость встречи с сыном, что все взгляды невольно обратились в мою сторону. Ну, что, очень скверно я играла сегодня? Я улыбнулся при виде озабоченной гримаски, с которой она произнесла эти слова и которая более уместна была для начинающей юной актрисы. Она знала мое мнение об ее актерской игре, хотя я обычно не говорил об этом прямо, а ограничивался уклончивыми, слегка ироническими комментариями. Но не успел я ответить, как мать уже сменила тему и, изобразив на лице удивление, обиду и озабоченность, спросила, почему со мной нет моей восхитительной супруги. А она-то с такой радостью предвкушала встречу с нею! Я пробормотал что-то насчет Стокгольма, но она видела меня насквозь. При всей ее глупости она необыкновенно хитра, подумалось мне. Эти два качества каким-то образом уживались в ней, и интуиция ее никогда не подводила. Что же это у вас там происходит? Она выразилась в том

смысле, что мы с Астрид — словно малые дети, которые не поделили какую-то игрушку. Я сделал вид, что не понимаю, о чем идет речь, надеясь, что она скажет, что именно ей известно и откуда. Но я снова просчитался. Она удовлетворилась тем, что потрепала меня по щеке и прощебетала, что все наверняка уладится, а затем с ослепительной улыбкой обернулась к фотографу, который стоял тут же, переминаясь с ноги на ногу и горя нетерпением запечатлеть на фото театральную диву рука об руку с ее преданным сыном. Не успел вспыхнуть и погаснуть блиц, как я снова оказался предоставленным самому себе в углу за кулисой. Мне пришлось отказаться от мысли заставить ее раскрыть карты, а она с облегчением поняла, что я не собираюсь, потакая ее любопытству, начать исповедоваться перед ней на виду у кровожадных взглядов публики. Я смотрел, как она обнимает какую-то красивую молодую женщину лет около тридцати, которую, как мне показалось, я уже где-то видел. Женщина была слегка напугана обрушившейся на нее шумной сердечностью моей матери. Она прислонилась к мужу, стоявшему тут же и в свою очередь получившему от примадонны непременный поцелуй в щеку. Это был пожилой загорелый человек,

худощавый и морщинистый, но державшийся прямо и молодцевато, с копной седых волос и твердым, суровым, проницательным взглядом. Прошло несколько секунд, прежде чем я узнал его. Ну разумеется, он был также приглашен на премьеру. Моя мать играла во многих его фильмах, и если я не слишком ошибаюсь, то у них был роман, когда-то очень давно, задолго до того, как он встретил Астрид, и когда мы с нею были еще совсем детьми. Когда я увидел, как он положил свою загорелую, морщинистую, покрытую коричневыми пятнами руку на плечо моей матери, то спросил себя, неужто мне и впрямь никогда не приходило в голову, что он почти ровесник моего отца, этот кинорежиссер, который когда-то, много лет назад, стоял на холоде в одной рубашке, уже тогда с покрытой проседью шевелюрой, и что-то кричал Астрид, садившейся в такси. Это было за минуту до того, как я увидел ее впервые. И вот теперь он стоял здесь вместе с той самой женщиной, которая явилась причиной разлада между ним и Астрид, еще одной жертвой его неугомонной похоти, которую ему никак не удавалось обуздать, хотя по возрасту он годился бы в дедушки своему сыну, да и Астрид тогда была еще совсем молода.

Поняв, что Астрид к нему никогда больше не вернется, он, как ни странно, связал себя браком с ее заместительницей и даже поспешил завести ребенка, с тем чтобы она от него не сбежала. Теперь он вынужден был посмотреть в лицо фактам и признать, что время побед для него миновало. Его жена также годилась ему скорее во внучки, но теперь этого никто не замечал, видя их вдвоем, так как кинорежиссер держался молодцом, а у нее уже не было такого подтянутого животика, как до родов. В общем он был из тех, кого называют счастливчиками. Он стоял рядом со своей молодой женой, незаметно опираясь на ее плечо, и если он и впрямь справится со своими обязанностями, то может статься, что она останется с ним до самой его смерти. В последний раз я видел его лет десять назад. Когда Симону исполнилось тринадцать лет, он спросил меня, нельзя ли избавить его от визитов к отцу. Ему все больше не по нутру было являться на виллу, где он когда-то жил, и быть свидетелем того, как кинорежиссер расточает заботы своей новой семье. Я думаю, дело тут было не в том, что он чувствовал себя покинутым сыном. Он, должно быть, уже достаточно подрос, чтобы понимать истинные побуждения отца, который приглашал

его к себе, поскольку эти визиты вежливости как бы подтверждали, что его предательство прощено, и убеждали его в том, что подобное вообще можно простить.

Астрид скрепя сердце только ради Симона согласилась поддерживать отношения со своим бывшим мужем. Раз в несколько месяцев он нам звонил, и если случалось, что трубку брала Астрид, лицо ее мрачнело, когда она шла звать Симона к телефону. Она обычно говорила: «Твой отец» и никогда не называла его просто «отец». Она так и не простила его, но, судя по всему, не сумела простить и самой себе то, что когда-то играла роль, которую затем стала играть ее заместительница. Роль маленькой очаровательной тайны, каприза его похоти. Но, несмотря на это, проигнорировать день его шестидесятилетия у нее не хватило твердости. Меня часто удивляет, до чего прочно укоренились в нас семейные условности, независимо от того, каковы бы ни были отношения в семье. Не было ни одного Рождества, чтобы мать не сидела вместе с нами за праздничным столом, и это при том, что я без зазрения совести целыми неделями до этого не звонил ей. Почему-то люди становятся сентиментальными в определенные периоды, не

по велению сердца, а просто подчиняясь совершенно бессмысленным определенным датам календаря. У Астрид это особенно бросалось в глаза, поскольку родители ее погибли, когда она была еще девочкой. У нее не было ни братьев, ни сестер. Симон, Роза и я были ее единственной семьей, и она сама выбрала нас, до этого отвергнув кинорежиссера. Это ее желание быть на дне рождения экс-супруга не было уступкой Симону, потому что тот лишь пожал плечами, когда мы однажды утром нашли в почтовом ящике приглашение, снабженное достаточно фривольной фотографией, на которой кинорежиссер стоял в плавках, обнимая за плечи свою молодую жену и своего ребенка, на фоне настоящего деревенского дома, вероятно, где-нибудь в Провансе. Он, обольститель, стоял, вперив в пространство свой настойчивый взгляд и положив руку на крутые ягодицы своей юной жены, молодцеватый и мужественный, словно какой-нибудь подражатель Пикассо. В приглашении было сказано, что он рад будет видеть нас у себя. Ну разумеется, он, без сомнения, рад будет на один день собрать у себя весь свой гарем, словно благодушный паша, поглаживающий свое брюхо, любуясь плодами своего благоухающего сада.

Когда мы подъехали к вилле, куда некогда, много лет назад я подогнал свое такси, а Астрид выбежала из ворот, держа за руку Симона, виновник торжества уже стоял тут со своей новой семьей в той же позе, что и на фотографии, и принимал гостей. Правда, теперь он был не в плавках, а в розовой рубашке и полосатом летнем костюме, словно все же пытался на кого-то походить, хотя и не на Пикассо, а скорее на Висконти. Я заметил, что его изящная молодая жена чуть не упала в обморок от ужаса при виде своей предшественницы, но Астрид успокоила ее примирительным взглядом, а кинорежиссер потряс мою руку крепким, дружелюбным пожатием. Это было похоже на торжественное примирение в этот летний день в его роскошной вилле с окнами, подобными дворцовым, и черными глазурованными плитками. Стало быть, ему исполнилось шестьдесят, Астрид и мне было чуть за тридцать, Симону тринадцать, а его новой жене недавно минуло двадцать. Его первой жене было около шестидесяти, а его дочь от первого брака была нашей ровесницей, между тем как его младшему отпрыску исполнилось три года. Я упоминаю об этом не для того, чтобы выглядеть педантом, а пытаюсь лишь выстроить перспективу в моем

сумбурном повествовании. Но я невольно снова подумал об этом, когда оказалось, что моей дамой за столом будет его старшая дочь. В саду был натянут громадный тент, чтобы вместить всех многочисленных гостей, «если нам не повезет с погодой». Но эта предосторожность оказалась излишней: солнце жгло брезентовую крышу, воздух был спертый, пахло резиной, и уже во время закусок гости почувствовали себя как в сауне. Нетрудно вообразить, каково сидеть в сауне в костюме и при галстуке. Пот градом катился у меня со лба, а я между тем пытался занять беседой его дочь, седую костлявую женщину с тонкими губами и простой практичной стрижкой, делавшей ее лет на десять старше, хотя, как я уже говорил, мы с ней были одногодками. Она была медсестрой, сиделкой в отделении для раковых больных, и когда мне наконец удалось разговорить ее, она в течение всей трапезы развлекала меня рассуждениями об этических проблемах применения болеутоляющих наркотиков на последней стадии болезни. Следует ли уменьшить боль страдальцев, когда надежды больше никакой не осталось, хотя известно, что морфий губителен для пациента? Разве это не сползание к сознательному умерщвлению? Я видел перед собой

исхудалых пациентов в слишком широких больничных рубахах, лежащих под капельницами со смертоносным раствором. Прикидывая, что бы я предпочел в таком случае, я украдкой наблюдал за матерью сиделки — первой женой кинорежиссера, тучной, тяжеловесной женщиной в пестром свободном костюме, которая громко и продолжительно смеялась собственным остротам. Она явно воображала себя не просто толстухой, а пышной, роскошной женщиной. Вместо того чтобы исходить злостью, она решила смотреть на этот праздник примирения с оптимизмом и даже с благодушием, несмотря на то, что жила одна все эти годы, с тех пор как кинорежиссер бросил ее ради Астрид. Концы ее синей шелковой косынки, маскирующей двойной подбородок, угодили в листья салата, когда она перегнулась через стол и стала давать советы юной жене своего экс-супруга насчет воспитания детей. А смущенная девочка почтительно кивала, выслушивая эти материнские наставления, и была без памяти рада, что эта толстая, некогда покинутая ее мужем дама демонстрирует таким образом свое примирение с ней. Но время от времени, когда толстуха поднимала бокал для тоста, я видел, что она нет-нет да и бросала тревожно-ревнивые взгляды на Астрид,

которая, само собою, удостоилась места рядом с виновником торжества. Астрид, как всегда, была на высоте и улыбалась, как обычно улыбаются посторонним благовоспитанные дамы, слушая невинные анекдоты из их общего прошлого, которыми пытался ее развлекать кинорежиссер, исходя потом под душным тентом. Иногда он протягивал руку и ерошил волосы Симону, и я видел, какими чужими становились глаза Астрид и как мальчик всякий раз с принужденной улыбкой передергивал плечами. Мы с костлявой сиделкой заговорили о детях. Своих детей у нее никогда не было, она жила одна, как и ее мать, но она бодро поведала мне, что много путешествует и уже побывала в Мексике и Индии, и эти экзотические поездки были осуществлением ее давних мечтаний. Первый тост провозгласил кинорежиссер со своей обычной самоуверенностью, и в речи, которую он произнес в свою честь, он ничтоже сумняшеся стал благодарить тех женщин, которые так много значили для него и, как он смиренно выразился, «обогатили его жизнь, хотя и не всегда все шло гладко». Его юная жена, сидевшая в дальнем конце стола, слушала его речь и уныло, по-ребячьи, катала по скатерти хлебные крошки. Его толстая экс-супруга, склонив

набок голову, проникновенно улыбалась, а по ее напудренной щеке поползла слезинка. Его младшая дочь находилась под столом и выдергивала травинки из газона. Старшая между тем сидела, опустив взгляд в пустую тарелку, и, должно быть, размышляла о том, как помочь опекаемым ею безнадежно больным отправиться в мир иной, а может быть, вспоминала свою последнюю поездку в Непал. Симон улизнул со своего места, и я его нигде не видел. Астрид повернулась спиной к оратору и отвечала на мой взгляд, чуть приподняв брови и кривя в усмешке губы.

Я покинул театр, не попрощавшись с матерью. Уже давно не бродил я в одиночестве по городу в такое позднее время. И с наслаждением ощущал, как прохладный ночной ветерок овевает мое лицо, прислушивался к хрусту палой листвы под моими ногами, идя по Конгенс-нюторв. Меня несколько взбодрил ярко освещенный белый фасад отеля «Англетер», успокоительно просматривающийся за кронами деревьев. Как обычно, в пятницу на улицах было полно народу, многие толпились у входов в кафе, тех самых кафе, около которых некогда и я сам простаивал в приятном подпитии и неясном ожидании приключений. Проходя мимо толпы юнцов, которые, отпихивая

друг друга, стремились к свету, подобно ночным бабочкам, я вдруг почувствовал себя старым и усталым. Это был теперь их город, а не мой, во всяком случае в вечернее время. Я подумал о словах, сказанных однажды, несколько лет назад, одним из моих друзей. Когда мы как-то вечером сидели у стойки бара и смотрели на толпу вопящих недоумков, один из них вдруг обернулся к нам и воскликнул: «Эй, папаши, привет!» И тогда мой друг сказал: «Нам пора идти домой». Быть может, в этот вечер мне захотелось еще раз увидеть Розу? Я смотрел на молодых девушек, размалеванных и напудренных на манер прошедших сквозь все продажных женщин. Они выглядели гораздо старше розовощеких юнцов в бейсбольных шапочках, чьи игривые пошлые остроты заставляли девушек улыбаться усталой светской улыбкой. А позади их неподвижных, безупречных масок происходило иное действо. Там свет был ярче и тени глубже, и мужчины зрелого возраста со спокойными серыми глазами и скрипучими голосами, с мрачным, нелегким прошлым увозили девушек в черных спортивных машинах в белые большие отели у моря. Неспешный фильм разворачивался там, где ветер вздувал легкие гардины между полуоткрытыми ставнями; перед уходя-

щими вглубь затененными комнатами, и, лежа в ожидании в постелях с закрытыми глазами, они ощущали прохладу ветра на коже, словно чужой, незнакомый взгляд.

Я съел хот-дог с передвижной тележки у вокзала; я уже давно не пробовал подобной еды, но я не ел весь день, просто-напросто позабыл о пище, хотя у меня была масса свободного времени. Световые рекламы на противоположном берегу озера отражались на поверхности воды колеблющимися отблесками. Я немного постоял, глядя, как неоновые курицы откладывают неоновые яйца. Обычно я часто стоял тут с Розой и Симоном. Самая верхняя световая реклама на крышах представляла собою неоновый календарь. Дата светилась красными цифрами на фоне черного неба. Семнадцатое октября, скоро минет неделя с тех пор, как Астрид уехала. Я почувствовал усталость. Все последние дни мне пришлось мобилизовать всю свою энергию, чтобы создать иллюзию нормального существования и перед Розой, и перед инспектором музеев, перед гостями на званом ужине, перед родителями, и одновременно с этим я прокручивал в голове все те же вопросы, которые боялся услышать от других.

Куда же подевалась Астрид? Куда она уехала? Завтра утром я буду сидеть в самолете, недосягаемый для всех, наконец-то наедине со своими вопросами, на которые нет ответа. Где-то за моей спиной на скамейке сидел человек в лоснящемся пиджаке, обвязанный веревкой вместо ремня, и ругал всех и никого в частности. Вокруг него валялись грязные, чем-то наполненные пластиковые пакеты. Я часто думал о том, что там может находиться, в этих пакетах.

Лампочка над нашим подъездом освещала мне путь. Войдя в него, я заметил около моей входной двери слабо тлеющий огонек сигареты. Огонек погас, но спустя минуту зажегся снова.

С тех пор как я видел возлюбленного Розы в последний раз, он успел сбрить свою шевелюру. На его костлявой макушке остался лишь темный пушок, но это не придавало ему устрашающего вида. Он, скорее, стал похож на тех обритых наголо из-за вшей марокканских беспризорных мальчишек, которые шатались по улицам, протягивая за подаянием свои маленькие грязные ручонки. Художник тоже протянул мне руку, но не за подаянием, а лишь затем, чтобы пожать мою. Это был жест вполне добропорядочного горожанина, и я никак не ожидал, что он до него

снизойдет. Не знаю ли я, где Роза? Он приступил к делу без околичностей, но голос у него был при этом такой тихий и кроткий, что я не мог понять, как это я некогда мог чувствовать неприязнь к этому вежливому, серьезному молодому человеку. Я ответил, что не имею об этом ни малейшего понятия, решив умолчать о том, что видел ее в кафе сегодня днем. Ведь это было всего несколько часов назад. Не представляю ли я, где он может ее найти? Я подумал, что она, вероятно, находится у своей рыжеволосой подруги, но тем не менее отрицательно покачал головой, ощутив вдруг солидарность со своей дочерью. Он немного постоял, растерянно глядя на окурок сигареты, истлевшей почти до его пальцев. Видимо, ему неловко было бросить его при мне на пол тут же, у моей двери. Я предложил ему войти в квартиру, чтобы загасить сигарету. Войдя, он швырнул ее в унитаз — у нас с ним явно была одинаковая вредная привычка. Хорошо, что Астрид не видела этого. Художник походил по комнате, ему явно не хотелось уходить просто так. Я сказал, что утром лечу в Нью-Йорк и мне еще надо отгладить рубашки. Но он лишь взглянул на меня, не поняв намека и как будто даже удивившись, какое это может иметь отношение к Розе. Он не видел ее

уже целые сутки. Господи, если бы только знать, где она! «Вы что, поссорились?» — спросил я. Он снова посмотрел на меня, на этот раз испытующим взглядом, а затем пожал плечами. Он ничего не понимает. Она вдруг поднялась и ушла. Сперва он подумал, что она вышла за куревом. Он искал ее по всему городу. Классический случай, подумал я. Вышла за сигаретами и не вернулась. Астрид, по крайней мере, не воспользовалась таким избитым приемом. Я не знал, что мне ему ответить, и вместо этого спросил, не хочет ли он выпить пива. Я всерьез проникся к нему сочувствием. Проходя по комнате, я со стыдом подумал о родстве наших судеб, нас, двух покинутых мужчин.

Он сидел у кухонного окна и смотрел, как я расставляю гладильную доску. Потом сказал, что прочел мой очерк о Джэксоне Поллоке. Я улыбнулся и стал наглаживать воротничок одной из влажных рубашек, лежавшей рядом с ним на столе. Ну и что он думает об этом? В сущности, меня нисколько не интересовало его мнение о моем очерке, так как я предполагал, что он о нем думает. Он помедлил, размышляя, как бы получше сформулировать свое суждение. Наконец пробормотал, что там есть интересные мысли. Не

больно-то много сказал! Я заметил, что всегда начинаю гладить с воротничков, а потом перехожу к рукавам. Их гладить труднее всего. Он смотрел на меня, словно не был уверен, что не ослышался. Я разглядывал распростертый на гладильной доске рукав, а затем провел утюгом, захватив край и оставив резкую складку. Обычно он никогда не ревновал ее, продолжал он, зажигая новую сигарету. Вообще-то зря стараюсь, сказал я, все равно рубашки помнутся в чемодане, как их ни укладывай. У него создалось впечатление, что она нашла себе кого-то другого. Я встретился с ним взглядом. Другого? Я отвел глаза в сторону. В его глазах появился влажный блеск, и я испугался, что он сейчас заплачет, этот обритый юнец в кожаной куртке. Если бы это было так, то Роза наверняка рассказала бы мне об этом. Он горько усмехнулся и отхлебнул пива из банки. Несколько недель назад он видел, как она шла в сторону Королевского парка с каким-то пожилым человеком, не очень старым, примерно моего возраста. Он случайно заметил их из окна автобуса. Он спросил ее, кто это был? Парень выпустил дым из ноздрей и фыркнул. А вы бы спросили? Я пожал плечами. Он спросил, что происходит? Что случилось? Несколько раз он спрашивал ее

об этом, но всякий раз дело кончалось ссорой. Она чувствует за собой постоянную слежку. Она сказала ведь, что никогда ему ничего не обещала. Я снова взглянул на него. Он сидел, уставившись в пол. Мне очень хотелось сказать ему какие-то дружеские слова, но я не мог ничего придумать, хотя и понимал, какие мысли бродят в его бритой голове. Вдруг он быстро поднялся, поблагодарил за пиво и сказал, что провожать его не нужно. Теперь он опять уйдет в темноту и будет бродить по улицам, одинокий и покинутый. Я знал, каково ему теперь, но забыл те ощущения, которые при этом испытываешь. Я мог лишь потешаться над собой, над своим юным, кровоточащим сердцем, когда однажды, стоя у окна, видел, как Инес удаляется по улице в снежной круговерти. Мое уязвленное самолюбие не давало мне покоя, покуда я ездил по городу с ночными пассажирами. Я был похож на оголодавшего бездомного пса, который, бессмысленно кружась, пытается ухватиться за собственный хвост. Я усмехнулся, проводив художника, но это была вовсе не злая усмешка. Я знал, что ему предстоит пережить, и мне было жаль его, в основном из-за того, что он так зол на самого себя. По иронии судьбы я благодаря собственной дочери вдруг получил

возможность вернуться в собственную юность.

Я видел Розу за столиком перед стеклянной стеной кафе, освещенную солнцем, задумчивую, погруженную в себя, рассеянно глядящую на фонтан и голубей и не замечающую, что я наблюдаю за ней. Я не мог бы добраться до нее, даже если бы постучал в стеклянную перегородку и помахал ей рукой. Теперь она особенно была похожа на Астрид со своей густой копной каштановых волос, широкоскулым лицом и узкими глазами, которые видели все, даже не называя этого вслух. Юная Астрид, моложе, чем она была до встречи со мной. Юная женщина, совсем недавно повзрослевшая, и одна в целом мире. Может быть, она и вправду собиралась на встречу с пожилым человеком, не старым, а просто старше ее, таким, как, к примеру, я. Точно так же молодая Астрид когда-то, много лет назад, шла по городу быстрыми, крадущимися шагами, словно тайный агент юности в стане взрослых, шла на встречу с поседевшим женатым человеком с сильными, властными руками. Быть может, и Роза, простившись со своей рыжеволосой подругой, шла, таинственно улыбаясь, чтобы встретиться с человеком зрелым, с глубокими складками на щеках и спокойным, уверенным взглядом,

который, казалось, обволакивал ее всю, со всех сторон так, что она могла утонуть в этом взгляде, раствориться в нем и позволить этому зрелому мужчине увлечь себя, лишенную собственной воли, к неизвестной цели.

Быть может, Роза шла по городу с той же решимостью, с какой ее мать шла когда-то рядом с седоватым кинорежиссером по коридору Гранд-отеля в Стокгольме, а потом, остановившись, ждала, когда он отопрет дверь в некую комнату, и никто никогда не узнает, что через какое-то время она будет лежать в постели с этим женатым человеком, раздвинув свои девичьи колени. Теми же решительными шагами сомнамбулы шла по городу Инес от одного мужчины к другому. Эти таинственные, предательские шаги, ведущие к чему-то неведомому и опасному. Быть может, Роза так же улыбалась, дивясь беспомощной страсти этого зрелого человека. Или уже догадывалась, что она всего лишь его маленькая защита от скуки и бремени повседневности; быть может, она посмеивалась над ним, когда он приникал к ее юному телу со своей зрелой, задыхающейся похотью, а она закрывала глаза и исчезала в его объятиях на какой-то миг слепого падения. Роза, Астрид, Инес; возможно, их

одолевала та же тяга исчезнуть на глазах этих беспомощных зрелых мужчин, отдаться им и исчезнуть с тем же движением как раз в тот миг, когда они наклонялись над их юными телами, чтобы овладеть ими. С той же таинственной улыбкой они исчезали за невидимой дверью, замаскированной обоями, среди забавных картин, изображавших маленьких пестрых птичек в комнате Гранд-отеля. Всякий раз, когда они поднимались с очередной чужой постели, их, наверное, охватывало то же едва уловимое чувство, будто они сами — чужие и незнакомые, будто их лица — не более чем размалеванные черепа, которые эти женатые бедняги сдавливали своими похотливыми руками. Всякий раз, покидая очередного мужчину, они шли одиноко по ночному городу, ощущая кожей прохладный воздух, точно их лица превратились в тонкие, пористые мембраны. Никто не мог рассказать им, кто они такие, девушки, идущие по улице, Инес, Астрид и Роза. Они шли в ночи быстрыми шагами, широко раскрыв глаза, смотрели, как чужие лица проходят мимо них, одно за другим, точно белые отблески в клубящемся потоке тьмы. Неизвестные лица с незнакомыми взглядами, открывающиеся и смыкающиеся позади точно

они неустанно переступают еще один очередной порог, никогда не добираясь до цели. Постоянно она будет стремиться куда-нибудь в другое место, но она не знает куда. Она знает лишь, что любая комната и любой город будут для нее западней. Так продолжает она идти, словно она — письмо, не посланное никем и не предназначенное никакому адресату, письмо всем и никому, которое постоянно распечатывается и постоянно снова запечатывается до тех пор, пока кому-нибудь не удастся прочесть, что в нем написано.

6

На другой день после моего приезда в Нью-Йорк стояла холодная и ветреная погода. Воздух казался прозрачным в промежутках между серыми квадратами зданий, врезавшихся в однообразную синеву неба и пересекавшихся с тенями других зданий с водяными цистернами на плоских крышах. К обеду я вышел прогуляться по переулкам со старинными пакгаузами между Гринвич-стрит и Гудзоном. Людей нигде не было видно, и лишь нескончаемый поток машин несся вдоль реки по Вестсайдскому шоссе. Заброшенные фасады промышленных зданий напоминали мне о городах на картинах Эдварда Хоппера. За несколько часов до этого я находился в залах музея Уитни и стоял перед изображением одной из его одиноких женщин. Она сидит в комнате со светло-зелеными стенами, сидит совершенно обнаженная. Присев на край кровати, она положила ладони на простыню и, слегка откинувшись назад, опирается на вытянутые руки. Смотрит через окно на водяные цистерны из закопченного черного дерева, такие, как те, что были на крышах над

моей головой, среди серых и темно-красных облупившихся стен с полустертыми, поблекшими огромными буквами, оставшимися от надписей. Женщина белокурая, еще не старая, она сидит и смотрит в открытое окно при бледном солнечном свете, который освещает ее такое же бледное лицо, верхнюю часть туловища и бедра. Лицо ее невыразительно, а тело изображено так, что не вызывает и проблеска желания. Оно почти неуклюжее, такое, как и тела других женщин на картинах Хоппера. Ее скованность лишь усиливает впечатление неподвижности, остановки мгновения среди бега минут и часов. Я мог бы сказать, что взгляд у нее отсутствующий, но в то же время он целиком и полностью присутствует здесь, устремленный на очертания угловатых зданий и на круглые шарообразные цинковые крыши цистерн. А может быть, он устремлен на какую-то отдаленную точку за ними, которая находится за пределами картины, и там, в конце открывающегося из окна вида, ее взгляд упирается в невидимый зрителю барьер. На нем ее взгляд останавливается, а она продолжает сидеть неподвижно, углубившись в паузу, предшествующую наступлению дня, в течение которого ничего не произойдет. Она по-прежнему будет одна, и ей

некому и нечего будет сказать. Быть может, она прислушивается к отдаленному, глухо доносящемуся сюда движению транспорта, а возможно, не слышит ни шума автомобилей, ни гудков, ни отдельных возгласов, хотя они, несомненно, проникают в комнату из открытого окна. Она не выглядит ни слишком несчастной, ни наоборот; просто присела ненадолго на кровать в этой тихой светло-зеленой комнате, в бледном безмолвии картины, сливающемся с молчанием ее мыслей и молчанием ее самой. Она словно слегка отключилась, выпала из времени, осталась наедине с собой. Но это ненадолго, во всяком случае не настолько, чтобы показаться чем-то необычным. Вскоре она встанет с кровати, оденется и выйдет отсюда в день, в город, в жизнь, но еще не сию минуту, пока что не сейчас. Она посидит немного, дав волю своим мыслям. Они будут расти, шириться, пока не наступит предел. Дело не в том, что мир пуст. Мир заполнен домами и вещами, а пустота есть не что иное, как одновременно случайная и необходимая дистанция между домами и вещами. Особенность этой паузы в течение дня заключается вовсе не в пустоте. То, что заставляет ее сидеть, или то, что заставляет меня стоять перед ней, не означает ни

пустоты паузы, ни пустоты светло-зеленых стен комнаты или неба в окне над крышами домов. Они ведь присутствуют здесь, и эти стены, и это небо. То, что на какое-то мгновение заставляет нас остановиться и перевести дух, ее — на кровати, а меня — в зале музея Уитни, не более чем обычная банальность. Но лишь в такие паузы, в периоды неспешного дремотного наблюдения мы можем видеть и дома, и вещи, и тела, и свет, и тени такими, каковы они есть на самом деле. Мы видим, что мир таков, каков он есть в каждую данную минуту, и ничего более.

Я шел по широкому тротуару вдоль реки Гудзон в направлении Торгового центра. Бегуны в кроссовках время от времени перегоняли меня или бежали мне навстречу, запыхавшиеся и порозовевшие. Слева от меня потоком неслись автомобили, направляясь к Голландскому тоннелю. Они текли нескончаемым потоком лакированной жести, точно шумное, мчащееся отражение реки, текущей справа от меня, спокойной, серовато-синей и очень широкой в этом месте. По другую сторону реки я мог видеть рекламные часы фирмы «Колгейт», громадный белый циферблат, который, казалось, плыл по воде, чуть на расстоянии, примерно так же, как

циферблат на ручных часах. Время было около четырех часов, стало быть, в Копенгагене сейчас десять вечера, а в Португалии — девять. Я не знал, что Астрид в это самое время прибыла в Порту, что она, возможно, сидит у себя в номере отеля «Infante de Segres». Или прогуливается под стальным мостом вдоль темной реки у Каиш-да-Рибейра, а я тем временем продолжал идти по Чамберз-стрит. Потом я свернул на Западную дорогу в направлении Сохо. Судя по выписке из банка, Астрид расплатилась в отеле посредством кредитной карточки день спустя, а затем продолжила свой путь на юг. Выбрать самый дорогой отель в городе — это было так на нее непохоже. Но ведь мы жили вместе в этом отеле семь лет назад. Быть может, она поселилась здесь именно поэтому, а возможно, и потому, что ехала без остановок от Сантьяго-де-Компостела до Порту и ей требовался основательный отдых. Выписки из банка помогают мне не только восстанавливать ее передвижения, но и использовать эти сведения для того, чтобы вспомнить, чем я сам занимался в это время, причем мне постоянно приходится прибавлять пять часов или отнимать их. Мы перемещаемся, как бы опережая друг друга, каждый в своем временном поясе, на другом континенте,

и оба находимся так далеко от города, где вместе жили. Позднее этим же днем я сидел в кино на углу Уэст-стрит и Мерсер-стрит, по какой-то причине у меня до сих пор сохранился входной билет. Я не следил за происходящим на экране, но мне было приятно сидеть в темноте зала и следить за мельканием лиц и мест. Пока я сидел в кинозале, она, возможно, сидела на своей пятизвездочной кровати и смотрела через открытое окно на кроны деревьев на Филипа-ди-Ленкастри. Не могу вспомнить, какие деревья там растут — платановые или фиговые. Я представляю себе, что Астрид приняла ванну перед тем, как выйти поужинать. Вот она появилась из ванной комнаты в гостиничном купальном халате, а на ее мокрых волосах накручено полотенце наподобие тюрбана. Она распахнула окно, зажгла сигарету и села на край кровати перед окном, выходящим на площадь, неподвижная и истомленная. Она прислушивается к невидимым автомобилям и голосам невидимых людей там, на площади, а взгляд ее тонет в темноте, среди темно-зеленых увядающих листьев в кронах деревьев за окном, слабо освещенных снизу уличными фонарями. Так сидит она некоторое время, допустим, опершись на вытянутые руки, чуть откинутые назад,

положив ладони на покрывало постели, а между губами у нее зажат уголок тлеющей и тающей сигареты. Возможно, это так и есть. Просто именно так я себе это представляю. А может, Астрид догадывается, что я буду пытаться воспроизвести в своем воображении ее в тех местах, которые мы посещали вместе. Быть может, не только из-за удобства, а намеренно использует она кредитную карточку на всем протяжении пути в Лиссабон, а не расплачивается наличными. Может быть, она не только хочет показать мне, что едет тем же самым путем, каким мы ехали семь лет назад. Быть может, ей хочется, чтобы я снова представил себе те места и увидел в своем воображении ее одну там, где мы бывали вместе. Словно во время этой поездки произошло нечто особенное, нечто значительное. Как будто бы мы с ней на этой дороге, сами того не замечая, миновали какой-то решающий поворот.

По пути к Сантьяго-де-Компостела непрерывно лил дождь. У меня сохранилась фотография с той поры. Астрид на площади перед собором. Она стоит, подставив лицо струям дождя. Ажурная готика гранитного фасада как будто растворяется в завесе дождя. Так видится взгляду при освещении. Мне казалось, что вырезанные на

фасаде фигуры и лицо Астрид как бы движутся навстречу друг другу сквозь струи дождя. В номере отеля я положил ее мокрые туфли на батарею и держал ее захолодевшие ступни в руках, пытаясь их согреть, пока она не заснула. День спустя мы переправились через Миньо на небольшом пароме, скорее похожем на баржу, и продолжали путь дальше через пустынные горы, двигаясь на юг. Мы могли ехать с ней долгие часы, не обменявшись ни словом. Иногда она указывала мне на что-то через боковое стекло, заметив высоко в небе орла или домик в отдалении из светло-синего известняка. Иногда кто-нибудь из нас включал радио и крутил настройку, блуждая по каналам, но здесь, в горной местности, сигнал проходил плохо и обычно вместо музыки слышался режущий ухо грохот. Движения здесь, по горным дорогам, почти не было. Мы забрались уже довольно далеко в глушь. Дома мы обычно не проводили наедине так много часов подряд. Утром расставались, а по вечерам встречались снова, и все время дети почти всегда бывали с нами. Это было непривычное ощущение — сидеть неподвижно бок о бок часами, а горные склоны то открывались, то смыкались перед нами сообразно изгибам дороги. Дома мы всегда были

чем-нибудь заняты, чем-то будничным либо забавным. А здесь в машине мы сидели праздно и лишь ехали все дальше и дальше по дороге, направляясь в следующий по маршруту город. Пока мы ехали через Траз-уш-Монтиш, я снова подумал о том, как быстро пролетели годы с той зимы, когда она переехала в мою квартиру и нарушила мое одиночество. Годы неслись, словно поезд в ночи, который мчится так быстро, что освещенные окна сливаются на ходу в одну слепящую, непрерывную линию. Я думал о том, как много времени потратили мы на выполнение одних и тех же дел ежедневно, а месяцы между тем сменяли друг друга, и дети росли, и мы обсуждали все происходящее. По вечерам, когда дела были переделаны и в квартире наступала тишина, мы ложились в постель рядом друг с другом, и иной раз мне казалось, что мы снова встретились после разлуки, хотя на самом деле мы все время были вместе. Иногда создавалось впечатление, что мы встречаемся чуть неуверенно, как бы выжидательно, как обычно бывает, когда люди видят друг друга вновь спустя некоторое время и им нужно заново нащупать связующую нить. Была ли она счастлива? Так же, как и я, она наверняка была слишком занята, для того чтобы

вообще задаваться вопросами, поскольку была увлечена и радостно озабочена множеством дел помимо собственной персоны. Так же, как и я, она была увлечена своей работой, так же, как и я, отдавалась карусели семейной жизни, и наше существование превращалось в кружение бликов и красок, сменяющих друг друга.

Расстояние между селениями в Траз-уш-Монтиш становилось все длиннее, и паузы тоже становились длиннее. Наконец, она поворачивалась ко мне и улыбалась своими узкими глазами, как бы говоря, что все в порядке.

Вспоминаю, как однажды мы остановились на обочине дороги, потому что ей понадобилось сбегать в кусты. Шоссе здесь делало изгиб между округлыми, покрытыми зеленью склонами. Я остался сидеть в автомобиле, а она пошла между покрытыми мхом каменистыми выступами, пожухлой травой и топорщащимися, местами все еще зелеными кустиками. Она исчезла из виду, присев на корточки, словно ее поглотил этот голый каменистый ландшафт со скудной растительностью — серой, серовато-зеленой, иногда бурой и ржаво-красной под бледным небом. Тишину нарушал лишь скрип сиденья подо мной, шелест травинок под ветром и отдаленный шур-

шащий звук, доносившийся с того места, где она исчезла. Быть может, ничего страшного не было в том, что я не знал, о чем с ней говорить. Слова никогда не были тем, что нас связывало. Они могли быть лишь отголосками нашей истории, когда мы болтали о всякой всячине в течение всех этих наших совместных лет. Не было особой необходимости тратить так много слов, мы явно понимали друг друга и без них. Взгляда, жестов, вздоха или улыбки бывало вполне достаточно. История как бы рассказывалась сама собой. Но в какой-то момент я, вероятно, упустил ее из виду, хотя Астрид постоянно была при мне. А может быть, именно потому, что она всегда была здесь, всегда так близко. Когда она целовала меня и ее лицо, находившееся так близко, расплывалось вширь у меня перед глазами, так что я не мог видеть его целиком, а лишь мягкую кожу и огромные глаза. Я давно не видел ее. Я думал об этом и в тот миг, когда она спустя полминуты возникла из ландшафта, словно из ничего, и пошла к автомобилю по сухой траве. Она щурилась от солнца, глядя вниз на затененную долину, скрытую завесой тонкой, призрачной дымки. Ее тень распласталась под нею на освещенных солнцем травинках, пока она шла, как будто тень жила

своей жизнью рядом с нею. Эта наша поездка была паузой в истории. Она не была продолжением, и мы двигались в этой паузе среди голых, однообразных гор, и история не говорила нам, куда нас приведет этот путь. Так думал я, пока она шла к автомобилю. Потом Астрид остановилась и огляделась назад в последний раз, словно на секунду продлевая свое одиночество в этом неподвижном ландшафте. Именно поэтому я не знал, что ей сказать.

Когда я во второй раз в этом году вернулся из Нью-Йорка и стоял среди других пассажиров у транспортера в ожидании своего чемодана, то вдруг увидел ее по другую сторону стеклянной перегородки в зале прибытия. Она еще не заметила меня. Она стояла в толпе других ожидающих, вытягивая шею, скрестив руки, перебирая связку ключей от машины, словно четки, чуть нетерпеливо, чуть боязливо, словно вдруг на какой-то момент усомнилась в том, что я прилетел на этом самолете. В течение нескольких секунд я все еще оставался пассажиром среди пассажиров, стоящих в ожидании, когда именно их чемодан покажется на ленте транспортера. Но тут она заулыбалась и помахала рукой, а я помахал ей в ответ, и с этой минуты я снова

был ее мужем, единственным из всех мужчин в мире, принадлежащим ей. В те секунды, пока она стояла, выглядывая меня сквозь стеклянную перегородку, не зная о том, что я смотрю на нее, она все еще была женщиной, которую я покинул. Мгновение спустя, когда ее лицо утратило бесстрастное выражение и осветилось улыбкой, она стала той женщиной, к которой я вернулся, чтобы продолжать нашу жизнь с той точки, на которой мы остановились, на которой я оставил ее две недели назад, в середине сентября. В тот день я сидел в самолете, уносящем меня в Нью-Йорк. Сидел и смотрел на небо в облаках и, как всегда, думал о том, чем они там сейчас занимаются, Астрид и дети. Они, должно быть, уже поели, и Роза закладывает тарелки в моечную машину, а Симон сидит в гостиной перед телевизором, поглощенный происходящей на экране сценой в каком-нибудь шанхайском притоне курильщиков опиума, где на стенах ярко-красные драконы, а Тинтин на мгновение высовывает голову из китайской вазы размером в человеческий рост. Чуть позже Астрид будет читать им вслух главу из «Гекльберри Финна», возможно, ту самую, где рассказывается о ночах на большом плоту, о кострах на берегу и голосах, доносящихся на

середину реки до Гекка и Джима, которые сидят на бревенчатом плоту, покуривая трубки, а течение между тем уносит их все дальше и дальше. Потом Астрид поцелует их на прощанье, пожелав спокойной ночи, погасит свет в их спальнях и усядется перед телевизором, наблюдая за событиями в окружающем мире. Если она не задвинула гардины, то в одном из стекол окна затемненной комнаты сможет увидеть себя в виде прозрачной расплывчатой фигуры на диване, а лицо ее будет смотреться как желтоватое пятно в отсветах лампы с темными тенями на месте глаз. Быть может, она зажжет сигарету и задумчиво устремит взгляд сквозь синеватые колечки дыма мимо меняющихся красок экрана в окно, сквозь свое зеркальное отражение в стекле. Она и не подозревает, что в этот самый момент некая кошечка поднимается и потягивается, перекатываясь на полу в лучике солнца, падающем на нее из окна в Ист-Виллидж, а потом выбегает в прихожую, где высокая молодая женщина лет около тридцати именно сейчас появляется из входной двери, держа в руках коричневый бумажный пакет с продуктами и, сопровождаемая по пятам кошкой, входит в квартиру, включает телефонный автоответчик и слышит мой голос, который сообщает,

что вечером, чуть после одиннадцати, я прилечу в Нью-Йорк.

Минувшей весной я провел полтора месяца в Нью-Йорке, где работал над серией очерков о послевоенных американских художниках. Я жил в Бруклине у одного из знакомых моего отца, ливанского кардиохирурга, у которого месяц назад умерла жена. Он большую часть времени проводил в госпитале или у своей новой подруги на Лонг-Айленде, так что дом почти всегда был предоставлен в полное мое распоряжение. Если я не сидел в своей комнате, глядя на сереньких белок, резвящихся на ветвях деревьев, растущих перед рядом мрачных и очень респектабельных домов, то садился в поезд от станции на Кларк-стрит до Манхэттена, чтобы провести первую половину дня в архивах музеев и университетских библиотеках. Это были спокойные, однообразные дни, и я был счастлив в своем одиночестве, полностью поглощенный новой книгой, которая медленно, но верно начинала обретать форму. Конечно, я скучал по Астрид и детям, когда сидел вечерами в одиночестве, поедая пиццу в роскошной столовой хирурга, отделанной дубовыми панелями. Впрочем, скучал не так сильно, как ожидал. Художни-

ки нью-йоркской школы заполонили целиком мое сознание, вытеснив Астрид, Симона и Розу. Между нами пролегал океан, и в их отсутствие мысли приходили в голову одна за другой и текли непроизвольно и непрерывно, как обычно бывает, когда начинаешь писать именно тогда, когда пришло время. Мой друг, инспектор музеев, дал мне несколько телефонных номеров тех людей, с которыми, по его мнению, мне будет приятно встретиться. Среди них был один торговец картинами, который был знаком с Ротко и Поллоком, один знаменитый критик и молодая датская художница, которая, окончив академию, переехала в Нью-Йорк. Очень талантливая, сказал он о ней с легкой улыбкой и хитроватым блеском глаз за очками. Но у меня не было желания встречаться ни с торговцем картинами, ни с критиком, то ли из-за моей обычной стеснительности и боязни показаться назойливым, то ли потому, что я так хорошо освоился со своими собственными мыслями и идеями, что чужие толкования и точки зрения только помешали бы мне. А что касается этой молодой талантливой художницы, то его лукавый совет оставил во мне неприятный осадок. У меня возникло чувство, что он пытается вовлечь меня в сомнительную интрижку

с одной из его бывших пассий из академии, с одной из тех амбициозных, всегда находящихся во всеоружии ланей в живописно измазанных пятнами краски рабочих халатиках, с которыми он распутничал за спиной своей жены. Он словно бы хотел подвергнуть меня испытанию, надеясь доказать, что я ни на йоту не лучше его. Кроме того, я ведь пересек на самолете Атлантический океан, чтобы писать об американской живописи, а не о датской, и вообще прибыл сюда именно для того, чтобы писать, и не собираюсь искать развлечений в моем уютном отшельничестве на Бруклине.

Однажды днем я сидел в садике со скульптурами позади Музея современного искусства, курил и размышлял об отражении бегущих облаков и небоскребов в неглубоком бассейне. Я провел много часов в запасниках музея, сопровождаемый ассистентом, который, стоя на почтительном расстоянии, наблюдал, как я делаю заметки о картинах, на которые мне хотелось бы сослаться в своей книге. Сидя на скамейке и глядя на находящихся здесь людей, я слушал обрывки разговоров и спрашивал себя, что, собственно, такого было у художников нью-йоркской школы, о чем важно рассказать через много лет, после того

как их чистое искусство сменилось поп-артом, минимализмом и концептуальным искусством всех мыслимых оттенков. Не было ли некой наивности и устарелой романтики в их пафосе, в их экзистенциалистском представлении, в искренности их мазков, в их сугубо личном самовыражении? Не стал ли наш мир за это время чересчур самоуверенным и ироничным? Имело ли вообще смысл стремиться к индивидуальности и достоверности в мире, где все ездят на одинаковых японских автомобилях? А они тем временем бездумно играли масками подлинности, точно масленица была круглый год. Мне, пожалуй, стоило иронически посмеяться над пуританской самоуверенностью американских художников сороковых и пятидесятых годов, то есть тех лет, когда с одинаковой серьезностью слушали Чарли Паркера и Штокхаузена и разгуливали по Гринвич-Виллидж в черных свитерах, засунув в задние карманы брюк томики Камю или Сартра. Я обращался к картинам того времени, когда уставал от иронических гримас или сухого теоретизирования современного искусства. В то время как нарочитая анонимная сумятица Энди Уорхола казалась покрытой патиной задолго до последней даты продажи, полотна Джэксона

Поллока и Марка Ротко, Франца Клайна и Клиффорда Стилла были всегда одними и теми же. Это была все та же герметичная плоская живопись, развернутая, словно находящаяся между рукой и взглядом, не требующая никаких толкований и пояснений, чистое, самодостаточное присутствие контуров и красок. Эти полотна всегда были именно тем, чем они были. Их целостность всегда трогала меня; чтобы их разглядывать, не было необходимости что-либо знать. Они могли висеть там, где должны были, потому что могли обходиться без постулатов искусства или традиций, без иронической и теоретической игры по поводу их смысла или бессмыслицы. Я любил смотреть на эти картины. Стоя перед ними снова, я чувствовал, что их абсолютное, без всяких ссылок на что-либо, присутствие вызывало мое собственное присутствие, бездумную концентрацию, находящуюся в самом центре тяжести взгляда, именно здесь, именно сейчас.

Мне нравилось сидеть лениво и апатично в садике, слушать плеск воды в бассейне и приглушенные голоса, здесь, между гигантскими зданиями и суетливым безостановочным шумом улиц. Мне хотелось как можно дольше продлить этот миг, прежде чем снова окунуться в уличное

движение за пределами садика, но возможно и то, что мне просто хотелось, впервые за много дней, быть окруженным людьми, а не находиться самому в постоянном движении. И было по душе сидеть вот так, чужаком среди чужаков, которые присели отдохнуть здесь, в окружении небоскребов, притормозив на полчаса или, может быть, на четверть часа свою готовность к действиям. Это было похоже на самообнажение — сидеть вот так, ослабив свою бдительность и полностью отключиться, прикрыв глаза и находясь в самом центре Манхэттена. Когда я спустя некоторое время, подремав немного, открыл глаза, то увидел женщину, которая уселась напротив меня по другую сторону бассейна. Ей было, вероятно, больше двадцати, а возможно, и все тридцать, у нее были светлые, коротко остриженные волосы на косой пробор, и она была одета в черный облегающий костюм, который вместе с темными солнцезащитными очками делал еще бледнее ее лицо и треугольник обнаженной кожи в вырезе жакета. Строго говоря, солнцезащитные очки были не так уж необходимы, поскольку солнце не проникало в эту расщелину между высокими домами и темные стекла могли лишь затруднить чтение книги, которую она держала перед собой, непо-

движно сидя на скамье, скрестив ноги. Бледная и интересная, подумал я, невольно глядя на нее. Мне удалось даже различить буквы на обложке книги. «Падение короля» Йоханнеса Йенсена на датском языке. Я читал эту книгу давно, еще в школьные годы, а после этого ни разу в нее не заглядывал. Единственное, что я очень ясно помнил, была сцена о том, как убивали лошадь на заснеженном поле и как автор с графической точностью описывает красные, фиолетовые и коричневые внутренности, вываливающиеся на снег. Пока я разглядывал девушку, перед моим внутренним взором возникла странная и одновременно привлекающая и ужасающая связь между беспощадной трезвостью жестокой картины и скрытной элегантностью этой девушки. Я улыбнулся про себя и тем не менее продолжал забавляться мыслью, что, быть может, произошло невероятное совпадение, о которых слышишь не так уж редко, и что эта элегантная молодая женщина и есть та самая талантливая художница, чье имя и номер телефона записал для меня инспектор музеев, бросив на меня хитроватый взгляд. Стало быть, его игривость имела основание, раз я так настойчиво пожираю взглядом эту девушку?

Пристыженный, я углубился в свои заметки о Джэксоне Поллоке и Барнетте Ньюмане и записал несколько дополнительных комментариев с непоколебимой серьезностью, а когда я снова поднял взгляд, на той скамейке, где прежде сидела читающая красотка, теперь расположился хасидский еврей.

В поезде, уносящем меня обратно в Бруклин, я забыл о ней, занятый лицезрением группы неподвижных, утомленных лиц, которые, сидя в переполненном купе, тщательно избегали смотреть друг на друга: каждый был устремлен куда-то в своем направлении, а когда я случайно встречался с кем-нибудь глазами, то тут же отводил взгляд, направляя его на какую-нибудь точку за окном, где пролетали мимо серые стены тоннеля. Я вспомнил о ней снова, лишь когда переписывал начисто заметки, сделанные в течение дня, и разглядывал серых белочек на деревьях, растущих перед домом кардиохирурга. Зверьки двигались с той же быстротой и теми же зигзагообразными движениями, с какими зеленые кривые линии на экране регистрируют работу сердца. Облик красивой незнакомки снова явственно возник передо мной. Я увидел ее лицо с правильными чертами, которое из-за солнцезащитных очков

казалось лишенным подвижности и выразительности, увидел ее обнаженную кожу в вырезе жакета. Каким бы наивным это ни казалось, но я не мог отделаться от мысли о невероятном, случайном совпадении и о том, что я, быть может, сидел напротив талантливой подруги инспектора музеев сегодня днем в садике со скульптурами, точно в этом городе, единственном из всех, было так уж необычно натолкнуться на молодую женщину, которая читала по-датски, к примеру, потому, что была датчанка. Меня злило то, что я тратил время на такие бессмысленные раздумья, и я сказал себе, что это всего лишь еще один пример того, как бывает забита голова всякой ерундой в течение дня. Я просто обратил на нее внимание, потому что долго был один в чужом городе. И неужели ничего другого? Я посмотрел на часы — время приближалось к шести. Дома у нас сейчас полночь. Астрид наверняка уже легла в постель. Быть может, она лежит и думает, чем я теперь занимаюсь, а может, уже уснула. Наше внутреннее несовпадение во времени внезапно глубоко опечалило меня, как будто нас разделяли не только океан и временные пояса. Я никогда не изменял ей, и хотя такая мысль время от времени посещала меня, когда какая-нибудь

незнакомая красивая женщина посылала мне выразительный взгляд, но все это выливалось в неопределенные, быстротечные фантазии. Мысль лечь в постель с чужой женщиной казалась мне унизительной. Неужто я стану искать приключений на стороне! К тому же я был совершенно не способен создавать дымовую завесу из отвлекающих маневров, вынужденной лжи и стратегических умолчаний, к которым мне пришлось бы прибегнуть ради тайных встреч с принцессой моего приключения. Впрочем, практические проблемы были не единственным соображением, которое отпугивало меня. Если я изменю Астрид, если в моей жизни появится нечто, скрытое от нее, я тем самым унижу не только ее, но и себя, и стану всего лишь жалким, расчетливым пигмеем. Так рассуждал я, когда роскошные ноги женщины или ее мечтательный взгляд изредка мимолетно привлекали мое внимание, но могли пройти месяцы, в течение которых мысль об интрижке на стороне даже не приходила мне в голову. Когда Астрид, поддразнивая меня, обращала мое внимание на то, что какая-нибудь женщина бросила на меня заинтересованный взгляд, я, как правило, говорил, что ничего такого не замечал. Она все выдумывает,

убеждал я ее, а в глубине души бывал польщен тем, что она вынуждена сообщать мне о моем ненамеренном успехе у дам. Я считал это хорошим знаком и полагал, что иногда заводит разговоры на эту тему именно потому, что ей и в голову не приходит ревновать меня, а не ревнует она меня, поскольку у нее, само собой, нет для этого никакого повода. Но быть может, я не был счастлив? Сидя за столом и следя за нервными метаниями серых белочек, перепрыгивавших с ветки на ветку на деревьях вдоль Орэндж-стрит, я вспоминал тот день в Париже несколько лет назад, когда Инес задала мне такой же вопрос. Слово «счастлив» казалось каким-то незавершенным и одновременно инквизиторским, и уже в том, что оно прозвучало в виде вопроса, чудилась как бы невысказанная укоризна мне, из-за того, что тогда в кафе я не распространялся о своем счастье, словно какой-нибудь рождественский поросенок. Это был один из тех вопросов, которые люди задают, когда они молоды, потому что в эту пору постоянно приходится подбадривать себя словами. Множеством всяких слов обременяют они себя и окружающий мир, поскольку еще не создали собственного мира и он еще не наложил своего отпечатка на гладкую, полную надежд

физиономию. Инес вообще могла задать такой вопрос, очевидно, потому, что она еще не успела распрощаться со своей молодостью и изменить себя. Годы прошли для нее точно так же, как они прошли для меня, но она покуда еще явно цеплялась за представления о том, что перед ней все еще открыты любые возможности, хотя их-то она и отвергла. Если Инес и вправду хотя бы на секунду могла подумать о том, что ей удастся заставить меня забыть жену и детей и броситься в ее объятья только потому, что она нежданно-негаданно, волею случая, объявилась однажды днем в Токийском дворце, то это могло означать лишь то, что жизнь ее ничему не научила. Я ощутил бесперспективность в ее беглом рассказе о вольной и беспечной парижской жизни, где она была свободна как птица и бесконечно одинока. Она все еще была в ответе только за свой собственный красивый задик, и даже мимолетные перепады настроения, свойственные ей всегда, по-прежнему заслоняли от нее события, происходящие в большом мире за пределами задвинутых штор. Она была все так же напряжена и так же вся вибрировала, как в годы нашего романа, но ее напряженность приобрела некий налет вычурности. Инес постоянно стремилась «жить

в свое удовольствие» и поэтому остановилась на месте. Она цеплялась за свою драгоценную свободу, подобно мелкому вкладчику, который каждый вечер просматривает свою затрепанную сберегательную книжку. По мере того как Инес будет стареть, она превратится в одну из тех больших, страстных жриц любви, которые сидят на скамейке где-нибудь в тени, в соломенной шляпе и летнем плаще, застегнутом на все пуговицы, и наблюдают за какой-нибудь юной влюбленной парочкой, завидуя их страстному неведению.

Я хорошо знал, что сужу о ней пристрастно. Разве Инес не говорила, что хочет иметь ребенка? Может, ей просто не повезло? Почему я не могу просто-напросто согласиться с мыслью о том, что я легко отделался после самого мучительного поражения, случившегося в дни моей юности, в то время как она раскаивается в том, что утратила, раскаивается теперь, когда уже слишком поздно. Неужто я все еще таю застарелую обиду? Не слишком ли круто будет, если вдруг окажется, что жалеть-то надо не меня, а ее? Возможно, я просто боялся, что мои прежние чувства к Инес всего лишь погрузились в спячку, когда я устремился со своими надеждами к новому, незнакомому лицу Астрид. Единственное, что осталось в душе

от моей встречи с Инес, был ее простой и в то же время всеобъемлющий вопрос в кафе на площади Альма. Но не воспоминание об Инес заставило меня теперь думать о ее вопросе. Тут дело обстояло гораздо хуже. Это было воспоминание о совершенно незнакомой блондинке в черном костюме, с которой я не обменялся ни единым словом и которую в общей сложности видел не более одной минуты. Она смутно напоминала одну из беспечных красавиц из французских модных журналов Астрид, а может, она была отчаянной девчонкой из Икаста, твердо стоящей обеими ногами на земле, а книга «Падение короля» была лишь одним из ее аксессуаров наряду с киношными очками, делавшими ее такой загадочной. Я готов был расхохотаться, сидя у окна и глядя на невинных, игривых белочек. Я готов был смеяться над самим собой. Разве я не был счастлив? Быть может, и не был. Очень давно я в последний раз задумывался над этим вопросом, а теперь я совсем один. Астрид была вне пределов моей досягаемости. Но если я не был счастлив, то что же тогда? Во всяком случае несчастным я тоже не был. А возможно, я не был ни тем, ни другим. Быть может, что-то таилось за моим невольным раздражением из-за наивности этого вопроса. Не

исключено, что мне было ни горячо и ни холодно, а просто так себе, тепловато, и поэтому с губ моих сорвался вопрос вместо ответа? Возможно, Инес напомнила мне о чем-то в тот день в Париже, о чем я хотел забыть или фактически уже забыл?

Она напомнила мне не столько о моей давней несчастной любви, сколько о том, как я ее любил, дико, ненасытно, неудержимо, полностью открытый и безответный. Впоследствии я объяснял себе, что с Инес, должно быть, что-то не так, и что я не могу упрекать ее за то, что она отвергла мою безудержную страсть. Никто бы не выдержал такой любви, и если бы она позволила мне, то я наверняка довел бы ее до полного изнеможения. Это была незрелая, эгоцентрическая любовь, говорил я себе. Я любил вовсе не Инес, но свое собственное влюбленное представление о ней, позолоченную икону, которая загадочно мерцала в моих бессонных мечтаниях. На самом же деле столь загадочной и удивительной женщины вовсе не существовало. Мое фанатичное поклонение было почти оскорбительно, потому что она никогда не смогла бы соответствовать моим преувеличенным представлениям о ней. Инес понимала это и поэтому предпочла выбрать момент, чтобы разочаровать меня. Но почему

она в таком случае взяла мою руку в кафе на площади Альма? Почему она потянулась ко мне столь недвусмысленно, когда я снова возник перед нею, точно с неба упал, семь лет спустя после того дня, когда она исчезла в снежной метели? Быть может, потому, что вовсе не так уж весело было жить свободной и беспечной жизнью в однокомнатной квартирке с кухонькой в Белвилле? А может, не только потому. Было очевидно, что моя юная страсть была не чем иным, как ослеплением, что Инес никогда не была той, кем я ее хотел сделать. И все же в ней таился наивный, поблекший, иллюзорный облик той женщины, которую я создал в своем воображении, все-таки она была от него неотделима. Вероятно, с моими иллюзиями насчет Инес было то же, что и со старинными алтарными картинами раннего Возрождения, с целомудренными видениями Джотто и Чимабуэ, мечтами о Святой Деве с чистыми, беззащитными глазами, о лицах цвета слоновой кости, которые висели в галерее Уффици, в Лувре и Метрополитен-музее как жалкие остатки ушедшего времени. Жестокие итальянские князья-правители умерли, их жертвы и потомки жертв умерли, страдания были забыты, воздушные замки их власти запечатлены в кни-

гах и упрятаны в архивы. Остались лишь мечты, невесомые галлюцинации грязной и кровавой жизни, отображенные прекрасной кистью и сохранившиеся как привет от мертвецов неведомому будущему. Быть может, не единожды молитва о том, чтобы их помнили как воспоминания о вынужденных побуждениях исходила от давно обратившейся в прах плоти умерших. Воспоминание о заклинающем взгляде, который отобразил мир прекраснее, чем он был на самом деле, просто для того, чтобы выстоять. Мои влюбленные фантазии об Инес были очень далеки от истины, от того, кем она была на самом деле. Но, возможно, они были очень близки к истине о том, кем она хотела быть.

Сам я был тем, кем был, пока жил вместе с Астрид. Взрослым, ответственным супругом и отцом семейства, которого она поддразнивала, утверждая, что другие женщины украдкой вожделеют к нему. Постепенно, с годами, по мере того как этот образ обретал форму, у меня отпало желание быть кем-то другим. Я больше не ощущал несоответствия между своим внутренним «я» и внешним обликом, которое так огорчало меня в ту пору, когда я покинул свое добровольное убежище в руинах и вернулся обратно в предместье

моей юности, в дом, где моя мать приходила и уходила в промежутках между своими ролями и своими сменяющими друг друга любовниками. Эта расщелина между моим внутренним миром и миром извне, которую, как мне казалось, я смогу перешагнуть благодаря своей любви к Инес и которая становилась все шире, когда я тянулся к возлюбленной своими нетерпеливыми руками. В один прекрасный день я вдруг очутился по другую сторону расщелины, хотя едва ли сознавал, каким образом смог перешагнуть через нее. Я стал мужчиной, который был женат на Астрид, отцом нашей дочери и ее сводного брата. Наша совместная жизнь с ее повседневными, повторяющимися мгновениями наполнила меня внезапной легкостью, и я забыл о самом себе, человеке, находящемся в постоянном движении, которое несло нас в летучем, пенящемся потоке дней. И та часть меня, которая не была погружена и пронизана нашими будничными переживаниями вместе с Астрид и детьми, была соответственно поглощена моими писаниями, и таким образом не оставалось ни одной, даже самой малой щели между тем и другим, а были лишь быстрые и незаметные переходы, дававшие ощущение, что моя жизнь развивается как

единое целое. Да, я был счастлив, и не менее счастлив оттого, что у меня не было времени на то, чтобы задавать себе этот странный вопрос. Я был счастлив, но не мечтал о том, чтобы мы с Астрид соединились воедино в некое четырехногое животное — талисман счастья. Нас было двое, и такими мы должны были оставаться. Двумя личностями, которые расставались по утрам и встречались снова по вечерам в непрерывном ритме прощаний и встреч.

Я был счастлив, но мое счастье не должно было выражаться в отдельных сценах, отягощенных всем тем значением, которое я придавал им. Это не было воспоминанием и ожиданием того мгновения, когда мы, Астрид и я, соединяемся в истинном свете и когда мы сами и все, что напоминало нас, сплавились воедино в пылающей точке вознагражденной страсти. Мое счастье не было театральным, оно было более терпеливым, более скрытным. Это было счастье, которое выдерживало свет дня, и не имело значения то, что на его поверхности появлялись рябь и пена. Это был поток, увлекавший нас за собой, и нам оставалось лишь держаться на плаву. Поэтому мы никогда не спрашивали друг друга, куда мы, собственно, движемся. Было бы совершенно бес-

смысленно спрашивать об этом. Нам никуда не требовалось двигаться, в какое-либо определенное место, вместе и только дальше сквозь годы, сменявшиеся подобно кочевникам, которые каждый вечер укладывались спать на новом месте, и вместе с тем, как только они возводили свою палатку или шатер, могли считать, что снова находятся у себя дома.

Лишь время от времени, с интервалами, быть может, даже в несколько месяцев, я, лежа рядом со спящей Астрид, спрашивал себя, как же это, собственно, случилось, что именно она стала моей спутницей. Я задавался вопросом, не утратил ли я частицу себя на этом пути. Если он был всем, чем я был в этом мире, и если он с таким же успехом мог стать другим, этот человек, который лежал здесь на кровати и которого Астрид утром будет рассматривать нежно и сонно в ожидании, пока он проснется и еще раз отразится в ее зрачках, а потом протянет руку к ее щеке, теплой и чуть припухлой от сна. Лишь лежа одиноко в темной спальне рядом с ее невидимым для меня спящим телом, в те минуты, пока мое сознание еще не обернулось на меня и не перелилось через край, я иногда воображал себя парящим над дельтой из потоков, которые постоянно разветвляются и

изгибаются, по мере того как я поднимаюсь все выше и выше. Один поток походил на другой, и все же они текли, изгибаясь каждый в своем направлении. Но сверху казалось, что они сливаются в единое целое, каким бы потоком ни следовать на пути к однообразному бесконечному морю. Но, может, было все же вероятно то, что я забыл. С высоты птичьего полета я не мог видеть сам себя там, внизу, я не мог знать, не заблудился ли я в переплетениях дельты, и не все ли это равно, если в конечном счете главный вопрос в том, чтобы плыть по течению…

Пока я сидел, пытаясь следить за белочками, чтобы понять, та ли самая или другая мелькает в листве, на том месте, где исчезла первая, я вдруг увидел, как кардиохирург припарковывает свой автомобиль перед домом. Ему было около шестидесяти, и у него была красивая, оливкового цвета кожа. Курчавые черные волосы были откинуты с высокого лба, а черные с проседью, длинные усы целиком закрывали верхнюю губу, что придавало еще больше неизбывной печали его левантийским глазам. Он вышел из машины на удивление легко, бодро и открыл дверцу перед маленькой худощавой женщиной в больших солнцезащитных очках и желтом платочке,

крепко завязанном под подбородком. Она была, вероятно, одного с ним возраста. Когда я обедал с ним после моего приезда, он открыл передо мною душу. Откровенно поделился со мной и рассказал, что встретился с этой женщиной на площадке для гольфа в Нью-Хэмпшире год назад, через неделю после того, как похоронил свою жену. Эта худенькая женщина в тренировочном спортивном костюме вернула ему желание жить, так он выразился, этот человек, к которому люди стояли в очереди на операцию. Он настоял на том, чтобы я рассказал ему все о Симоне и Розе, и смотрел на меня внимательно своими темными восточными глазами, как будто все, о чем я рассказывал, было для него крайне важно. Его старший сын жил в Каире, а младший обосновался в Дюссельдорфе. Кардиохирург нес дорожную сумку своей подруги и галантно вел ее под руку, пока они поднимались по лестнице к дому. Полчаса спустя послышался осторожный стук в дверь моей комнаты. Он виновато улыбался, словно извиняясь за то, что вторгся в собственный дом, вместо того чтобы предоставить его мне целиком от погреба до чердака. Он сказал, что они устраивают небольшой вечер с коктейлем, он хочет представить свою возлюбленную друзьям и будет очень

рад видеть меня среди приглашенных. Было нечто трогательное в той американской манере, с которой он произнес слово fiancee, впрочем, его акцент не оставлял никаких сомнений. Было особенно трогательно, что он вообще употребил это слово. Я не прочь был бы провести вечер с ним и его седоволосой худенькой подругой, и не только для того, чтобы показать ему, что я ценю его гостеприимство. Но когда он пригласил меня на коктейль, не испытал ни малейшего желания принять в нем участие и изображать там гостя-европейца, приглашенного из вежливости. Мне не хотелось быть этаким экзотическим инвентарем его дома. Я уже как бы заранее слышал вопросы, которые мне станут задавать, и видел, как я отвечаю на них в десятый раз, а спрашивающий тем временем уже отвернулся к другому гостю. Тут же экспромтом я придумал извинение и сказал, что, к сожалению, уже пригласил на ужин датскую художницу, которая живет в Манхэттене. Он лишь улыбнулся и отступил назад, и пока он спускался вниз по лестнице, мне пришло в голову, что не особенно нужно было напрягаться, чтобы выдумать это свое свидание. Она явно все еще витала в моих мыслях, эта одетая в черное красавица в садике со скульптурами при Музее

современного искусства. И вдруг почувствовал себя как бы запертым в своей комнате. Я привык расхаживать свободно повсюду в этом большом тихом доме, но теперь слышал, как мой хозяин и его подруга беседуют, а после они поставили пластинки на проигрыватель. Агрессивный звук соковыжималки заглушал «Хорошо темперированный клавир», но только я настроился на Баха, как его сменила Элла Фицджералд. Я не мог сосредоточиться на своих заметках и продолжал сидеть у окна, не зная, чем бы мне заняться. Вечерний свет был позолоченным, сродни названию улицы — Орэндж-стрит, он распространялся по стенам и тротуару, столь же расточительный и роскошный, как ряд респектабельных домов с коричневыми стенами за палисадниками из литого железа, и воздух был прохладен колющей, как иголочки прохладой, и тени от листьев отражались в ярких отблесках солнца в коре деревьев.

Теперь, поскольку я обрек себя на бездомность, мог бы вполне попытаться в самом деле осуществить свою затею и позвонить незнакомой датской художнице, хотя бы ради того, чтобы отбросить или подтвердить мою наивную теорию о том, что это она сидела и читала сегодня днем «Падение короля». Но от одной мысли об

этом звонке у меня похолодело под ложечкой, и это было вовсе не из-за моей обычной нелюбви к общению с незнакомыми людьми. Я чувствовал также слабые угрызения совести, поскольку, нравилось мне это или нет, соединил в своем сознании номер телефона, который записал для меня инспектор музеев, и ту элегантную молодую женщину, на которую я глазел сегодня в садике со скульптурами. Что это на меня нашло? Разве я не убеждал себя всеми вескими доводами, что никогда ни разу не изменю Астрид? И что, собственно, дурного в том, чтобы полюбоваться немного девушкой, которая явно знала о своей привлекательности и намеренно оделась так, чтобы быть замеченной, и к тому же уселась в поле моего зрения? То, что она несомненно была датчанкой, и поэтому я в мимолетном порыве подумал о номере телефона на листе бумаги, который инспектор музеев передал мне с нагловатым блеском в глазах, вероятно, все же не было ассоциацией, которая явно означала какие-то криминальные намерения. Наоборот, я убеждал себя, что единственно правильным было бы позвонить девочке, пригласить ее на ужин и тем самым доказать, что мне нечего опасаться ни за нее, ни за свою десятилетнюю моногамную

страсть. Когда я увидел, как кардиохирург и его подруга сели в машину, одетые для праздничного ужина, я сошел вниз, чтобы позвонить. Мне ответили сразу же. Она не была ни слишком удивлена, ни чересчур обрадована, когда я представился и изложил свое приглашение. Пока мы беседовали, я все еще продолжал видеть перед собой бледную, с мальчишеской стрижкой женщину в черном костюме. По выговору было понятно, что она во всяком случае не из Икаста. Голос у нее звучал неожиданно мрачно, говорила она медленно, точно ей приходилось взвешивать самые простые слова и фразы, быть может, оттого, что мысли ее витали где-то в другом месте. Случайно у нее не оказалось никаких планов на вечер. Она предложила таиландский ресторан на Спринг-стрит и даже вызвалась зарезервировать столик, возможно, для того, чтобы компенсировать свою рассеянность во время разговора. Положив трубку, я сразу же повеселел. Во время ужина, я расскажу ей о своей книге, она расскажет мне о своей живописи, быть может, мы даже обменяемся сплетнями о копенгагенской среде художников, а потом я возьму такси и поеду обратно в Бруклин. Было бы и впрямь неестественно провести в городе целый месяц и не

общаться ни с кем, кроме моего хозяина. Я набрал номер своей квартиры в Копенгагене. Прошло некоторое время, прежде чем Астрид подошла к телефону. Она уже легла в постель, дома был второй час ночи, и голос у нее был чуть хриплый от сна. Я извинился за поздний звонок и спросил, как там дела, не случилось ли чего дома. Она рассказала, что Роза подстриглась, а футбольная команда Симона выиграла матч в воскресенье. Я сказал, что работа с книгой потихоньку продвигается вперед, и мы обменялись обычными нежностями, какими обменивались перед сном. Мне хотелось бы поговорить с ней подольше. В этот вечер было что-то холостяцки унылое в том, чтобы лечь в постель в моей комнате, выходящей окнами на Орэндж-стрит, где уличные фонари просвечивали сквозь листья деревьев резким, синтетическим светом.

Я сосредоточенно работал все утро и сумел написать целый раздел, в котором рассуждал о технических деталях и о различии и сходстве между многослойными вспышками оливкового цвета у Джэксона Поллока и вертикальными разбавленными мазками Морриса Луиса. Днем я поехал через Манхэттен. Оставалось еще много часов до условленной нами встречи. Часть

времени я провел в Метрополитен-музее, хотя я уже был здесь несколько раз, а потом посидел на солнышке перед Лоэб Боутхауз, позволив мыслям бродить где попало, рассматривая квадратные силуэты высоких домов над кронами парковых деревьев, наблюдая, как отражается в воде небо за вибрирующими отблесками вдоль скал из черного гранита, возвышающихся на другом берегу. И все же время еще оставалось, когда я принялся бродить по авеню Америки. С равными промежутками появлялись пересекающиеся улицы между рядами вертикальных массивов зданий на фоне пустого, голубовато-розового неба над Гудзоном. Между тем начало смеркаться. Вдруг мне показалось довольно рискованным то, что я собираюсь ужинать с совершенно чужой женщиной, и я почти покраснел при мысли о том, что у нее, быть может, сложится впечатление, что мне от нее что-то нужно. Но, с другой стороны, она ведь могла просто-напросто сказать, что занята. Это была совершенно незнакомая мне женщина, и за отсутствием других, более реальных, ассоциаций я продолжал видеть перед собой читающую красавицу в черном костюме и солнцезащитных очках. Постепенно я добрел до Сохо. Оставалось десять минут до условленной встречи, когда я

отыскал ресторан на Спринг-стрит. Я вошел в книжную лавку поблизости и немного порылся в книгах. По пути к ресторану я вдруг начал поправлять волосы, как будто было не все равно, как я выгляжу. На тротуаре стояла очередь, и я встал среди ожидающих, оглядываясь вокруг, словно и впрямь знал, какое лицо высматриваю. Я оглядывал каждую из женщин, проходивших мимо по тротуару. Коренастая румяная девица с курносым носом пересекла улицу и двинулась прямиком к очереди. На ней были ярко-красные трикотажные брюки; казалось, они вот-вот лопнут под напором ее широких бедер, колышущихся из стороны в сторону при каждом шаге. Возможно, это ее я жду? Быть может, поэтому инспектор музеев ухмылялся так хитро, записывая для меня номер телефона? Лицо девицы осветилось улыбкой при виде брюнетки, которая стояла в ожидании неподалеку от меня. Почему, собственно, я так испугался мысли о том, что эта смешная девица в ярко-красном трико — та самая, с которой я буду рассуждать об искусстве, пока мы будем есть палочками тушеные овощи? Чего я, собственно, хочу? Следующей женщиной, приблизившейся к ресторану, была высокая худощавая девица, которая вышагивала рядом

с чернявым мужчиной в кожаной куртке и кожаной фуражке. Сама она тоже была в кожаной куртке и потертых джинсах, и я сделал вывод, что они — пара. Я продолжал вглядываться в окружающих, все еще слегка пристыженный тем оценивающим взглядом, с которым разглядывал девушку в красном трико, но тут чернявый парнишка в коже завернул в книжную лавку, откуда я только что вышел, а долговязая девица продолжала торопливыми шагами приближаться к очереди у ресторана, окидывая взглядом ожидающих. Но она остановилась в некотором удалении от меня, и когда я снова взглянул на нее, она стояла и разговаривала с каким-то сутуловатым молодым человеком в очках без оправы. Я взглянул на часы. Может быть, все-таки и вправду именно та шикарная красотка из садика со скульптурами заставляет меня ждать? Я медленно прохаживался в толпе стоящих перед входом в ресторан, прислушиваясь к разговорам и украдкой разглядывая беседующих — могучую девицу в трикотажных брюках, которая громко хохотала, и долговязую в кожаной куртке, которая жестикулировала своими длинными узкими руками и рассказывала с нью-йоркским носовым прононсом сутуловатому парню о каком-то филь-

ме, который она недавно смотрела. Можно было догадаться, что она незадолго до этого приняла ванну, поскольку ее длинные волосы были еще влажными.

Волосы у нее были необычайно длинные, почти такой же длины и цвета, как у Боттичеллиевой Венеры, и ее роскошная золотисто-каштановая грива странно контрастировала с потертой кожаной курткой и узким, чуть суровым, острым лицом, бледным почти до прозрачности, как мне показалось, и притом без всякой косметики. Сутуловатый паренек поднес ей зажигалку, и она, нагнувшись и прикуривая свою сигарету, окинула меня безразличным взглядом своих серых глаз. Сутуловатый поднял руку в прощальном приветствии и стал удаляться, пересекая улицу, а долговязая боттичеллиевская девица снова посмотрела на меня, чуть склонив голову, и с вопросительным взглядом устремилась ко мне. Меня удивило, что я сразу не узнал ее мрачноватого голоса.

Если бы ливанский кардиохирург остался в доме у своей подруги на Лонг-Айленде, если бы он никогда не затевал своего коктейля, или если бы я согласился на его предложение, или вместо этого отправился в кино, если бы я не

увидел незнакомой датской блондинки в садике со скульптурами позади Музея современного искусства и по какой-то нелепой ассоциации не связал ее с той незнакомкой, что скрывалась за телефонным номером, который инспектор музеев записал для меня с дьявольской усмешкой на лице, или если бы он не дал мне этого номера телефона, короче, если бы события развивались несколько иначе, я бы никогда не встретился с Элизабет. Наверняка так было бы лучше, или, может быть, все-таки хуже, только на иной лад. Впрочем, бесполезно рассуждать о капризах случайностей, о непредсказуемых альтернативах, которые увядают одна за другой по мере того, как события следуют друг за другом, подталкивают друг друга или исключают друг друга до той поры, покуда уже ничего нельзя бывает изменить. И все же я не могу отделаться от мысли о том, как легко, без всяких трений, все могло пойти по другому пути, думая о том значении, которое я позднее стал придавать этой встрече в Сохо семь лет назад. События сами по себе ничего не означают, они так же невесомы, как все то, что никогда не происходит и никогда ничем не становится. Истории случаются не в Нью-Йорке, не в Копенгагене или в Лиссабоне, речь идет не об Элизабет, Астрид

или Инес. Все разыгрывается в моей шалой голове, пока я мысленно езжу из города в город, туда и обратно в своих воспоминаниях, и образы, которые проходят сквозь них, — лишь тени тех женщин, о которых я рассказываю, изменчивые, неотчетливые, ускользающие, блуждающие по извилинам моего мозга. Города и женщины — это всего лишь имена, звучащие в мозговых полушариях, всего лишь отзвуки моего собственного одинокого голоса, который я слышу, когда пытаюсь истолковать запутанную игру теней на стене где-то в моей голове. Быть может, я никогда не знал этих женщин, быть может, они, как и города, не что иное, как горсточка мгновений, которые я помню, разрозненные и мимолетные точки зрения, где лица и улицы движутся мне навстречу. Так много всего, что я забыл, и так много того, чего я не знал и никогда не видел. Моя история — это мое истолкование событий, она не что иное, как мое неясное, беспомощно запутанное воспоминание о тех значениях, которые я придавал отдельным местам, определенным лицам, и о том, как лица и места в ходе времени меняли свое значение.

За те годы, что прошли после того вечера, я спрашивал себя, была ли Элизабет вообще так уж

красива. Не так, как Инес или Астрид, не в том очевидном, я бы сказал, общем смысле, в каком их считали красивыми женщинами. Развевающиеся, непокорные боттичеллиевские волосы Элизабет были красивы, но сама она отнюдь не была красавицей, и когда мы наконец уселись за наш столик и стали изучать меню с несколько официальными, осторожными улыбками, я почувствовал почти что облегчение оттого, что она своим появлением окончательно освободила меня от сексуальной, одетой в черное грезы наяву из садика со скульптурами, которая с раздражающей настойчивостью занимала мои мысли все минувшие сутки. В ее манере разговаривать или смотреть на меня не было ничего, что указывало бы на то, что она воспринимает меня как человека в ином смысле, кроме сугубо социального. Она не говорила так медленно, как по телефону, напротив, теперь она казалась оживленной, но прибегала к тем же внезапным паузам, точно подыскивала слова или задумывалась о чем-то другом. С ней было легко разговаривать, и до того, как нам подали первое блюдо, я уже успел рассказать ей, что женат и что у меня есть дети, точно торопясь превратить то, что грозило стать навязчивой идеей, во вполне невинно прове-

денный вечер. Я рассказал даже о той занятой чтением женщине в садике со скульптурами и о том, как я предполагал, что это может быть она. Мой рассказ позабавил ее, и, отсмеявшись, она спросила, почему я не попытался выяснить эту загадку на месте. Я ответил, что для этого слишком застенчив, а она весело посмотрела на меня и сказала, что я не выгляжу слишком застенчивым. Но и теперь в ее словах не было и намека на кокетство. В ней было скорее что-то мальчишеское, она была одета в поношенную трикотажную кофточку с названием бейсбольной команды на груди, сейчас уже не помню какой. В какие-то моменты Элизабет напоминала тощего паренька своим узким бледным лицом, правда, паренька с волосами почти до бедер. Она была, судя по всему, неуклюжа и много раз чуть не опрокинула на стол мой бокал или свой собственный. Глядя на нее, я чувствовал себя чересчур взрослым в своем твидовом пиджаке и наглаженной рубашке, хотя ей, вероятно, было около тридцати, и стало быть, разница в нашем возрасте была не более чем шесть или семь лет. Оказалось, что нам нравятся одни и те же художники, и мы разделяли ту же антипатию к большей части современного искусства. Особенно ей нравился Марк Ротко и

Моррис Луис, именно поэтому она после академии уехала из Копенгагена, чтобы поселиться здесь. Это была одна из причин, добавила она, встряхнула волосами, и взгляд ее на мгновение стал отсутствующим. Стремилась быть поближе к тем картинам, которые ей хотелось бы выкрасть, добавила она с улыбкой. Я вспомнил выражение лица инспектора музеев, когда он записывал на листке ее имя и телефон, улыбаясь своей лисьей улыбкой. Я никак не мог представить себе, что такого он нашел в ней, точно так же, как не мог понять, что она увидела в нем. Я спросил, откуда она его знает. Она ответила, что он возглавлял групповую выставку молодых художников, на которой была также одна из ее картин. Она произнесла это небрежно, без малейшего намека на то, что в этом было нечто такое, чего я не должен был знать. Позднее, незадолго до моего возвращения в Копенгаген, я прямо спросил ее, было ли что-то между ними. Нет, ответила она и погладила кончик моего носа указательным пальцем. Это был шутливый, дерзкий жест, словно она какое-то мгновение забавлялась тем, что я остался с носом. Но что он очень добивался этого, тут уж отрицать не станешь, добавила она.

В тот вечер у меня не было ни малейшего по-

дозрения или предчувствия, что когда-нибудь мне представится повод задать ей такой вопрос. Сколь смешным казался я самому себе, стоя в холле квартиры кардиохирурга и колеблясь, прежде чем набрать ее номер телефона, столь же спокойным я был, сидя здесь и беседуя с ней, пока от таиландских блюд наши лица покрывались потом. Она на удивление ловко управлялась с палочками для еды, если учесть ее мальчишескую разбросанность. Беседуя с ней, я все время ожидал, что возникнет нечто, о чем мы будем судить по-разному, какая-то область, где наши мысли были бы несхожи. В какой-то момент я подумал, что она просто-напросто поддакивает мне во всем, но серьезность в ее мрачноватом приглушенном голосе заставила меня отбросить эту мысль, ее ищущий взгляд, который рассеянно фиксировал говорящие и смеющиеся лица в ресторане, пока она медлила, подыскивая нужное выражение. Лишь после того как я расплатился и мы пошли среди старых фасадов квартала, выяснилось, что она читала многие из моих статей и очерков. Именно поэтому она согласилась встретиться со мной. Уж не думаю ли я, что она готова принять приглашение на ужин от всякого только ради того, чтобы иметь возможность

поболтать по-датски? Особенно заинтересовал ее мой текст о Джакометти, мои рассуждения об отступлении, балансировании на грани присутствия и исчезновения. Единственное, в чем она была со мной не согласна, так это с моим восторженным отношением к Эдварду Хопперу. Как могу я так ошибаться? Ведь он совершенно не умеет рисовать людей. Груди у его женщин такие громадные, что вообще непонятно, как они могут устоять на ногах. В крайнем случае она может согласиться с тем, что сочетания красок у него оригинальны, например когда он совмещает зелень травы с зеленью мяты или красную землянику помещает рядом с лиловым баклажаном.

Кроме того, его скучные пожарные лестницы и пожарные краны косо освещены солнцем почти в каждой второй девичьей комнате, вероятно, для того, чтобы отличить запад от Большого Бельта. Я наслаждался ее развязным высокомерием и протестовал лишь ради того, чтобы поощрить ее упрямство. Мы сидели на тротуаре перед кафе на Западном Бродвее. Позади нас высился Всемирный торговый центр со всеми своими пустыми, полностью освещенными конторами, которые светились в темноте над старыми пакгаузами. Я попытался заставить ее рассказать о собственных

картинах, но она всякий раз отнекивалась, и эта скромность казалась искренней. Я спросил, могу ли я их посмотреть; она немного поколебалась, и ответила, что не знает, ей боязно. Что она имеет в виду? Элизабет улыбнулась и отвела взгляд: она боится, что мне они покажутся такими же плохими, как и ей самой. Тем не менее она нашла шариковую ручку и записала номер телефона кардиохирурга на тыльной стороне своей левой руки. Я отвез ее домой на такси. А что, если она передумает, а я все еще буду хотеть взглянуть на них? Когда мы попрощались и такси везло меня по направлению к Бруклинскому мосту, я подумал, что вечер прошел в точности так, как я и предполагал. Если я когда-либо мог вообразить себе иное, то только потому, что слегка одичал от постоянного сидения в одиночестве перед окном, выходящим на Орэндж-стрит, и прыгающие по деревьям белки были моим единственным обществом. Я не хотел загадывать, но в глубине души все же надеялся, что она не смоет с руки тщательно выведенные там цифры.

Я усердно продолжал работать все последующие дни и мало думал об Астрид, и еще меньше — об Элизабет. Это могло вполне кончиться, прежде чем началось что-либо другое, это мог быть

просто вечер среди многих других, без всяких последствий, вечер, который скоро забудется. Эта история произошла семь лет назад, и давно уже не имеет смысла размышлять о том, началась ли она потому, что я был готов к ней, сам не зная об этом, или она началась потому, что так сложились обстоятельства. И тем не менее я размышлял о ней теперь, когда Астрид уехала, а я снова бродил по Сохо, а осенний вечер раздувал мое пальто и забирался в штанины брюк. Просматривая список выставок в Виллидж-Войс, я обнаружил, что Элизабет выставляется в небольшой галерее, которая находится на верхнем этаже бывшего складского здания на Вустер-стрит. Я, собственно, не собирался осматривать эту выставку, но когда проходил мимо, возвращаясь со своей долгой прогулки вдоль Гудзона, все же поднялся в зал, привлеченный мыслью, что Элизабет, возможно, находится там. Стоя в окружении широких, монументальных полотен Элизабет от пола до потолка, в пустом обветшалом помещении, я подумал, что, возможно, в это время Астрид стоит на Каиш-да-Рибейра в Порту, обернувшись спиной к старым, покосившимся фасадам домов, громоздящихся на плечах друг у друга на другом берегу реки. Я теперь не помню, кто из нас тогда

сказал, что квартал этот напоминает стоящие на сваях азиатские деревни с разбитой закопченной черепицей и развешенным на веревках бельем, с которого капает вода; и с жалюзи над балконными решетками перед открытыми окнами, откуда доносится рев футбольного матча или шум семейной ссоры; с узкими переулочками, на которых находятся лавчонки, маленькие, как шкафы, освещенные единственной заляпанной грязью голой лампочкой. Темные переулки, куда никогда не проникает дневной свет и по которым мы шли вдвоем, взявшись за руки, мимо кучек исхудавших наркоманов с оловянными глазами и миниатюрных беззубых старушек, которые несли свою ношу на голове. Пока мой взгляд постепенно различал едва заметные переходы красок и постепенно обнаруживал слабо намеченные, едва заметные контуры в плоских, но лишь на первый взгляд пустых мазках на картинах Элизабет, в это время Астрид, быть может, стояла на набережной у мутной реки и глядела вверх на поток машин высоко над головой, проносящийся по стальному мосту, который соединяет центр города с южным берегом реки. В это время я даже не знал, находится ли она в Португалии. Быть может, она думала, что я теперь должен быть

в Нью-Йорке, а может, и не пыталась думать о том, где я нахожусь в этот вечер, неделю спустя после того, как она покинула меня. До ее отъезда я был совершенно уверен в том, что Астрид ничего не знает об Элизабет или о том, что в тот раз случилось. Она никогда ни о чем не спрашивала меня, но, быть может, все-таки догадывалась, что, вероятно, произошло что-то в этом роде. Если так, то она никогда не давала повода заметить что-нибудь. Быть может, я проговорился, сам того не сознавая, — не словами, но чем-то в моем молчании в те часы, когда мы ехали в машине через Траз-уш-Монтиш, мимо одиноких поселений с серыми разваливающимися домишками и черной, непролазной грязью в переулках, где свободно расхаживали куры и коровы. Быть может, она просто рассматривала это как возможность, когда мы однажды поздним вечером приехали в Порту и прогуливались вокруг собора с подсветкой. Быть может, подозрение возникло в ней в виде маленького, едва заметного провала в мыслях, куда проник холодок, в то время как мы стояли у бруствера над откосом, спускающимся к реке, и смеялись над мальчишками, которые играли в футбол, ударяя мячом о стены собора. А может быть, это случилось, когда мы с ней потешались

над названиями распивочных, сиявшими огромными неоновыми буквами на южном берегу реки. Это были хорошо известные английские названия, но здесь они ровно ничего не значили и лишь бессмысленно светились в ночном небе.

7

Элизабет позвонила три дня спустя после нашего совместного ужина в Сохо. Было воскресенье. Я удивился, услышав ее голос. Я думал, что это звонит Астрид, когда кардиохирург ливанским ранним утром, еще в халате, постучал в мою дверь и позвал меня к телефону. «Я все еще хочу посмотреть ее картины?» — спросила она. «Да», — ответил я. Наш разговор в кафе подействовал на меня вдохновляюще. Причиной тому был ее энтузиазм, самозабвенное восхваление художников, которых мы оба любили. И если я в минуты слабости сомневался, можно ли вообще сказать что-либо новое о таком много раз истолкованном и канонизированном движении, как нью-йоркская школа, то все сомнения улетучились, когда я на другое утро после нашей встречи сел за письменный стол. Намечены ли у меня какие-либо дела на вторую половину дня? Вопрос застал меня отчасти врасплох. Я только что выпил кофе и, собственно, намеревался провести воскресенье в Бруклине, несколько часов поработать за письменным столом, а затем, быть

может, совершить прогулку по Парк-авеню, где я еще ни разу не бывал. Элизабет жила поблизости от Томпкинс-сквер, между Первой авеню и авеню А. Стоял тихий солнечный день, в Ист-Виллидже почти не было движения, и мне доставляло удовольствие брести не спеша, чувствуя, как солнце пригревает спину, между каменными домами с выкрашенными черной краской пожарными лестницами на фасадах. Угловатая графика пожарных лестниц и косые, зигзагообразные тени на кирпичах стенах заставили меня вспомнить о драматических, абстрактных, размашистых карандашных штрихах Франца Кляйна, о которых я как раз писал в это утро, когда кардиохирург постучал ко мне в дверь. Повсюду царила ленивая, расслабляющая, почти идиллическая атмосфера, хотя квартал был отнюдь не из респектабельных. Бездомные грелись на солнышке, таща тележки со всяким хламом, кутаясь в свои грязные пальто. Даже бдительные торговцы норовили ненадолго зажмуриться на солнце, пока не было покупателей. Пуэрториканские мамаши гуляли с откидными колясками под деревьями на Томпкинс-сквер и весело перекликались друг с другом по-испански на том мягком, ребячливом испанском наречии, на котором говорят лати-

ноамериканцы. Безобразные панки с волосами с прозеленью, как у могикан, с кольцами в носу и широкими бровями скинули свои кожаные куртки, подставив солнцу тонкие белые руки. В одном из мест Томпкинс-сквера сидела группа черных парней, одурманенная марихуаной, и лупила по барабанам. Это был квартал, куда устремлялись юнцы, в основном художники или те, кто мечтал ими стать. Здесь повсюду были театрики и художественные галереи, оборудованные в подвалах и покинутых лавчонках, а если посидеть подольше в элегантных альтернативных кафе, то можно было прислушаться к разговорам и узнать о грандиозных планах, о предстоящей выставке, представлении или концерте. Большинство из них были совершенно беспомощны и бесталанны, но среда в Ист-Виллидже представляла собою замкнутый кружок, где все подбадривали друг дружку, утверждая, что они способны дерзать и могут добиться успеха на сцене. Они, судя по всему, предпочитали богемные радости андерграунда, где можно было ощущать себя молодым ниспровергателем, даже если тебе давно уже минуло тридцать.

Я нашел ее дом и позвонил в парадную дверь. Прошло довольно много времени, и я был уже

готов идти на поиски телефонной будки, но тут Элизабет высунула голову из окна на третьем этаже. Она, видимо, не рассчитывала, что я приеду так рано. Ее длинные волосы свисали прямо, точно застывший золотисто-каштановый водопад, обрамлявший лицо. Она улыбнулась и сказала, чтобы я сам отпер дверь, а вслед за тем бросила ключ на тротуар к моим ногам. Лестничный пролет был узкий и грязный, и на каждом этаже были двери. Ее дверь была открыта, я легонько постучал, прежде чем войти. Квартирка состояла из кухни-столовой и большой комнаты, где она работала и спала. Элизабет стояла в кухне и открывала банку с кошачьей едой, а белая кошка терлась о ее ноги. Ноги у нее были обнаженные, длинные и белые, как мел. На ней были футбольные шорты из синтетики цвета индиго, а волосы висели наподобие мушкетерского плаща вокруг застиранной мужской рубашки в клетку, на которой отсутствовали почти все пуговицы, так что при малейшем движении обнажалась кожа на животе. Она так по-домашнему одета, очевидно, потому, что ждала меня позднее? Она улыбнулась и сделала шутливо извиняющийся жест рукой, в которой держала банку с кошачьим кормом. Опустившись на колени, она выложила

еду перед носом нетерпеливой кошки. Потом она поднялась и несколько смущенно развела руками. Вот тут она и живет. Не хочу ли я стакан вина? Бутылка уже стояла наготове на подносе с двумя стаканами и вазочкой с солеными орешками. Это была бутылка превосходного «Орвьето», я это сразу же заметил. Она унесла поднос в комнату и несколько церемонно опустила его на потертый пол между старым диваном и не менее старым складным стулом с полосатой накидкой. Ее рабочее место находилось в противоположном конце этой большой комнаты, по другую сторону от свернутого матраса, среди холстов, прислоненных к стене штабелями, с подрамниками наружу. Я выбрал диван, а она забралась на складной стул, подогнув под себя длинные ноги и украдкой наблюдая за мной, чтобы увидеть, какое впечатление все это производит. И снова я смутно почувствовал себя стариком, хотя мне было всего тридцать семь лет в тот день, когда я сидел в ее квартире, вдыхая запах скипидара и масляной краски, и смотрел в ее серые глаза чуть более пристально, чем следовало, чтобы не отвлекаться или, вернее, не обнаружить, что я отвлекаюсь, обращая внимание на ее согнутые и, чего я больше не мог отрицать, необыкновенно красивые ноги.

Она поставила свой стакан на розовое колено и некоторое время разглядывала находившуюся в нем желтоватую жидкость. Повертев стакан между пальцами, она сказала, что почти готова была отказаться от того, чтобы позвонить мне. Я слегка покашлял и спросил почему. Элизабет чуть покраснела и подняла на меня взгляд. Она прекрасно понимает, что пока что еще не слишком хорошая художница, ей предстоит еще долгий путь. Мы так хорошо побеседовали тогда за ужином, и она боится, что я не смогу поверить во все то, о чем мы говорили, что я подумаю, будто у нее за душой нет ничего, кроме громких слов. Лицо ее теперь не казалось таким сумрачным, как тогда, несколько дней назад, при искусственном освещении, но я снова был поражен несоответствием между ее буйными романтическими волосами и угловатыми, острыми чертами ее лица, с выступающим подбородком, узким ртом, блеклыми серыми глазами и длинным, чуть на сторону, носом. Нос у нее был с горбинкой, и это придавало ее профилю оттенок вырождения, заставляя вспомнить некоторых персонажей семнадцатого века — герцогов, астрономов, энциклопедистов. Не лицо, лишенное косметики, выражало почти аскетическую деловитость, контрастируя с

непрактичной буйностью ее волос. Ее золотисто-каштановые локоны постоянно мешали ей, так что приходилось во время разговора то и дело убирать их с лица. Они постоянно вторгались в разговор как нечто несерьезное, не относящееся к делу, и она отбрасывала их нетерпеливо или механически, пытаясь одновременно выразить какую-то мысль, подобрать слова, именно те, которые помогли бы ей идти дальше в нужном направлении, чтобы сформулировать то, что она продумала и хотела выразить.

Она надеется, что я честно выскажу свое мнение о ее работах. Многие одобрительно похлопывали ее по плечу по той или иной причине, но для нее имеет особое значение именно мое суждение. Она ведь читала то, о чем я писал, и знала, что я по крайней мере сумею увидеть то, к чему она стремится. Я сказал, что рад тому, что она все-таки решилась позвонить, и рассказал ей, как наш разговор помог мне преодолеть те сомнения, которые я подчас испытывал, намереваясь писать о нью-йоркской школе. Ее неподдельный энтузиазм убедил меня в том, что писать нужно. Она смущенно улыбнулась и отхлебнула вина из своего стакана. «Было весьма неожиданно, — продолжал я, — встретить человека, которого

так же, как и меня, привлекали Моррис Луис и Марк Ротко: ведь теперь не осталось больше никого, кто бы интересовался ими. Их канонизировали, а затем забыли». Мне показалось вдруг, что я, пожалуй, несколько преувеличиваю как собственные сомнения, так и решающее воздействие нашей встречи на мою работу, но она внимательно смотрела на меня, пока я говорил, и нельзя было сказать, что все это было неправда. Просто я несколько подчеркнул свои ощущения ясности ради. Элизабет снова похлопала дном стакана по коленке и заглянула внутрь, словно в магический кристалл. Дело не только в том, что она опасается насчет своих картин и поэтому долго колебалась, прежде чем позвонить. Я зажег сигарету, и она коротко взглянула на меня, пока я выдыхал дым из ноздрей. Она к тому же боялась, что я неправильно истолкую ее звонок. Люди так много болтают. Она ведь не может знать, что говорил мне о ней инспектор музеев. Может, я думаю… «Нет, — прервала она себя, — это уж совсем малодушие». «Что?» — спросил я. Она иронически улыбнулась. Может, я думаю, что она из тех, кто гоняется за женатыми мужчинами. Мы немного посмеялись над этим. Я сказал, что она вовсе не похожа на такую женщину, а что

касается инспектора музеев, то он говорил о ней только хорошее. Я не упомянул о его многозначительной лисьей улыбке, а вместо этого сказал, что фактически думал так же, когда звонил ей, опасаясь, что она неправильно поймет меня. Вообще поразительно, до чего много мы уже наговорили о себе. Когда встречаешь женщину, то сначала говоришь с ней обо всем на свете, о множестве вещей, которые тебя интересуют. Потом двое начинают говорить в основном о себе, рассказывая свою историю, выслушивая историю своей собеседницы, и о поразительном осознании того, что они оказались вместе. Потом снова начинают говорить обо всем, что их окружает, если только не умолкают вовсе, не зная, что сказать. Может, Элизабет тоже сочла, что мы слишком много говорили о нас, потому что она вдруг поднялась и бодро заявила, что надеется выдержать испытание. После этого она принялась расставлять свои полотна вдоль стены.

Ее картины были вовсе не так уж плохи, как она пыталась их представить, но ее собственное суждение о них тем не менее оказалось точным. Следы источников вдохновения еще не исчезли, но назвать ее эпигоном было бы не совсем верно. Речь пока что не шла об уверенных, почти непо-

мерно уравновешенных абстракциях, которые я семь лет спустя увидел в галерее на Вустер-стрит, но попытки уже были налицо — как в отношении восприятия красок, так и в отношении к материалу, и прежде всего я мог видеть, что она не довольствуется быстрыми, поспешными решениями. Но было еще все же нечто робкое и «жеребячье» в ее полотнах, чуть чрезмерное использование плесени и жидких красок, точно она боялась ясности, боялась придать своим композициям плоть и кровь. Этот страх в самых слабых картинах заставлял ее прибегать к декоративности, украшательству. Она ушла на кухню, и вскоре я услышал, как она там моет посуду. Элизабет роняла на пол ложки и кастрюли, неловкая, как всегда. Она, должно быть, вне себя от страха при мысли о том, как я буду судить о ее картинах. Оставшись с картинами наедине и переходя от одной к другой, я пытался сосредоточиться на том, чтобы сформулировать свое мнение о них. Я чувствовал себя одновременно и успокоенным, и смущенным. То, что мне удалось преодолеть в тот вечер, когда мы ужинали на Спринг-стрит и когда я с облегчением почувствовал, что наконец освободился от моих бесплодных снов наяву о таинственной красавице в садике со скульптурами

позади Музея современного искусства, теперь как бы в отместку возникло снова и еще более мучительно при этой нашей встрече, когда мы сидели друг против друга, я — на полуразвалившемся диване, а она — на складном стуле, подняв с пола красивые, длинные ноги и опершись подбородком о колени, так что ее смешные футбольные шорты, о чем она наверняка не подозревала, собрались складками вокруг безупречно округлых бедер и небольшого животика. Я изо всех сил старался устранить с поля зрения эту картину, слушая ее пояснения, почему она едва не отказалась от звонка ко мне, боясь быть понятой неправильно. Но от себя самого я не мог скрыть, что меня влечет к ней. К тому же я изо всех сил старался скрыть это от нее. До чего удручающе тривиально все это было! Неужто я и вправду не могу встретить женщину, которая мыслит и рассуждает созвучно моим мыслям и рассуждениям, без того чтобы не начать немедленно думать о ее бедрах только потому, что они красивы, а она, сама того не подозревая, выставляет их на обозрение моему жадному взору? И это при том, что она недвусмысленно дала понять, что ни в коем случае не хочет, чтобы общая волна, на которую нам удалось настроиться, приобрела

эротическое звучание. Я вышел к ней на кухню. Она сидела за кухонным столом с кошкой на коленях, углубившись в чтение какой-то газетной статьи. Я сел напротив нее и сказал, что я думаю о ее картинах. Я не умолчал ни о своем одобрении, ни о критическом восприятии, и что до критики, то я был, пожалуй, даже чуточку жесток в своей откровенности. И подумал о том, был бы я столь же честен, если бы она не дала мне понять, что наше знакомство носит чисто платонический характер? А что, если я просто-напросто слегка наказываю ее за это? А возможно, я принял это разъяснение о том, какого рода должны быть наши отношения, которые она предложила по собственной инициативе, как раз для того, чтобы окончательно обезопасить себя самого от риска наговорить глупостей? Она смотрела на меня, изо всех сил стараясь не моргнуть и рассеянно почесывая кошку за ушком. Когда я умолк, стало совсем тихо, и в этой тишине кошка с мягким стуком спрыгнула с ее колен и потянулась, а потом тихонько отползла в сторонку. Теперь у Элизабет даже не осталось чем занять руки. Она откашлялась, откинула с лица волосы и сказала, что я прав. Она рада, что я был с ней так откровенен, это для нее большой подарок. В сущности, она

ведь и сама знает свои слабые стороны, но подчас их начинаешь лучше понимать, когда тебе о них говорит кто-то другой. Жаль только, что она не так уж часто сможет пользоваться моими критическими замечаниями. Мне стало жаль ее, и я попытался дать задний ход, но она настаивала и, можно сказать, упорствовала, предаваясь самокритике, и я наконец вынужден был прямо-таки начать превозносить ее лучшие полотна, дабы положить конец этому самобичеванию.

Элизабет сказала, что рада будет прочесть мою книгу о наших с нею любимых художниках, и спросила, почему я сомневался, стоит ли о них писать. Быть может, она обратила внимание на мои колебания и недоверие к самому себе для того, чтобы в некотором смысле восстановить равновесие между нами, после того как сама призналась в своей неуверенности, но я все же не мог понять, спрашивает ли она об этом потому, что рада будет поколебать тот пьедестал, на который воздвигла меня, или потому, что проявление моих сомнений только усилило ее симпатию ко мне. Я ответил, что у меня возникает та же проблема, что и у всех, кто собирается писать о художниках, не относящихся к художественной или литературной школе. Если писать о нью-йоркской

школе, то парадокс заключается в том, что сила их искусства зиждется именно на его недосказанности. Их лишенные представления картины не допускали никакого описания, никакой словесной характеристики, и невозможно будет трактовать их или их воздействие на зрителя, даже если использовать самые тонкие оттенки имеющихся в языке выражений. Всегда остается что-то недосказанное, что-то, что невозможно выразить словами, и именно эта недосказанность, эта беспомощность слов заставляют возвращаться к ним снова и снова. Это именно то, что может быть выражено только самой живописью и обнаруживаться только при встрече взгляда с самой картиной. Тут налицо сочетание сознания, материалов и формы, которое не поддается истолкованию, потому что оно неповторимо в самом глубоком и непостижимом значении, тогда как язык вынужден всегда прибегать к помощи сравнений и сопоставлений, чтобы дать толчок сознанию. Единственное словесное выражение, быть может, близкое к тому, о чем я говорил, были парадоксы дзэнбуддистских мудрецов, потому что такие занятия, как стрельба из лука и каллиграфия, открывают то же спонтанное проникновение в глубь вещей, которое изредка,

время от времени, возникает при встрече с законченной, целостной картиной. Она слушала и смотрела на меня напряженным взглядом, который, казалось, фиксировал каждое движение в моем лице, и вместе с тем мыслями она была где-то далеко, и я должен признаться, что сам был тронут своим небольшим застольным спичем в защиту чистого искусства. Пока я говорил, возникло решение, что именно нечто в таком роде должно присутствовать в предисловии к моей книге. С подобной самокритичной вступительной молитвой никто не сможет обвинить меня в преувеличении. Внезапно она встала, точно больше не в состоянии была воспринимать то, что я говорил, и предложила пойти прогуляться. Существует ограниченное число возможностей находиться вдвоем в помещении. Можно сидеть друг против друга, каждый на своем месте, можно отправиться в постель вдвоем, но когда эта последняя возможность исключена, в какой-то момент начинаешь уставать от встречи, особенно если люди еще не знают друг друга достаточно хорошо, а паузы в разговоре могут предвещать дальнейшее углубление внутреннего контакта. Мы уже достаточно сблизились благодаря нашей общей любви к нью-йоркской школе, и теперь

следовало на этом остановиться, теперь должно было произойти что-то иное, а иначе мы рисковали зайти в тупик. Я вежливо почесал у кошки под мордочкой, а Элизабет между тем сунула босые ноги в потрепанные кроссовки. Она надела старый, поношенный хлопчато-бумажный плащ, водрузила на нос солнцезащитные очки с оцарапанными стеклами, подняла волосы, уложила их поверх воротника, застенчиво улыбаясь, точно извинялась за свою буйно разросшуюся гриву, и вскоре мы очутились внизу, на улице.

Она шагала быстро, широким, энергичным шагом, а я, идя рядом с нею, впервые обратил внимание на то, что мы с ней одного роста, и она, пожалуй, даже чуть выше меня. И все же мы, должно быть, смотрелись весьма несовместимой парой: она в своем вздувающемся плаще, в запыленных матерчатых кроссовках, и я — в твидовом пиджаке и начищенных до блеска ботинках. Я чувствовал себя безнадежно буржуазным, почти как полицейский в цивильной одежде. Мы шли через Ист-Виллидж, который, судя по всему, был населен космополитическими, провинциальными оригиналами, так что эксцентричность здесь выглядела нормой, а норма — небольшой сенсацией. Что она могла здесь видеть во мне —

интеллектуальном, буржуазно-респектабельном субъекте в твидовом пиджаке и наглаженной голубой рубашке? Я чувствовал себя чужим, мне было не по себе, и я задавал самому себе вопрос, какие, собственно, отношения у нас намечаются. Никакого намека на флирт не было в наших разговорах или многозначительных недомолвок, и я чувствовал себя спокойно при мысли о том, что это, во всяком случае, не похоже на начало любовной связи… Я был у нее дома, и мы ушли оттуда в общественную нейтральную среду. Может быть, это начало дружбы? Я подумал об Астрид и детях. Теперь, в это время, они уже покончили с ужином: Симон сидит наверняка перед своим компьютером, увлеченный какой-нибудь очередной звездной войной, Астрид уже закончила читать Розе на ночь сказку, и я вижу ее сидящей на диване рядом с худеньким созданием, почти утонувшем в перинке, которую она притащила в гостиную. А я в это время разгуливаю здесь, по другую сторону Атлантического океана, при дневном солнечном освещении, рядом с девушкой, о которой я почти ничего не знаю, так далеко от всего того, что есть моя жизнь, мой город, мои будни, где каждый мой шаг был шагом по хорошо известной, проторенной дорожке. Мы прошли по

Боувери мимо грязноватых магазинов с утварью для ресторанных кухонь, пересекли Маленькую Италию и Сохо и направились к Гудзону. Время от времени я указывал на ту или иную безымянную деталь, привлекшую мое внимание, словно какой-нибудь наивный турист, и тем временем рассказывал ей о том, что мое восприятие чистого искусства соответствовало моему восприятию мистического присутствия вещей, когда концентрируешься только на их внешнем виде, отвлекаясь от их цели или значения. Я рассказывал ей о том, как в детстве сбежал от своих родителей в развалины, чтобы вести растительную жизнь, наблюдая за передвижениями света и тени на остатках обрушившейся стены и обвалившихся балок. Элизабет сказала, что понимает меня. То же самое она испытывала в детстве. Точно так же, как и я, она могла засмотреться на узор крышки канализационного люка или на обрывки плаката на стене дома. Мы говорили об особых, в сущности, бессодержательных мгновениях, когда внезапная легкость неосознанного, невольного движения и свет, который падает на него, и тень, которую оно отбрасывает, — все это непостижимым образом соединяется со взглядом, словно движение возникает и исходит от глаз,

которые за ним наблюдают. В какой-то момент я пнул ногой большую ржавую гайку, и она покатилась по освещенным солнцем булыжникам, балансируя на краю собственной тени, а потом завертелась спиралью, словно растерявшаяся восьмерка во все убывающем движении, пока не улеглась обратно на тротуар, снова став обыкновенной ржавой гайкой. Элизабет наклонилась и, подняв ее, протянула мне с улыбкой, и сказала, что это мне подарок от нее на память, чтобы я не забывал нашу встречу. Эта гайка все еще у меня, она валяется где-то в шкафу. Потом Элизабет вдруг попросила меня рассказать о моей жене, точно безопасности ради захотела напомнить мне о нашем молчаливом уговоре на тот случай, если я все же пойму что-нибудь превратно.

Было странно слышать, как она произносит слова «твоя жена», и столь же странно было говорить об Астрид, кратко описывая ее, словно в резюме, похожем на то, которое люди пишут о себе в объявлениях о знакомствах. Тридцать восемь лет, работает монтажницей на киностудии, узкие глаза, широкие скулы, стройная, темно-каштановые волосы, закручивающиеся завитками в дождливую погоду, прежде была замужем за известным кинорежиссером, мать

двоих детей, старший мальчик — от первого брака, поклонница Трюффо, пирушек с вареными раками, прогулок у моря, антиквариата, католического китча и поездок в Южную Европу, по мнению посторонних, холодная и скрытная, но за неприступным фасадом — чуткая, заботливая и чувствительная. И это действительно Астрид? Она вдруг стала такой далекой и маленькой перед моим внутренним взором. Быть может, я действительно сказал уже чересчур много, или мне вообще не следовало рассказывать о ней, потому что при всех обстоятельствах, сколько бы я ни рассказывал о ней, все было бы недостаточно? Верно и то, и другое. Но еще один устрашающий вопрос мучил меня, когда мы дошли до Ист-Сайд-Хайвей и пошли по направлению к Торговому центру. Прохладный бриз дул нам в лицо, пока мы шли по широкому тротуару вдоль сверкающей реки, среди запыхавшихся бегунов, которые неслись в том же направлении, в котором я шел один семь лет спустя, через неделю после отъезда Астрид. Та же мысль, которая преследовала меня с тех самых пор, когда в то утро я увидел ее стоящей перед зеркалом и заявившей небрежно, что она уезжает, столь небрежно, что я забыл спросить почему. Тот же вопрос, который я задаю себе всякий раз,

когда снова вижу ее, стоящую в дверях спальни и рассматривающую меня за несколько минут до того, как исчезнуть из дому. Знаю ли я вообще Астрид? Знаю ли я о ней что-либо другое, кроме того, что я знал все эти годы, которые мы провели вместе, кроме того, что мы делали вместе с ней, кроме тех отрывочных сведений, которые она сообщила мне о времени, прожитом до нашей с ней встречи, столь же суммарных, как и то резюме, которое я сейчас преподнес Элизабет? И знает ли она обо мне нечто другое? Элизабет спросила, давно ли мы женаты. Десять лет?! Она недоверчиво, но уважительно потрясла своей пышной гривой. Значит, такое и впрямь возможно! Я рассмеялся и, постаравшись придать своему голосу беспечность, рассказал ей о том, как освободился от нетерпеливых и эгоцентричных ожиданий юности, о том счастье, которое может выдержать дневной свет, и некоторые сложности, и пока она слушала, внимательно глядя, мне вдруг показалось, что все это звучит бледно и неубедительно, и подумал, что и она сумела услышать и увидеть слабую тень за фасадом моей широкой улыбки и моих исполненных уверенности слов.

Но ведь это была правда, так ведь все и было. Разве нет? Я спросил, а как обстоят дела у нее

самой. Теперь уже я должен был восстановить равновесие, я, который разоткровенничался, ждал теперь откровений от нее, подобно тому, как расквитался с ней за творческую самокритику, рассказав о периодах моих преходящих кризисов в процессе работы. Мы остановились и стали смотреть на заброшенную пристань и пустынную реку. Ветер усилился и забрался в ее волосы и под плащ. Она откинула пряди, которые ветер швырнул ей в лицо, слабо улыбнулась и стала смотреть на серо-голубую с нефтяным отливом реку; беспокойные, летучие порывы ветра периодически пробегали рябью по ее поверхности. У нее уже давно никого не было. Два года назад она забеременела, он тоже был художником. Это случилось дома, в Копенгагене. Но у них ничего не вышло, и тогда она уехала. И теперь привыкла большую часть времени быть одна, ее это не тяготит, хотя подчас она спрашивает себя, не пресытилась ли уже одиночеством. Иногда ей хочется вернуться домой. Это суровый город, тут подарков не дождешься, но, с другой стороны, ей нравится, что за все приходится бороться. Она сама еще толком не знает, на что решиться. Подчас возникает желание быть там, где ее кто-то знает.

Мне в глаз попала соринка, создалось впечат-

ление, что там застряла еловая шишка, и слезы ручьем побежали по щекам. Элизабет обернулась ко мне, как человек, внезапно пробудившийся от сна, и отвернула пальцами мое веко. Она там ничего не увидела, но соринка тем не менее вдруг исчезла. Прошло несколько секунд, прежде чем я сказал, что соринки больше нет. Ее пальцы лежали на моей щеке, и поэтому я медлил со своим сообщением, а потом легонько взял ее за кисть, точно желая убрать руку. Так мы постояли немного, не слишком долго, но все же достаточное время. Я держал ее руку в моей, и мы смотрели друг на друга, я — устремив на нее взгляд со своим покрасневшим, слезящимся глазом. Потом она сделала движение рукой, и я отпустил ее кисть, а она отвернулась к реке. «Я не должна влюбляться в тебя», — сказала Элизабет. «Нет», — ответил я и посмотрел в том же направлении, что и она, туда, где находились рекламные часы фирмы «Колгейт», освещенные слепящим солнцем, так, что невозможно было разглядеть, который теперь час. Так мы постояли немного, тесно прижавшись друг к другу. Нелепое, неудачное и бессмысленное место для стояния, спиной к спокойному, монотонному воскресному движению и заброшенным, черным от грязи пакгаузам.

Она повернула ко мне лицо, серьезное и непривычно нежное. «Ты сильный», — сказала она. С чего это она так решила? Я промолчал. Она сказала, что замерзла и хочет домой, а я могу сесть на поезд, идущий от Чарч-стрит. Я ответил, что провожу ее до дома. «Это не обязательно». «Мне лучше знать», — возразил я. Мы двинулись по дороге к ее дому. Я попытался придумать, что сказать, что-нибудь незначащее, что угодно. Но мы обменивались лишь отдельными бессвязными репликами, разделенными бесконечно долгими паузами, пока шли обратно в Ист-Виллидж. Я не мог понять, то ли она так умело скрывала свои чувства, то ли я был слеп. Во всяком случае мы ухитрились не понять друг друга. Постояли около ее входной двери — она долго искала ключи. Отперев дверь, Элизабет обернулась ко мне и сказала «до свидания». Я поцеловал ее, она не противилась. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказала она. Я ответил, что знаю, хотя не имел об этом ни малейшего понятия.

Люди делают одно и то же, повторяют те же движения, и тем не менее им кажется, что все должно быть иначе, означать нечто другое, раз другая женщина встречает твой взгляд или прикрывает глаза, когда ты склоняешься над ней.

Почему же я воспринял все это так нелегко? Может быть, потому, что целых десять лет не лежал в постели ни с кем, кроме Астрид?

Разве речь не шла всего лишь о том, что обычно называют «сбегать налево»? Но я ведь уже давно был готов к этому, сам того не сознавая, задолго до того, как однажды днем, сидя в садике со скульптурами позади Музея современного искусства, глазел на молодую, модно одетую даму, увлеченный совершенно фантастической гипотезой о том, что она может быть идентична с той самой Элизабет, которой я поначалу вовсе не намеревался звонить, вероятно, из противоречия инспектору музеев, усмехавшемуся столь нагло, словно он давал мне номер телефона какой-нибудь шикарной шлюхи, но наверняка также из страха перед тем, что могло обнаружиться во мне самом. Но если речь шла всего-навсего об еще одном утомленном супружеской жизнью человеке, которому приспичило «натворить глупостей», теперь, когда он освободился от однообразия будней и пребывал в Америке, вдали от любопытных или осуждающих взглядов, то Элизабет была не более чем статисткой в этой моей сугубо личной маленькой драме, совершенно случайной фигурой, возникшей на пути моего внутреннего

отчаяния. Так говорил я себе потом, после всего произошедшего, конфузливо фыркая. Но я был совершенно по-иному настроен, я был искренне нежен, когда, снова очутившись в ее квартире, обнимал ее среди полотен, а кошка между тем ревниво терлась о мои брючины и ее голые ноги. Мы долго стояли, не шевелясь, она — сжав руками лацканы моего пиджака и положив голову мне на плечо, так что ее волосы щекотали мой нос. Мы застыли в этом долгом объятии, не в состоянии двинуться с места, потому что ни один из нас не знал, куда, собственно, двигаться. Я вспоминал другое объятие, в другой квартирке, в другое сумеречное время, в ту пору, когда я бродил по городу с Инес, после того как она, одиноко стоявшая в полумраке музейного зала, среди мраморных статуй забытых цезарей, вдруг обернулась ко мне. И я думаю о той расщелине, что образовалась внутри меня, когда я в детстве покинул развалины, в которых жил вместе с мышами и бездомными кошками, заброшенный, счастливый, и вернулся домой, в пустую, тихую виллу моих родителей. Та расщелина, которая, как я думал, сомкнулась после того, как много лет спустя Инес притянула меня к себе, стоя у окна, выходящего на еврейское кладбище с покрытыми плесенью надгробьями

и непонятными письменами. И теперь, когда стоял, обнимая Элизабет, мне снова показалось, что та расщелина сомкнулась, после того как я сделал последний шаг навстречу ей и раскрыл объятия. Как будто та, прежняя, расщелина вновь образовалась за те годы, что Роза и Симон подрастали рядом со мной и Астрид, образовалась с течением времени, но я просто не замечал ее, потому что слишком на многое, кроме себя самого, приходилось обращать внимание. Выходит, я уже готов был изменить Астрид или, иначе говоря, в течение всех этих лет, проведенных рядом с нею, созрел для измены и ей, и самому себе? Не исключено, что я все-таки отринул изначальную часть собственного «я», когда сделал тогда шаг, ухватившись за представившийся шанс в тот вечер у меня на кухне, и ласково коснулся щеки Астрид, поскольку именно она вторглась в мое одиночество? И в тот раз я также не вполне сознавал, что делаю. Элизабет медленно выпустила из рук лацканы моего пиджака, я опустил руки, а она отступила на шаг назад, поглядывая на меня робко и чуть конфузливо. Я не имел понятия о том, что она прочла в моем лице, но что-то, должно быть, увидела, я был открыт ее взгляду. Она сбросила с себя плащ на пол и ста-

ла раздеваться передо мной, пока не предстала совершенно нагая, перед чужим для нее одетым человеком, вторгшимся в ее жизнь. Она как будто хотела, чтобы этот человек знал, куда пришел, рассмотрел ее, увидел, как она сложена, увидел ее маленькие груди и выступающие ребра. Затем она подошла к свернутому в рулон матрасу и развернула его, а когда опустилась на колени, чтобы постелить простыню, я обратил внимание на сероватый налет на ее пятках и уже затосковал по ней, хотя она находилась всего в двух шагах от меня. Я мог слышать завывание полицейских сирен на Первой авеню. Гремящая музыка из автомобильного радио откликалась эхом между фасадами домов, то усиливаясь, то замирая. А в окне я видел тень от крыльев голубя, который приближался к штрихованной, изогнутой тени пожарной лестницы наверху, где стены дома все еще были озарены лучами раскаленного закатного солнца. Летящий в лучах солнца голубь и его машущая крыльями тень приближались друг к другу, пока не слились воедино, и птица, опустившись на верхнюю перекладину пожарной лестницы, сложила крылья.

Если говорить сущую правду, то ничего особенно незабываемого не произошло в тот первый

раз, когда мы с Элизабет лежали на ее твердом матрасе, под взглядом белой кошки, сидевшей у двери, аккуратно сложив лапки, точно домашний сфинкс, которому ничто человеческое не чуждо. Я был склонен поверить словам Элизабет о том, что она уже давно не была с мужчиной. Угловатость ее тела, казалось, приспосабливалась к ее движениям, и наше соитие превратилось в лихорадочную, пресекающую дыхание схватку, пока мы не вынуждены были прекратить ее и смущенно выпустить друг друга из объятий. Она лежала, прижавшись щекой к моему бедру, и смотрела на мой все еще возбужденный член недоумевающим, обескураженным взглядом. Мне вспомнилась знаменитая фотография Ман Рэя, на которой красавица, напоминающая звезду немого кино двадцатых годов, с накрашенными темной помадой надутыми губками и длинными ресницами на такой же манер склоняет головку, разглядывая примитивную африканскую статуэтку. Мы оба посмеялись не только над моим сравнением, но и над тем, что оно вообще могло прийти мне в голову, и все еще продолжали хихикать, вновь прижимаясь друг к другу в сумерках, под тонким шерстяным пончо, заменявшим ей одеяло. Она спросила, не разочарован ли я. Я не

был разочарован, мое чувство не было похоже на разочарование. Я, скорее, почувствовал почти облегчение из-за того, что отнюдь не показал себя с лучшей стороны в первый раз. Это было естественно после стольких лет обладания одной лишь Астрид, становившейся все более необъективной свидетельницей моих сексуальных возможностей. Я, собственно, никогда не был уверен в том, что какая-либо другая женщина, оказавшаяся на ее месте, будет столь же удовлетворена, как она, поскольку подозревал, что она либо слишком неприхотлива, либо переоценивает то, что стало теперь ее собственностью, только из-за того, что это ее собственность. Но я ничего не сказал об этом Элизабет, пока мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, укрывшись ее пончо, и я, к своему удивлению, не испытывал и тени угрызений совести — быть может, именно потому, что ничего демонического или сверхъестественного не было в том, чтобы ощущать ее длинное, узкое тело рядом с моим. Просто это было другое тело, не то, к которому я привык. Я попытался объяснить ей свои ощущения, объяснить, что я как будто преодолел некое расслоение внутри меня, расслоение, которое незаметно для меня самого, с годами, пока я жил с Астрид, все

увеличивалось, ширясь постепенно и незаметно. Но она положила палец на мои губы и сказала, чтобы я прекратил этот разговор.

После этого мы больше не говорили об Астрид. Мы не говорили и о нас, о том, что произошло между нами, или о том, что случится в будущем. Будущее было табу. Мы говорили об искусстве, о нашей работе, о том, что слышали и видели когда-то. Мы избегали заводить разговор о том неизбежном времени, когда я вернусь домой к тому, что некогда было моей жизнью. Мы делали вид, будто не замечаем, как это время приближается; мы угнездились в нашем мягком, блестящем мыльном пузыре в восхищении от того, что он витает в воздухе. Мы считали не дни, а часы, и таким образом три последующие недели превратились в миниатюрную вечность. Большую часть времени мы проводили в ее квартире, если не отправлялись в длительные бесцельные прогулки или не совершали покупки среди ночи у корейского торговца овощами на авеню А. Я готовил ей еду — тяжелые испанские блюда в горшочках, и ей удалось прибавить в весе пару кило за то время, что мы были вместе. Со временем мы научились заниматься любовью, но случались ночи, когда мы просто лежали и разговаривали,

совершенно забывая о том, что запретная любовь требует постоянных неистовых ласк. Раз в два или три дня я возвращался в Бруклин и ночевал в доме у ливанского кардиохирурга, чтобы на следующее утро поработать несколько часов за письменным столом, но довольно часто я писал на кухне у Элизабет, пока она работала в соседней комнате, а кошка ходила от меня к ней и обратно, словно ласковый посланец. Дело с книгой продвигалось быстрее, чем я ожидал; ни Элизабет, ни ее кошка не отвлекали меня. Напротив, теперь я с меньшими усилиями овладевал темой, над которой трудился, и когда читал ей вслух страницы, написанные в течение дня, то сам мог слышать, что они удались мне лучше, чем большая часть из написанного прежде. Кардиохирург редко бывал дома, он явно предпочитал дом своей подруги на Лонг-Айленде, и лишь единственный раз я нашел его записку о том, что звонила Астрид. Я сам звонил домой несколько раз и был поражен тем, сколь непринужденно звучал мой голос, когда я расспрашивал о том, что происходит дома, или рассказывал о работе над книгой. Насколько я мог понять по голосу Астрид, она ничего неладного не заподозрила. Я не думал, что измена окажется столь легкой и необременительной. И с

привычной нежностью слушал голос жены, чуть запоздало доходящий до меня через спутниковую связь. Казалось, будто Элизабет и она и впрямь находились в разных мирах, а разделяющая их граница проходит через меня.

Мы почти ни с кем не общались, если не считать тех нескольких случаев, когда сидели в одном из кафе в Ист-Виллидже и ее друзья подходили поздороваться с ней. Это были художники, взлохмаченные типы, которые вежливо пожимали мне руку и изучали меня, косо и с любопытством поглядывая в мою сторону, пока обменивались с Элизабет новостями. Они наверняка были несколько удивлены тем, что она заарканила такую буржуазную дичь. Элизабет не стремилась вовлечь меня в свое окружение, и я был только рад, что она принадлежит мне одному. Лишь один-единственный раз она взяла меня с собой на светский вернисаж в Сохо. Галерея была устроена в старом гараже с матовыми оконными стеклами, так что прохладное белое помещение создавало герметичную абстрактную сферу вокруг выставленных картин и особо приглашенных гостей, которые стояли группами, спиной к картинам, и оживленно беседовали друг с другом, не упуская из виду тех, кто появлялся здесь или уходил.

Никто не обращал внимания на меня, занявшего наблюдательный пост в самом дальнем углу. Я моментально стал невидимкой. Меня удивило, как много людей здесь были знакомы с Элизабет, и из своего угла я наблюдал, как мою грациозную, богемного вида любовницу встречали поцелуями в щечку мужчины средних лет с «конскими хвостами» на затылке, в черных водолазках под костюмами в тонкую полоску от Сакса. Стало быть, они также были частью ее мира, того мира, от которого я ее отвлек и в который она вернется, когда я уеду домой. Сам выставляющийся художник был явно из старых и близких ее друзей. Это был небольшого роста итальянец с жидкой шевелюрой в белой паре и сандалиях; ему приходилось высоко задирать голову, чтобы смотреть на нее, когда они стояли и над чем-то вместе хихикали. Он был единственным, кто позволял себе курить здесь, и, попыхивая громадной гаванской сигарой, рассказывал ей какую-то историю, видимо, до того уморительную, что она корчилась от смеха. Я не мог не заметить, как он игриво положил свою небольшую волосатую руку с дымящейся сигарой на ее ягодицу, обтянутую дырявыми, застиранными джинсами, и поднялся на цыпочки в своих сандалиях, чтобы

дотянуться до ее уха и прошептать ей что-то, проявляя абсолютное равнодушие к наверняка когда-то брошенным им богатым женщинам в розовых и лимонно-желтых туалетах от Шанель, которые стояли неподалеку, трепеща от желания удостоиться аудиенции. И снова я невольно подумал об инспекторе музеев и его лисьей ухмылке. Не был ли я достоин осмеяния, я, стоящий здесь, совершенно обезоруженный своей влюбленностью, в этом клиническом, возбужденно гудящем помещении?

За день до моего отъезда мы отправились на Кони-Айленд. Мы пили пиво в баре у прибрежного променада, там, где на морском берегу сидели, согнув спины, старики с удочками, повернувшие свои баскетбольные каскетки козырьком к затылку. Пронзительные крики чаек достигали бара, разумеется, называвшегося «Атлантик» и позади которого в безлюдном увеселительном парке с редким скрипом вертелось колесо обозрения. На стойке бара светился экран телевизора, и футбольная дорожка на экране была почти такого же зеленого цвета, как стены в этом грязноватом помещении. Игроки сбегались на дорожке, образуя скопище согнутых спин, а затем, спустя мгновение, разбегались врассыпную, словно

стая громадных, неуклюжих чаек. Блестящие самолеты один за другим появлялись в небе над морем и удалялись, чтобы совершить посадку в аэропорту Дж. Кеннеди. Рыбаки-любители на молу снова и снова погружали удочки в воду. Рядом с ними лежали связки небольших сверкающих рыбок. Позади них, по другую сторону от увеселительного парка, высились последние в Америке многоквартирные дома с дешевым жильем; окна их выходили на океан, а сами они были высокие, темные, квадратные. Элизабет заметила, что эти мрачные жилые блоки напоминают ей тысячелетней давности мазанки в Йемене и Сане. Над аттракционом «Русские горы» сверкали белые лампочки, образуя единственное слово: «Гималаи». Мы провели на пляже около часа. Элизабет лежала, устроив голову у меня на коленях, прикрыв глаза в свете пасмурного дня. Волосы ее рассыпались веером на моих ногах. Я смотрел то на ее лицо, то на море. Я спросил, не оставила ли она мысль о том, чтобы вернуться домой, в Копенгаген. Она сказала, что не знает, может быть. Мы в тот день разговаривали не так уж много. Молчали мы и на следующий день, в такси, по дороге в аэропорт. Она криво усмехалась, когда мы стояли перед стойкой регистрации.

Сказала, что было приятно встретиться со мной. Это звучало так, словно мы никогда больше не увидимся, словно между нами не произошло ничего особенного. Потом быстро поцеловала меня и пошла, не оборачиваясь. Полгода спустя я стоял на другом побережье вместе с Астрид. Это было на следующий день после нашего приезда в Порту. Собственно говоря, мы намеревались проехать прямо на юг, в Лиссабон, и, быть может, сделать остановку в Коимбре. Но нам захотелось взглянуть на море. Мы не видели моря со дня пребывания в Сан-Себастьяне. Мы ехали по Дору вдоль разрушающихся фасадов домов, с грязными изразцами, балконами с заржавленными решетками, веревками с развешанными на них простынями и застиранным детским бельем. Потом мы добрались до устья реки, где видны были на песчаной косе фигурки рыбаков-любителей, маленькие и затерянные в тумане. Мы доехали до Матозиньюша и пошли по огромному пустынному пляжу, позади которого видны были обветшалые прибрежные кафе и кабинки для переодевания, а вдали тускло поблескивали в мглистом солнечном свете нефтяные цистерны. Мы шли, пока совсем не изнемогли от усталости, и остановились перед желтоватой

полосой прибоя из пены и взвихренного песка и стали вглядываться вдаль, насколько видел глаз, туда, где море сливается с туманом. Позже я обнаружил, что Матозиньюш и Кони-Айленд находятся прямо друг против друга, примерно на сороковом или сорок первом градусе северной широты. Пляж, где я сидел с головой Элизабет у себя на коленях, пытаясь представить себе, что было бы, если бы я оставил Астрид, и пляж, на котором я стоял вместе с Астрид Полгода спустя, простившись с Элизабет вторично, находились друг против друга. Пляж в Старом Свете и пляж в Новом Свете, разделенные океаном, сгубившим столь многих до меня, полных надежд, словно мир все же не был единым пространством, только очень большим. Словно речь шла о совершенно разных мирах.

Астрид не встречала меня в аэропорту в тот первый раз, когда я весной вернулся в Копенгаген из Нью-Йорка, полный воспоминаний об Элизабет, точно туманных, нереальных картин минувшего, осевших на дне моей усталости. Это было огромным облегчением. Я боялся, что она будет стоять, держа за руку Розу, а чуть подальше будет в ожидании стоять Симон в баскетбольной каскетке и с наушниками, нетерпеливый и дергающийся,

поскольку встречать отчима в аэропорту казалось шестнадцатилетнему подростку ниже его достоинства. Я так старательно готовился к этой встрече в зале прибытия, что у меня уже не хватило сил на то, чтобы представить себе, как все это произойдет. А произойдет ли вообще что-то? Пока я дремал в самолете, моя измена предстала передо мной во всей своей необозримой масштабности. Я не мог думать о ней просто как о любовной интрижке, случившейся в Ист-Виллидже в минувшие три недели, хотя теперь я уже сидел в самолете на многокилометровой высоте над уровнем моря и был вновь в полном одиночестве. Мне следовало бы рассматривать этот воздушный коридор над Атлантическим океаном как шлюз, который элегантно и безболезненно отделит меня от моей тайны и сомкнется за моей спиной. Мне ведь хорошо было известно, что подобные амурные интрижки — дело обычное, особенно когда человек входит в пору зрелости и ему остается лишь посмеиваться над наивностью своей юности, как обычно посмеиваются над своими старыми фотографиями, на которых выглядишь таким простодушным, с мягкими щечками, одетый в костюм, давно вышедший из моды. Я хорошо представлял себе, что это должна

быть всего-навсего безобидная «прогулка налево» без последствий, и нет никаких оснований для того, чтобы каяться и отягощать жизнь Астрид совершенно ненужными страданиями. Но представление о моем собственном молчании было не менее мучительным, чем представление о реакции Астрид в ответ на мой рассказ о том, что случилось в Нью-Йорке. До этих трех недель я был тем, кем стал за все эти годы совместной жизни с Астрид, но я был тем, кем был, именно потому, что думал, что она знает обо мне все, что ей следует знать. Я никогда не хотел иметь от нее секретов; напротив, меня даже страшила всегда мысль о том, что может быть нечто, чего я не рассказал или не продемонстрировал ей, нечто, чего она не видит или не подозревает. Я мог верить в ее любовь, лишь полагаясь на то, что она любит меня вопреки всему, что обо мне знает, вопреки моим ошибкам и слабостям. Когда я десять лет назад поцеловал ее зимним вечером у себя на кухне, поцеловал, можно сказать, совершенно чужую девушку, которую посадил в такси, а потом дал приют в своем доме только по доброте душевной, и когда она несколько месяцев спустя сообщила мне, что беременна, а я легкомысленно ответил «Почему бы и нет?», то невольно ухватился за

шанс избежать одиночества и стать кем-то в этом мире вместе с ней, в ее глазах и во всем, что мы делали вдвоем. Когда Инес покинула меня, я словно стал жертвой проклятья, которое сделало меня невидимкой. Все случилось не так, как я думал в те часы, когда лежал на покрытом пледом диване в идиллических развалинах моей юности среди груд битого кирпича и следил за птицами, летающими под потолком, мечтая о том, чтобы быть никем. И все же так не произошло, не произошло того, о чем я думал в своем детском высокомерии и о чем говорилось в стишке, который я заучил наизусть: «До чего тоскливо быть кем-то, открытым всему миру наподобие лягушки». Инес, напротив, самым жестоким образом наказала меня за мою несчастную страсть и превратила меня в уродливую жабу, покрывшуюся слизью и зеленой плесенью от одиночества, и лишь когда Астрид поцеловала меня, я снова стал человеком, как и все другие, но не первым попавшимся, потому что я стал именно тем человеком, которого она встретила совершенно случайно, но который между тем показался ей лучше многих других, и я тут же решил, между двумя короткими мгновениями, без долгих раздумий и, в сущности, совершенно легкомысленно, что именно тем

человеком я и стану, тем человеком, которого она своим взглядом вызвала из небытия. И таким образом я захлопнул дверь в потаенную комнату внутри себя. Так размышлял я на борту самолета, а между тем тьма над Атлантическим океаном сгущалась с неестественной быстротой. Вот так-то я и повернулся спиной к моим заросшим растительностью руинам, где я больше всего был самим собой, потому что мне оказалось достаточно мышей и бродячих котов и не требовались ничьи чужие глаза, чтобы удерживать меня в этом мире, не давая исчезнуть. Наблюдая, как небо в иллюминаторе становится темно-синим поверх облаков, я думал, что избежал участи невидимки, но избежал я ее лишь для того, чтобы исчезнуть для самого себя, затерявшись в водовороте видимого мира, состоящего из лиц и форм, где существовало множество способов исчезнуть в лабиринте расходящихся дельт случайностей.

Самолет приземлился в Копенгагене ранним утром. В доме уже никого не было, когда я отпер дверь своей квартиры. На кухонном столе лежала записка от Астрид. Она оставила для меня поднос с кофе и булочками, а Роза приготовила рисунок. Он изображал меня в виде человека в пестром пиджаке, стоящего с улыбкой на лице

среди небоскребов, которые были лишь на пол головы выше его самого. На крыше столь неумело изображенного ею Эмпайр-стейт-билдинга стоял шимпанзе в плавках в крапинку. Обезьянка также была уморительно смешна, а под мышкой она держала нечто, похожее на куклу Барби с длинными волнистыми волосами. Я лег в постель и проспал весь день. Когда я проснулся, солнце уже зашло. Просыпаясь, я ощутил ручку Розы, которая гладила мои заросшие щетиной щеки, и услышал, как Астрид шепотом зовет ее. Я открыл глаза и увидел, как они мелькнули в дверях, полуоткрытых в затемненную сумерками спальню, и потом исчезли из виду. Я еще немного полежал, прислушиваясь к их отдаленным голосам, к скрипу тормозов, к звукам американского фильма, который Симон смотрел по видику в комнате рядом. Я сам ощущал себя так, словно лежу и смотрю фильм, который лишь на время был остановлен, а теперь снова закрутился, с теми же актерами, с тем же сюжетом.

Я посмотрел на зеленые светящиеся стрелки будильника. В Нью-Йорке была половина первого; быть может, Элизабет стояла перед мольбертом и работала над той картиной, которую, как я видел, она начала несколько дней назад. А может

быть, как раз в эту минуту она идет по Первой авеню широким, быстрым шагом под солнцем и ветром, который развевает ее волосы, словно светящийся, сияющий флаг. Я встал и вышел к Симону в гостиную. Мальчик рассеянно посмотрел на меня, погруженный в просмотр фильма, а потом встал и обнял меня чуть смущенно, как бы чувствуя, что он, собственно, уже слишком взрослый для подобных нежностей. Он спросил, как прошла командировка. На экране позади него человек висел в воздухе над Манхэттеном и цеплялся за край кабины вертолета с отчаянным выражением лица, а другой человек в это время бил каблуком по побелевшим костяшкам его пальцев. Хорошо, ответил я и предложил ему досмотреть фильм. Он, извиняясь, улыбнулся и заметил, что там как раз самый захватывающий эпизод. Я улыбнулся ему в ответ и пошел к другим членам моей семьи. Когда Роза услышала мои шаги, она помчалась по коридору и повисла на мне, обняв так, что я едва удержался на ногах. Я поцеловал ее и внес в кухню, где Астрид стояла, чистя картошку. Она продолжала стоять и улыбнулась нам, не выпуская из рук картофелечистки. Я опустил Розу на пол и обнял Астрид. Она, как я мог заметить, немного похудела, но была красива,

как всегда, ни о чем не подозревала, но смотрела на меня так, словно видела все, что нужно было видеть. Все было так, как бывало обычно, когда я приезжал домой из поездки. Я рассказал о своем пребывании в Америке и вручил небольшие подарки, которые не забыл купить. Вечером, когда мы с Астрид легли в постель меня удивило, что она ничего не замечает, и я любил ее в эту ночь чуть жестко и нетерпеливо, словно мог укрыться за своей горячностью, словно хотел преодолеть что-то с внезапной яростью, словно хотел наказать ее за ее неведенье, наказать за мое собственное преступление. Позже она сказала, что давно уже не было так хорошо. Я поцеловал ее веки, она приоткрыла свои ленивые, узкие глаза, скривила губы в иронической усмешке и заметила, что готова пожелать, чтобы я почаще ездил в командировки, а потом, по возвращении, любил бы ее так, как сегодня ночью.

Я лежал без сна в темноте рядом с нею, после того как мы давно уже потушили свет. Много часов лежал я так, прислушиваясь к ее дыханию и к шуму редких автомобилей, проезжавших по набережной. Я думал о смущении Симона, который сидел на диване, смотря леденящий душу боевик, о счастливом визге Розы, когда она бро-

силась мне навстречу и повисла на мне. Я думал о взгляде Астрид, стоящей на кухне, в ту минуту, когда она обернулась ко мне, словно убеждаясь в том, что мое лицо, возвратившись к ней, обретает хорошо знакомые ей черты. И я думал об Элизабет, которая теперь наверняка сидит за столом и ест поставленное на поднос суши, заказанное в японском ресторане на авеню А, а кошка наблюдает за ней холодными, безучастными глазами. Что было в ней такого эпохального для меня? Может быть, серьезность в ее мрачноватом голосе? Или роскошные, буйные волосы и лихорадочная, порывистая манера любить? А может, нарочитое равнодушие к своей внешности и к пыли, въевшейся в стены аскетического жилища, поскольку она была самозабвенно погружена в свою живопись? Или наша общая любовь к Марку Ротко и Моррису Луису, ее интуитивная, непостижимая способность понимать все, что я хотел сказать и о них, и вообще обо всем, о чем мы говорили, потому что каждый из нас думал и чувствовал одинаково? Быть может, это была та удивительная, абсолютно чистая, не искаженная шумом долгота волны, по которой мы безошибочно нашли друг друга, потому что годами посылали сигналы на одной и той же частоте, не подозре-

вая об этом? Или же она просто была внешним, случайным поводом, который заставил меня открыть глаза на то, что я годами игнорировал, заставил ответить на вопрос, который я так долго оставлял без ответа, поглощенный летучим, пенящимся вихревым потоком дней? Тот вопрос, который Инес поселила во мне, когда она пару лет назад поцеловала меня на прощанье на площади Альма и исчезла в метро, снова исчезла из поля моего зрения. Тот неприятный вопрос, который угнездился во мне, несмотря на то, что я ответил на него столь браво, с почти наставительным спокойствием, исполненный зрелой приобретенной жизненным опытом мудрости. Был ли я счастлив? Или это все же было не более чем утешающее возмещение, это будничное счастье, которое способно было выносить и свет дня, и ежедневные заботы, это терпеливое и скромное, зиждящееся на обывательских радостях счастье, которое можно и стирать, и гладить? Может быть, на пути этих лет я все-таки свернул не туда. Может быть, я немного поспешил, немного поторопился открыть садовую калитку, когда ответил на неожиданное появление Астрид моим игривым, легкомысленным: «А почему бы и нет?» Был ли он предательством самого себя,

этот двусмысленный ответ, когда Астрид предложила мне ребенка и предложила тем самым придать смысл моей молодой, беспокойной и безрадостной жизни? Быть может, я ухватился за нее просто из трусости, когда она появилась в моем одиночестве, в разгар сочувствия к самому себе, которое сделало меня столь податливым? Была ли сама она счастлива или я лишь отнял у нее время? Любил ли я ее или мне так просто казалось? Оставила ли Инес внутри меня пустое пространство, куда Астрид никогда не было доступа, потому что я запер дверь и выбросил ключ? Неужто я и в самом деле думал, что таким образом смогу ослабить собственную безутешность и забыться в моей новой жизни с ее беспокойными заботами, близкими сердцу обязанностями и мурлыкающей, ежедневно-будничной нежностью? Возможно, именно туда, в пустоту внутри меня, внезапно проникла Элизабет через потайную дверь, скрытую за порванным, покрытым плесенью ковром? Дверь, которая была настолько потайной, что ей удалось скрыть свое существование от меня самого…

На другой день мне показалось, что Астрид все же разоблачила меня. Когда я утром проснулся и вошел в ванную, она стояла там, сортируя

грязное белье. Чистя зубы, я видел ее в зеркале и заметил, что она снимает белый кошачий волос с одной из моих рубашек. Кошка Элизабет оставила поразительно много волос на моей одежде, которую я по легкомыслию клал и разбрасывал где попало в квартирке. Полоща рот, я рассказал Астрид, что кошка ливанского кардиохирурга была около меня, когда я сидел у себя в комнате и писал. Она, должно быть, чувствовала себя одинокой, как и я, когда ее хозяин предпочитал ночевать у своей подруги на Лонг-Айленде, и, можно сказать, переселилась ко мне в комнату для гостей. Излагая все эти выдумки, с остатками пасты в уголках рта, я внутренне поразился, до чего же правдоподобно я лгал и до чего легко было лгать, пока я удерживал своим внутренним взором видение — белую кошку, лежавшую, греясь на солнышке, на окне, выходящем на Орэндж-стрит. Астрид улыбнулась и сказала, что не подозревала о моей любви к кошкам. И это была правда. Я много раз протестовал, когда Роза умоляла позволить ей завести котенка, потому что слишком ясно мог представить себе, чем это кончится: я знал, что мне придется менять ему песок и выбрасывать его твердые, вонючие какашки. Но эта кошка была очень симпатичная,

сказал я, и тут же представил себе кошку, которая расхаживает по старому огромному дому в Бруклине или сидит на подоконнике и смотрит на меня, пока я строчу свою работу, неприступный и непонятный ей. По мере того как шли дни, становилось все легче овладевать своим умолчанием. Фильм продолжался, и я вернулся к своей привычной роли. Я ведь знал все реплики наизусть, знал точно, что и когда от меня ожидалось. Кроме того, характерными особенностями моей роли всегда были некоторая отвлеченность или даже рассеянность; Астрид находила это очаровательным и только поддразнивала меня с лаской в голосе. Теперь же я невольно спрашивал себя, была ли это сконцентрированность на моей работе или доселе неизвестное мне смущение перед Астрид, которые с годами стали причиной моей все растущей рассеянности. Я всегда имел в запасе предлог, то есть мою книгу, чтобы оправдать свою отвлеченность, укрывался в своей комнате и в последующие недели написал на удивление много. Когда же я не был занят работой, то выполнял свои домашние обязанности, а по вечерам был, можно сказать, еще более внимателен и близок к детям — быть может, в попытке успокоить свою нечистую совесть. Лишь когда

я оставался наедине с Астрид, в моей нежности появилась некоторая отдаленность и условность, но она привыкла к тому, что в те периоды, когда я особенно интенсивно работал, то бывал именно таким, подобно тому, как она видела симптомы угрызений совести, когда я чересчур заласкивал детей, боясь, как всегда, что моя зацикленность на работе заставляет меня пренебрегать ими.

Для Астрид моя интеллектуальная жизнь с самого начала была запретной зоной, в которую она и мечтать не могла проникнуть. Было ли это из уважения, из нежелания помешать мне, когда я сидел в моем кабинете с окном на озеро, склонившись над рукописью, или оттого, что мои писания, возможно, ее не особенно интересовали? Меня никогда не оскорбляло то, что она не интересуется тем, что́ я пишу; напротив. Встречаясь с ней, я чувствовал, что она как раз освобождает меня от моих привычек погруженного в размышления индивидуалиста. Ее ленивые, уверенные движения, кривая усмешка и лукавые узкие глаза спасали меня от себя самого. Она втягивала меня в сферу беззаботной легкости, и даже самые серые дни никогда не были неприятными или пронизанными холодом в их неизбежной тривиальности. Вместе с нею будни

со всеми своими необходимо повторяющимися делами превращались в легкое, вибрирующее беспокойство, которое вращалось, приводимое в движение существующей между нами теплотой. Я никогда не ожидал, что она может помешать мне во время уединенных часов работы. Казалось, точно она, держась в отдалении, все же оставалась противовесом для моих абстракций, чтобы помешать мне полностью потерять из виду окружающий мир. Мое интеллектуальное одиночество как бы было, странным образом, ценой, которую я платил за то, чтобы не быть одиноким. Поэтому я никогда не думал о ней во время работы, тогда как Элизабет постоянно была в моих мыслях, пока я заканчивал книгу. Думать об Элизабет и писать о нью-йоркской школе было одно и то же, и не только потому, что она думала так же, как я, а еще и потому, что я впервые за много лет снова стал мечтать о том, чтобы жизнь и работа слились воедино в непрерывном движении. Я ведь убедился в том, что это возможно, когда пребывал в летучем мыльном пузыре, в котором мы с нею проводили дни в Ист-Виллидже. Тонкая пленка мыльного пузыря лопнула, но я не мог забыть его сверкания и игры красок, не мог не задумываться о том, что, может быть, есть

возможность надуть еще один мыльный пузырь, который, глядишь, и удержится в воздухе. Бывают сны, настолько детальные и правдоподобные, что человек продолжает видеть их уже наяву, уже проснувшись. Я постоянно мысленно возвращался к ее словам, когда она раз-другой намекала, что подумывает о возвращении в Копенгаген, и все чаще предавался идиллическим фантазиям о том, что мы живем вместе, где-нибудь на другом конце города, что она рисует, а я тем временем пишу, и что она познакомится с Розой и Симоном. Все было просто замечательно, и Астрид всегда очень удобно исчезала из поля зрения, когда я таким образом предавался своим безнадежным галлюцинациям.

Даже до встречи с Элизабет, когда я жил у ливанского кардиохирурга, мне было трудно представить себе Астрид. Я видел хорошо знакомые ситуации в различные моменты дня, одни и те же изо дня в день, а она оставалась неясным силуэтом; а когда я пытался вызвать к жизни и увидеть перед глазами ее отчетливый образ, всегда возникал один из тех статичных, выставленных на обозрение, слишком надменных портретов, которые скрывают больше, чем обнажают. Мое воспоминание о ней не было

воспоминанием о четко ограниченных, застывших мгновениях, оторванных от мерцающего, непрерывного потока времени, потому что она постоянно была там, в том времени, которое мы проводили вместе. Я не мог разглядеть ее, потому что она была повсюду. Воспоминания о ее лице невозможно было выделить в четкие, неподвижные изображения и отделить от моего неясного воспоминания о самом времени, которое продолжало свое движение сквозь годы, времени, когда контуры часов и дней сливались в мерцающем тумане спешки, с которой происходило все вокруг нас и с нами самими. Элизабет же я, напротив, мог видеть совершенно отчетливо, по мере того как шли недели. С того момента, как мы попрощались в аэропорту Дж. Кеннеди, ее образ становился лишь отчетливее. Она сидела, закрыв глаза, подставив лицо солнцу, за столиком на тротуаре перед кафе на Томпкинс-сквер, а сигарета между губами создавала каллиграфические изменчивые контуры синего дымка, и прозрачная его тень покрывала тонкой завесой ее спокойное, освещенное солнцем лицо. Элизабет стояла перед своим мольбертом при свете, падающем сзади и придающем краскам на полотне металлический отблеск, сама образуя

лишь серый силуэт с волосами, собранными небрежно в пучок со свисающими локонами, голоногая, с полосками зеленого хрома и красного кармазина на бедрах. Она сидела, скрестив ноги, на полу перед открытым окном, освещенная лучом солнца, погруженная в страницы моей рукописи, которую положила перед собой, поедая йогурт, полностью поглощенная чтением так, что забыла вытереть полоски лакомства, которые белели на ее верхней губе и в уголках рта, словно застывшая, неизгладимая улыбка. Я видел ее так ясно своим внутренним взором, устремив взгляд на свежие зеленые побеги на деревьях, растущих по берегам озера под моим окном. Две недели спустя я не выдержал и, поддавшись искушению, позвонил Элизабет днем, до того как Симон и Роза вернулись из школы. Голос у нее был глуховатый от сна — в Нью-Йорке было только семь часов утра. Я спросил, чем она занимается. Она сказала, что лежит с кошкой на животе, а кошка смотрит на голубя, который сидит снаружи на карнизе. Я сказал, что скучаю по ней. Она ответила, что тоже скучает. Слова были будто препятствие между нами, они не связывали нас друг с другом, а, казалось, лишь затрудняли мое стремление дотянуться до нее. Она рассказала,

что заключила договор насчет своей выставки в галерее, находящейся в здешнем квартале. Я рассказал о своей книге. Все это было так бледно по сравнению с тем, что я думал, после того как мы расстались. Она спросила, как я чувствую себя дома. Я сказал, что мне тяжело и я много думаю о ней. Она тоже обо мне думает. Может быть, с ее стороны это были не более чем слова? Я сказал, что приеду в Нью-Йорк, не знаю точно когда, но обязательно приеду. В трубке стало тихо, наступила долгая, пересылаемая спутником тишина, слабо шелестящая, такая, какой ее представляли себе в космосе. Я повторил, что соскучится по ней, больше для того, чтобы чем-то заполнить эту шелестящую тишину, убить ее, распространяющуюся между нами через весь Атлантический океан. Вскоре мы положили трубки.

Лишь когда Астрид уехала, я стал видеть ее так же ясно, как видел Элизабет в тот раз, когда вернулся домой из Нью-Йорка. Я увидел ее в ясно очерченных, спокойных обозримых картинах. Теперь у меня только эти картины и остались, и я все смотрю на них, боясь, что они тоже исчезнут. Но чем отчетливее вижу их, тем более непостижимыми они становятся. Ее история все-таки не та же, что моя. Абрис моей истории скрывает ту,

которую Астрид могла бы рассказать мне, если бы она не уехала, а я рассказываю только свою собственную, потому что Астрид здесь нет, и чем больше проходит времени, тем больше оно отдаляет ее от меня. И все же я должен рассказать, если хочу достигнуть того пункта, где мои слова умолкают, той границы, где они должны отступить перед расстоянием между мной и той Астрид, которая выступает в моем эгоцентрическом повествовании и той, которая скрывается за моими представлениями о ней. Астрид, которая стоит на балконе летним утром и смотрит вниз на кроны деревьев и озеро задумчивым взглядом, точно размышляя над собственной жизнью. Астрид, которая стоит в пальто в дверях спальни и молча смотрит на меня, за несколько секунд до того, как повернется и исчезнет из виду. Астрид, которая стоит, улыбаясь, на фоне Лиссабона на одном из паромов, курсирующих через Касильяш, в окружении сверкающей, бурлящей речной пены. Ее непроницаемые глаза и ее белозубая улыбка на фоне крошечных домиков, высящихся друг над другом на черных склонах Байру-Алту и Алфамы, ослепительно белых в свете предвечернего закатного солнца.

8

Мы проводили лето у моря: Астрид, дети и я. Пока я был в Нью-Йорке, она договорилась о том, чтобы снять дом, тот самый, в котором мы отдыхали в первое лето нашей совместной жизни, когда она ждала Розу и где проводили летние каникулы много раз после этого. Когда-то это была низенькая, крытая соломой рыбацкая хижина, но приблизительно в начале века к ней был пристроен домик в два этажа, который вмещал многие поколения курортников в своих многочисленных небольших комнатках с обшарпанными обоями, скрипучими кроватями и полами, которые всегда слегка потрескивали от набившегося в половицы песка, с мебелью, накапливавшейся в течение нескольких поколений, так что помещение, казалось, не принадлежало ни к какому определенному времени, так же как и море перед окнами под откосом. Я делал все что мог, чтобы казаться преисполненным энтузиазма. Когда я стоял среди кустов шиповника на лестнице, ведущей к морю, и смотрел на пустынную, однообразную морскую гладь, мне

казалось, что время течет медленнее, чем в те годы, когда я сидел без сна, после того как Астрид увезла «скорая помощь». Она тогда чуть не потеряла Розу, вернее, то, что стало потом Розой, долговязой десятилетней девочкой с загорелыми ногами и обесцвеченными солнцем косичками, которая носилась теперь по берегу и швырялась медузами в старшего брата, а потом визжала пронзительно и притворно, когда он бросал их в ее сторону. Здесь я сидел на лестнице между пахучими кустами шиповника, смотрел на темные буруны волн, закуривая одну сигарету за другой, и говорил с Астрид, словно она могла меня слышать, находясь в госпитале. Как будто это могло чему-нибудь помочь, я бормотал сквозь стиснутые зубы бесконечное количество раз одно и то же короткое слово: «Держись! Держись!» А теперь был готов бросить все. Я постоянно думал об Элизабет, и мне приходилось делать вид, что у меня не ладится с книгой о художниках нью-йоркской школы и объяснять Астрид, что именно поэтому я часто бываю рассеянным и раздражительным. На самом же деле я уже много недель назад почти закончил книгу, и мне оставалось лишь написать короткую заключительную главу, а затем заново просмотреть набранную рукопись. Но я все

тянул с этим и часами сидел, склонившись над перепечатанными начисто страницами, сперва перед окном, выходящим на озеро, а позднее — за шатким туалетным столиком перед окном с видом на бессмысленную, невыносимо синеющую морскую гладь, пока другие плескались в воде или загорали на солнце. Я чувствовал себя ближе к Элизабет, когда писал о тех художниках, которых мы оба любили, так же как я чувствовал себя ближе к ней в Копенгагене, возможно, из-за того, что оттуда путь к аэропорту был короче.

Астрид за неделю стала загорелой и соблазнительной и, ложась вечером рядом со мной, пахла ветром и морской солью. Я же оставался белым, как скелет, и от меня исходил лишь запах многочисленных выкуренных сигарет и чересчур многих чашек выпитого черного кофе. Элизабет встала между нами и, судя по всему, не собиралась никуда исчезать. Лишь призвав на помощь всю свою способность сконцентрироваться, я мог отвечать на ласки Астрид ночью и время от времени скрепя сердце совершать обычный супружеский ритуал, чтобы не вызывать ее подозрений. Но это было излишне. Она не могла и подумать ни о чем другом, кроме того, что, как всегда, лишь моя работа отдаляет меня от нее.

Даже пыталась утешить и подбодрить меня, что, разумеется, делало меня еще более брюзгливым. В те моменты, когда я не думал об Элизабет, я впервые за годы нашей совместной жизни с Астрид задумался над тем, что она совершенно не разбирается в том, чем я занимаюсь. Она не только не имела понятия о моей измене; она вообще была, можно сказать, в совершенном неведении о мире, в котором я пребывал половину своей жизни, тогда как я, напротив, часто говорил с ней о фильмах, которые она монтировала, и доказывал ей, что режиссеры, перед которыми она преклонялась, создают композиции своих фильмов под влиянием живописи. Внезапно мне стало ясно, что мы жили не вместе, а рядом друг с другом, каждый в своем мире, с детьми, которые были нашим связующим звеном. Неужто теперь я должен оставаться с нею только ради них? В моем представлении это означало бы, что я все больше покоряюсь судьбе, с тем чтобы в конце концов полностью замкнуться в своем мире, в своих картинах, и мало-помалу только рисунок повторений, который связывал нас, все еще мог вернуть меня обратно в нашу совместную жизнь, а не она сама, не стремление дотянуться до нее, не внезапная нежность или вновь вспыхивающая

страсть, то есть все то, что прежде двигало конфигурацией нашей жизни. Неужто нам предстоит стать всего лишь друзьями? Разве сможет Астрид принять это и продолжать жить с человеком, который влюблен в другую женщину?

Но тут мне пришлось сделать паузу в своей мысленной оправдательной речи. А действительно ли я люблю Элизабет? Или, может быть, она стала лишь навязчивой мыслью? Возможно, за моим фиглярством скрывается просто-напросто томление по чему-то иному, по иной жизни, по новым начинаниям? Я видел ее перед собою греющейся на солнышке на Томпкинс-сквер, стоящей перед мольбертом или склонившейся над листами моей рукописи с остатками йогурта на верхней губе; она виделась мне совершенно ясно, но оставалась загадочной. Это видение отзывалось во мне чем-то напоминающим боль, но не отвечало на мой вопрос, и я знал, что есть только один способ ответить на него. Пару раз после моего возвращения домой я намекал на то, что мне, возможно, придется вновь съездить в Нью-Йорк на неделю-другую, чтобы дополнить свои исследования, и моя меланхоличность, моя брюзгливая неприступность лишь тогда начали ослабевать, когда Астрид сама предложила

мне поехать снова, раз уж мне там так хорошо работалось и к тому же у меня там был прямой доступ к картинам тех художников, о которых я писал. Она и впрямь так сказала, и я ненавидел сам себя, когда целовал ее, ненавидел себя, потому что моя благодарность была неотделима от молчаливого, снисходительного презрения, которое скрывалось за моей улыбкой. Но, быть может, Астрид и не была столь доверчивой, как я воображал; быть может, она все-таки почувствовала, что со мной происходит. Быть может, ее неожиданное великодушное предложение было не более чем еще одним проявлением ее почти аристократического достоинства, которым все вокруг восхищались и которое заставляло наиболее наглых выскочек из круга наших знакомых стушевываться когда она со своей неизменно любезной улыбкой ставила заслон их интимным ужимкам или болтливости в стремлении вывести ее из себя и разрушить ее холодноватую неприступность. Быть может, она уже все продумала и решила для себя, что скорее отпустит меня на свободу, чем унизится до того, чтобы силой удерживать мужа, любовь которого утратила. Может статься, думал я, сидя в своей тенистой комнате с видом на море и на ослепительный

летний день, что она сама заметила растущую во мне усталость, отдалявшую нас друг от друга, изнеможение, которое я испытывал от бесконечно повторяющихся дней, от того, что больше не нахожусь на пути в какое-либо определенное место, а лишь на пути к будущему, которое теперь уже не столь непредсказуемо, каким оно было когда-то. Быть может, она ожидала с предательской пассивностью, чтобы первый шаг сделал я. В том состоянии, в котором я находился, мысль о какой-то перспективе подействовала на меня настолько ободряюще, что я стал обсасывать ее, как обсасывают леденец, пока он окончательно не исчезнет во рту, растворенный слюной, оставив после себя ощущение липкости, сладости и некоторой неловкости. Однажды днем, когда остальные были на пляже я снова позвонил Элизабет. Я много раз собирался сделать это, но ничего не получалось. То Симон или Роза как раз в эту минуту врывались в комнату, а иной раз и сам я не мог в последний момент набраться храбрости. Слишком тяжело и слишком значительно стало теперь звонить ей в сравнении с легкостью и непринужденностью, с какими мы с ней говорили обо всем, что придет в голову, в течение тех трех недель, что провели вместе. У

меня пресеклось дыхание, когда я услышал ее низкий, мрачноватый голос с безукоризненным нью-йоркским произношением. Я готов был уже начать разговор, когда до меня дошло, что слышу не ее, а автоответчик. Она сообщала, что уехала и будет отсутствовать до конца августа. Сидя с прижатой к уху трубкой, я слушал ее голос и вдруг среди кустов шиповника увидел Астрид. Нагая и загорелая под распахнувшимся пляжным халатом, она шла, размахивая, как ребенок, мокрым купальником, так что вокруг нее образовалось облачко из сверкающих водяных капель. Проходя мимо кустов шиповника, она задела их слегка, и листья отозвались легким трепетанием. Она не замечала меня, шла с опущенной головой мимо низеньких окошек гостиной, погруженная в какие-то свои, неизвестные мне мысли. Крупинки влажного песка прилепились к ее ступням и лодыжкам, а ее красивые груди чуть колыхались в такт ходьбе, более белые, чем покрытые загаром лицо и ноги. Почему я не вышел ей навстречу? Почему не увел в самую дальнюю комнату дома в этот тихий час, когда дети носились по пляжу? Почему я не выкинул из головы эту безнадежную любовную историю, а сидел, прижав к уху трубку, слушая обращение, которое Элизабет наверняка

оставила на автоответчике много недель назад, адресуя его всем и каждому? Она ничего не сказала мне о том, что собирается уехать. Но возможно, приняла решение в последний момент; она ведь была свободна и независима, и ей ничто не мешало принять любое решение. Уехала ли она одна или с кем-нибудь? Я практически ничего не знал о ней или о тех людях, с которыми она была знакома. С кем-то она все-таки наверняка должна была видеться, и, возможно, я был не единственным мужчиной в ее жизни.

«В ее жизни». Эти слова внезапно показались мне несколько выспренними. Разве сам я не был всего-навсего мужчиной, с которым она провела пару недель минувшей весной? И, как говорится, где это сказано, что я должен быть для нее чем-то другим, чем-то большим? Я представил себе, что как раз в эту минуту она восседает на заднем сиденье мотоцикла, мчащегося по дороге через пустыню Мохаве, положив руки на бедра мотоциклиста, одного из тех юнцов художников в черных кожанках и узких солнцезащитных очках, которых я встречал в Ист-Виллидже. Они сидели, облокотившись на стойку бара с видом пресыщенных жизнью мужчин. А я в это время сижу здесь, и крытом соломой летнем домике,

респектабельный, изнывающий от тоски семьянин. Я даже не способен был видеть комизм ситуации и особую извращенность в том, что испытываю ревность в отношении женщины, с которой спал и предавался разврату за спиной собственной жены.

Спустя несколько дней я уехал в город, в издательство, чтобы встретиться там с редактором. Затем отправился посмотреть квартиру в старой части города. Я нашел объявление о том, что она сдается внаем. Владельцем ее оказался журналист с остатками пивной пены и капельками пота над верхней губой. Ему предстояло аккредитоваться в Москве нынешней осенью, пока что сроком на один год. Он хочет сдать квартиру с мебелью, пояснил он, показывая мне свое жилище. Он обладал невероятно дурным вкусом, но это даже каким-то образом ободрило меня, потому что его журнальные столики со столешницами из дымчатого стекла и кожаные диваны с обивкой коньячного цвета лишь прибавляли драматизма моей всесокрушающей и жестокой решимости. Если немного видоизменить это вульгарное убранство, то можно будет освободить место так, чтобы у каждого из нас, у меня и Элизабет, была бы своя комната, где мы

смогли бы работать. В «ее» комнате имелся даже французский балкон, выходящий на север, и если постараться, то его можно будет превратить в ателье художника. Я был сам поражен собственной самоуверенной предприимчивостью, слушая разглагольствования хозяина о расходах на отопление и особенных удобствах его жилья. Я вел себя так, словно Элизабет уже не только решила вернуться домой в Копенгаген, но даже согласилась съехаться со мной, хотя у меня отнюдь не было каких-либо оснований надеяться ни на то, ни на другое. Показывая мне ванную комнату, журналист с гордостью обращал мое внимание на то, как прекрасно гармонирует позолоченная арматура с темным кафелем и стульчаком красного дерева на унитазе; он вытер пот над верхней губой и взглянул на меня с игривым, понимающим блеском в глазах. Он словно приобрел надо мною некие права после того, как я увидел его жилище. Я, вероятно, собираюсь разводиться? Или мне просто понадобилось тайное любовное гнездышко? Он употребил именно это слово, после чего я на минуту потерял дар речи и мне подумалось, что обычно головы людей набиты на самом деле тем же, что и их квартиры. Я пробормотал что-то вроде того, что мне, дескать,

нужна квартира для работы, а дети выросли, и им требуется теперь больше места. Но он лишь удовлетворенно хрюкнул и заметил, что его, впрочем, это нисколько не касается. Мрачной выглядела не только его ванная — я вдруг ощутил мрак в душе. Он попросил у меня номер телефона, но я сказал, что меня не будет в городе до конца лета, так что лучше я потом позвоню сам. «Что ж, валяй», — хитровато улыбнулся журналист, и его наглый взгляд, выражавший бесцеремонное «между нами, мужчинами, говоря», впился в мою смущенную физиономию, когда он закрывал за мною дверь. Возвращаясь в северную часть города, я пытался убедить себя в том, что липкая улыбочка журналиста и его мрачный интерьер не могут смутить нас, что то, что возникло между мною и Элизабет, останется с нами, где бы мы не находились. Но, в сущности, как я себе это представляю? Как будет выглядеть наша новая жизнь? Разве может Элизабет стать Розе вместо матери, она, до того рассеянная, что забывает зашнуровать собственные туфли? Смогут ли они с Астрид стать «подругами»? И сможет ли она занять место Астрид на званых ужинах в кругу друзей? Немыслимо было представить ее, сидящей за столом в потертой кожаной куртке и

застиранной футболке и принимающей участие в светской беседе на вилле в северном предместье. Катя по шоссе в косом предвечернем свете, из-за которого автомобили отбрасывали длинные, спрессованные, искаженные тени на блестящий асфальт, я понял, что собираюсь отказаться не только от Астрид, но и от всей моей прежней жизни. И, быть может, не только мысль об Элизабет выводила меня из равновесия, но и сознание, что я должен буду отказаться от всего. Мысль о том, что я снова должен буду стать никем и оставить позади того человека, каким я был в глазах других, «поменять шкуру», подобно тому, как змея сбрасывает кожу. Мысль о том, что я снова смогу ощутить в порах воздух и вдохнуть в себя головокружительное ощущение, что все еще возможно и что мое существование между прошлым и будущим еще не окончено.

Был вечер накануне Ивана Купала. Я совершенно забыл, что Астрид пригласила на этот вечер гостей. Все они уже сидели с бокалами в руках перед домом за столом, вынесенным наружу и поставленным среди кустов шиповника, с видом на море. Гостями были инспектор музеев с женой и моя мать. При виде меня он приподнял бокал жизнерадостным жестом весельчака, а моя мать

издала радостный вопль, точно узрела самого рождественского Деда Мороза, явившегося с опозданием на полгода. Я обернулся и увидел Астрид, которая выходила из дома с подносом, уставленным всевозможными вкусными яствами. Она подставила мне щеку для поцелуя и бросила на меня понимающий взгляд, точно желая извиниться за неумеренно аффектированное, театральное приветствие моей матери. Она слегка улыбнулась, думая, что я уязвлен. Я поспешил засмеяться в ответ на ее мягкую иронию и сел за стол рядом с гостями. Солнце начало скрываться за горизонтом, на пляже людей почти не осталось, и тени уже легли на вмятины, оставленные на песке множеством голых пяток. Я увидел в воде две маленькие фигурки, совсем темные на фоне позолоченных летучих отблесков на горизонте. Спустя некоторое время они вышли из воды на берег. Это были Симон и Роза. Неужто я и в самом деле намереваюсь бросить их и веду себя так, словно не понимаю, что время начинать все сначала давно прошло? Минуло время открытых возможностей. Время начинать жизнь наступило не для меня, а для них, тех, что бежали к нам по берегу, а их маленькие мокрые тела блестели в лучах заходящего солнца. Разве я когда-нибудь

смогу найти слова, чтобы объяснить им, почему покинул их раньше времени? Раньше того времени, когда они сами покинут нас, чтобы найти свое место в жизни. Инспектор музеев предложил окунуться перед ужином, и я пошел в дом за плавками. Из окна я мог наблюдать за группкой перед домом. Симон и Роза стояли, обернув свои закоченевшие тела полотенцами, словно плащами, и что-то произносили посиневшими от холода губенками. С их волос стекала вода, а Астрид массировала им спины, между тем как моя мать наклонилась, чтобы лучше слышать то, что они говорят, с той демонстративно-педагогической миной, которая всегда появлялась на ее лице, когда она говорила с детьми, точно перед нею были два дебила. Астрид удивленно посмотрела на меня, увидев, что я вышел из дома в плавках, с небрежно наброшенным на плечи полотенцем. Она скривила губы, и в ее узких глазах появилась усмешка. «Смотри не простудись», — сказала она.

Вода и впрямь была довольно холодная. Инспектор музеев принадлежал к тем субъектам, которые используют «метод оптовиков», впервые отправляясь на загородную прогулку. Он собирал воду в пригоршни и растирал ею руки и живот и

лишь затем осторожно погрузил свое тощее тело в море. Сам же я любил тот захватывающий дух момент, когда вода обнимает мое тело, словно гигантская ледяная рука. Я быстро поплыл в сторону песчаной отмели, чтобы согреться, ослепленный блестящими водяными каплями, повисшими на ресницах. Он задыхался от напряжения, когда наконец нагнал меня. Мы откинулись назад и поплыли на спине, словно два владельца поместья, расположившиеся в шезлонгах в господском доме. «Встретил ли я интересных людей в Нью-Йорке?» — спросил он. Он не снял очков перед купанием, и теперь в них отражалось солнце, так что я не мог видеть его глаз. Я ответил, что большую часть времени провел в одиночестве. Он улыбнулся своей лисьей ухмылкой. Звонил ли я Элизабет? Я ответил, что мы вместе выпили кофе, и начал плыть в сторону мола на сваях и гигантских камней, обрамлявших небольшую бухту, откуда рыбаки когда-то затаскивали свои лодки на сушу. Я не обратил внимания на то, что он фамильярно назвал ее по имени. Он поплыл следом за мной. Прелестна, не правда ли? Я обернулся к нему и встал в воде во весь рост. Я отвечал ему, что да, очень мила, чересчур заботясь о том, чтобы слова мои прозвучали небрежно. И ты

прав, добавил я, она действительно талантлива. Я почувствовал, что сказал больше, чем нужно. Ага, стало быть, я видел ее картины? Солнце светило мне в спину, я был всего лишь силуэтом на фоне громадных камней, но он все же улыбнулся, словно мог видеть выражение моего лица. Он знал, что она как раз в моем вкусе. Что он хочет этим сказать? Он снова улыбнулся. Я могу не беспокоиться, все останется между нами, ведь мы друзья, не так ли? Я снова бросился в воду и поплыл, инспектор музеев поплыл следом и вскоре поравнялся со мной. Тут совершенно нечего смущаться, такой видный парень, как я, один в Нью-Йорке, так что совсем напротив. К тому же я не единственный, кто оценил ее талант. Он и сам когда-то имел удовольствие, как, впрочем, и многие другие. Насколько он знает, она мужиков любит. Я начал плыть к берегу. Я мог видеть остальных, которые сидели перед домом, но они были лишь небольшими, едва различимыми фигурками. Я видел широкополую соломенную шляпу матери, темные волосы Астрид, которая наклонилась вперед, наполняя стакан. Когда мы стояли на берегу, вытираясь, инспектор музеев дружески ткнул меня в плечо. Он рад, что я там так хорошо провел время. Он поднял очки к

небу и стал вытирать стекла полотенцем, а сам, щурясь, смотрел на меня своими близорукими глазами. Каждому может захотеться попробовать чего-нибудь иного.

Цветы на кустах шиповника походили на раскрашенные японские бумажные цветы в синем, как лаванда, воздухе, после того как солнце скрылось в глубине спокойного моря, которое отражало вечернее небо слабым зеленоватым отблеском на горизонте. За едой жена инспектора музеев расспрашивала меня о моей книге, и я непринужденно болтал о художниках нью-йоркской школы. Все, что я говорил, было поверхностно и условно, но она оживленно кивала, а я между тем слушал сам себя и спрашивал, неужто я ничего не вынес за последние месяцы работы, кроме этого набора вымученных клише? Подобно моей жене она не имела понятия о том, что вытворяет ее муж за ее спиной. Она тоже не знала, что в ее на первый взгляд столь гармоничной и удобно устроенной жизни, к которой она привыкла, есть потайные двери и люки. А на другом конце стола моя мать поверяла свои проблемы инспектору музеев, рассказывая о том, как она вынуждена была, прилагая невероятные усилия, бороться со скрытыми и болезненными сторонами своего

«я», готовя свою последнюю роль, а он наклонял свою плешивую голову с почтением, слушая ее и улыбаясь своей самой хитрой и масляной улыбкой, точно собирался соблазнить мою мамашу. Его пристальный взгляд заставлял ее рассказывать еще более проникновенно, с заламыванием рук, о том, как трудно быть художником сцены и каждый вечер обнажать тайники своей души перед публикой, сидящей в темноте зала. Астрид с Симоном и Розой ходили в дом и обратно, вынося оттуда новые блюда, и время от времени Астрид ловила мой взгляд и смотрела на меня любовно, точно радуясь тому, что я наконец-то снова вынырнул на поверхность после длительного периода замкнутости и раздражительности. Я искоса поглядывал на инспектора музеев, рассказывая его жене о разных этапах в творчестве Джэксона Поллока. И по сей день я не знаю, лгала ли мне Элизабет, отвечая на мой вопрос об ее отношениях с инспектором музеев. Если он сказал правду, когда мы плыли с ним в море на закате солнца, то, возможно, у этого отъявленного распутника были основания с полным правом положить руку на колено Астрид, когда он вез ее домой после званого ужина у наших общих друзей, а я в это время был в отъезде. Быть может,

он даже рассказал ей обо мне и Элизабет, как бы оправдывая свою вольность и объясняя, почему его рука вдруг оказалась на ее колене. В таком случае Астрид была настолько умна, что сумела скрыть свою осведомленность от меня. Вместе с тем в тот вечер на Ивана Купалу я был убежден в том, что лжет-то именно он. И даже если какая-то толика правды была в его дружеских откровениях, то они имели отношение к какому-нибудь кабаку или комнате для переодеваний, к чему угодно, но только не к моим воспоминаниям об Элизабет, о наших трех неделях в Ист-Виллидже, когда мы реяли в нашем прозрачном мыльном пузыре вне окружающего мира, занятые лишь друг другом и нашей работой. Даже если она и вправду провела ночь с инспектором музеев, как бы невероятно это ни звучало, это все равно не могло иметь для нее такого значения, как то время, которое она провела со мной. Или, точнее говоря, время, которое мы провели вместе, не могло значить столь мало. Так думал я, сидя за столом и машинально продолжая свой рассказ о Джексоне Поллоке и время от времени переводя взгляд то на плешивую макушку инспектора музеев, то на кроткие, доверчивые, коровьи глаза его жены, то на полное опустошительно-

го драматизма лицо моей матери, на котором любое выражение превращалось в гротескную карикатуру, словно она хотела убедить не только инспектора музеев, но и саму себя, что она на самом деле думает и чувствует именно так, как утверждает.

Позднее мы все пошли к костру, который был зажжен на берегу. Я шел, неся Розу на плечах, хотя она, собственно говоря, стала уже слишком большой и тяжелой для этого, а она цеплялась за мои волосы всякий раз, когда я спотыкался на скользком песке. Она торопила меня, языки пламени уже охватили юбку ведьмы, и я слышал, как Астрид и остальные захохотали за моей спиной, когда я припустил рысью к костру, а Роза на моих плечах завопила от восторга. На берегу толпилось множество людей, некоторые лица я узнавал, пробегая мимо. Это было все равно что прогуливаться в центре Копенгагена по Стрёгет субботним днем. Так думал я, пробираясь сквозь толпу, сквозь фигуры с темными лицами, в белых платьях и пиджаках, которые как бы светились, подобно полоскам пены в синей прозрачной полутьме, царившей над водой и пляжем. На расстоянии лица разглядеть было невозможно — они сливались с сосновыми деревьями в на-

саждениях за дюнами так что казалось, будто белые платья и костюмы двигались сами по себе, словно безголовые и безымянные, блуждающие, говорящие и смеющиеся призраки. Мы движемся по песку, подумал я и остановился в толпе, собравшейся вокруг костра. Пламя поднялось высоко в воздух, и его отблески стерли на первый взгляд все различия в венке из лиц, буровато-красных, словно обожженная глина, словно статуи китайских воинов, изображения которых я видел как-то в газете. Это были многочисленные глиняные статуи воинов в натуральную величину, извлеченные во время раскопок императорского захоронения, и каждая из них имела свои индивидуальные черты, но все же они были похожи из-за этого буровато-красного, однообразного оттенка. Я почувствовал руки Астрид на своих боках и услышал, как моя мать громко смеялась тому, о чем ей говорил инспектор музеев. Симон стоял по другую сторону костра и почтительно беседовал с седовласым человеком, который, как и я, держал на плечах маленькую девочку. Спустя мгновение я узнал его отца, кинорежиссера. Разумеется, он тоже был здесь, все были здесь в такую ночь, ночь на Ивана Купалу, и я не удивился бы, если бы узнал Инес и Элизабет среди

женщин в светлых летних платьях, которые, с буровато-красными лицами, стояли здесь, прикрыв глаза из-за жара, идущего от костра. Астрид сняла Розу у меня с плеч и сказала, что пойдет домой, чтобы уложить ее спать и поставить воду для кофе. Ей, наверное, не хотелось встречаться с кинорежиссером, который беседовал со своим сыном, пока маленькая дочь тянула его за волосы, а новая молодая жена стояла чуть позади и смущенно улыбалась. Неужто и я сам в такую же ночь на Ивана Купалу через несколько лет буду стоять, держа на плечах новое маленькое дитя, а Элизабет будет смущенно слушать, как я расспрашиваю Розу о ее школьных делах, чувствуя себя чуть неловко, чуть отчужденно оттого, что мы вот так случайно столкнулись друг с другом?

На следующий день небо заволокло тучами. Когда я проснулся, инспектор музеев и его жена уже уехали. Через окно я увидел мать, которая сидела перед домом и читала вслух Розе, прибегая к той дикции, с какой она читала текст на радио; и все же это выглядело так, словно она отдыхала, играя роль бабушки, сидя на скамье среди кустов шиповника с Розой на коленях и повязав свою крашеную голову вылинявшим платком, словно простая русская крестьянка. Астрид вышла с

Симоном во двор и спросила Розу, хочет ли она поехать с ними за покупками. Вскоре я увидел, как они все трое садятся в машину. Моя мать осталась сидеть на скамье с закрытой детской книжкой на коленях и устремила взгляд на море, такое же серое, как небо, серое и бутылочно-зеленое, с темными участками там, где песчаное дно было покрыто водорослями. Я уже не помнил, когда видел ее такой в последний раз — сидящей вот так, погруженной в себя, пассивной и неподвижной, с лицом обмякшим, отдыхающим, отмеченным разрушительными морщинами. Можно было еще видеть, как красива она была когда-то, но здесь, наедине с морем, когда она знала, что никто не видит ее, она не старалась отвлечь внимание от своих мешковатых, отяжелевших щек и от опустившихся уголков губ, тех самых губ, которые целовали так много мужчин и которые произносили слова, принадлежащие столь многим сочинителям. Я выпил на кухне чашку остывшего кофе и вышел к ней. Она неспешно улыбнулась при виде меня, но ничего не сказала. Я постоял немного, глядя на пустынный пляж и на усталые всплески сероватых волн под порывами берегового ветра. И тут она предложила мне прогуляться. Людей нигде не было видно, мы

шли вдоль самой воды, где песок был влажным и слипшимся, мимо мола и обугленных остатков сгоревшего костра и дальше — вдоль сосновых насаждений. Сначала мы шли, не нарушая тишины, властвующей в промежутках между глухими всплесками волн. Они достигали покатой поверхности песка и сразу же отступали назад, так что песок лишь на одно мгновение отражал серый свет, а затем, впитав в себя воду, снова становился тусклым и зернистым. Мы долго шли так в молчании, пока она наконец не посмотрела на меня.

В течение многих лет я снова и снова не мог надивиться тому, как эта пустая и тщеславная женщина могла видеть все насквозь. Ничто не могло укрыться от нее, и на сей раз я тоже не сумел этого. Ее голос звучал приглушенно и совершенно спокойно, почти нежно, без обычного драматизма, когда она спросила, не встретил ли я другую женщину. Пристыженный, я попытался отпереться. С чего она это взяла? Она улыбнулась, но без всякой язвительности. Я могу не говорить об этом, если не хочу. Я счел, что мне не стоит отнекиваться. Я сказал, что не знаю, как быть. Она ответила, что я ошибаюсь, что прекрасно знаю, как мне быть. Потому-то и тяну с окончательным решением. Что она имеет в

виду? Она взяла меня за руку и потянула слегка в сторону как раз в тот момент, когда волна едва не окатила мои башмаки. Она тоже долго тянула, продолжала мать, прежде чем порвать с моим отцом, хотя я, может быть, и не верил в это. Она хорошо знала, что я никогда не простил ей этого, и с самого начала знала, что с этим ей придется жить. Она знала, как ей быть, и потому тянула с решением. Потому что знала, что делать, и знала, какую цену ей придется платить за это. Это была патетическая реплика, но на сей раз в ее голосе не было никакой патетики. Она спросила, не хочу ли я рассказать ей об этой женщине. Я помолчал немного, главным образом потому, что не знал, с чего начать. А потом я рассказал ей о том, как встретил Элизабет, о той отчетливой, ясной долготе волны, которую мы сразу же нашли, словно годами жили и воспринимали мир на одной и той же частоте, даже не зная друг друга.

Я рассказал ей о картинах Элизабет, о проведенных нами вместе неделях в спартанской квартирке в Ист-Виллидже, как постепенно, с годами, во мне снова открылась раздвоенность, та самая прежняя раздвоенность, которая снова возникла, хотя я думал, что она уже давным-давно осталась позади. Прежняя раздвоенность, от

которой я избавился, встретившись с Элизабет. Впервые за много лет я почувствовал полностью свое присутствие во всем, что меня окружало. Моя мать лишь улыбалась, слушая меня, пока я снова не умолк, чувствуя, что мои слова были столь неубедительны, столь неточны и неполноценны в своей анонимности. Она взяла меня под руку, и мы снова пошли по берегу, среди дюн, среди сосновых насаждений, которые ветер пригибал к земле, превращая в согнутых, но стойких уродцев, искалеченных, но судорожно цепляющихся за жизнь. Глядя на эти изуродованные ветром сосенки, я никак не мог решить, нужно ли дивиться их уродству или поражаться стойкости, с какой они продолжали расти, несмотря ни на что. Мы больше не могли расслышать шума волн и слышали лишь время от времени вздохи ветра, шевелившего серовато-зеленые, жесткие и клейкие иглы сосен.

Но какова она сама? Задавая этот вопрос, моя мать смотрела на меня сурово, почти угрожающе. Я рассказал ей о контрасте между боттичеллиевскими волосами Элизабет и ее угловатым лицом и костлявым телом, о противоречии между аскетическим образом жизни и ее почти гипертрофированным ощущением красок и форм

предметов, будь то ржавая гайка, которую она подарила мне на улице в Сохо, или тыква, которую она купила у корейца, торговца овощами на авеню А, только для того, чтобы положить ее на свой стол, смотреть на нее или ощупывать своими длинными чуткими пальцами. Я рассказал, как она менялась от мгновения мгновению, как могла переходить от способности, холодной, последовательной и почти непреклонной способности мыслить абстрактно к своим внезапным, почти детским, неожиданным порывам, как, например, тогда, когда разбудила меня на рассвете, потому что хотела, чтобы мы пошли смотреть, как солнце встает над Бруклинским мостом. На самом деле я почти ничего не знал о ней, пояснил я, но мое чувство — не эротическое наваждение в обычном, банальном понимании этого слова. В сущности, ничего потрясающего не происходило в те минуты, когда мы судорожно и лихорадочно обладали друг другом на ее твердом матрасе. Если я не мог забыть ее, то это, скорее, потому, что когда я был с ней, все движения, места и вещи, свет и тени, все это пробуждало мою давнюю тоску о присутствии именно в том месте, где я находился, здесь и сейчас, в гуще жизни. Точно я пробудился после долгого сна,

чтобы обнаружить, что уже нахожусь там, где мечтал находиться. Я видел по удивленно поднятым бровям моей матери: даже ей кажется, что все это звучит несколько преувеличенно. У меня было такое ощущение, настаивал я, словно я пробудился рядом с Элизабет однажды утром и почувствовал что проспал десять лет, с того самого момента, когда Инес покинула меня, и я ухватился за первую случайно встретившуюся на моем пути девушку и поторопился связать с ней свою жизнь. Моя мать долго рассматривала меня, закуривая сигарету и выпуская дым из ноздрей. Я сказал, что здесь, на лесопосадках, нельзя курить из-за опасности пожара. Она чуть склонила голову набок и сбросила пепел на ржаво-красную хвою, устилавшую песчаную тропинку. Подумать только, неужто и вправду здесь нельзя курить! Потом она остановилась. А может быть, Элизабет тоже была первой попавшейся на моем пути после десяти лет брака и жизни с женой и детьми? Я должен это признать. В чем же тут разница? Быть может, тут всего лишь влияние времени? Времени и скуки? Она саркастически усмехнулась. Разве светлый ум Астрид и ее пленительное лицо не были в свое время столь же революционными, как теперь боттичеллиевские волосы Элизабет и

ее способность мыслить абстрактно? Я постоял немного, глядя на свои башмаки. В сущности, мы очень похожи друг на друга, продолжала мать, отшвыривая сигарету и с нарочитой тщательностью затаптывая тлеющий огонек. Потом покосилась на меня. Надеюсь, лесничий будет доволен? Мы пошли дальше среди искореженных сосенок, затем их сменил лиственный лес.

Может, я ей не поверю, но она знала, что это случится. Я слишком сложный человек для такой женщины, как Астрид. И не нужно думать, что она говорит это для того, чтобы умалить достоинства Астрид, которая и вправду восхитительная девушка. Напротив, она всегда опасалась, что я причиню ей зло. С самого детства я носил в себе мрак, который таил от окружающих и который стал лишь еще гуще с годами и был непреодолим не только для других, но и для меня самого. Это звучало как реплика из тех телевизионных пьес, из-за которых я сразу же выключал телевизор, как только моя мать появлялась на экране. Раньше она думала, что это по ее вине я искал прибежища в этом мраке, в котором пребывал до того долго, что не способен был видеть самого себя. Но со временем она поняла, что не ответственна за мою скрытную и непостижимую натуру, как

была не ответственна за то, что я унаследовал ее нос или глаза. Я должен простить, но она больше не может укорять себя за то, что ушла от моего отца. Если она правильно поняла меня, я сейчас колеблюсь и не знаю, принять ли мне решение, какое она сама приняла в свое время. И мне не следует рассчитывать на то, что эта Элизабет может облегчить мне его принятие. Для нее это, скорее, всего лишь любовное приключение, которое мы вместе с ней пережили во время моих коротких каникул, освободивших меня от однообразных будней семейной жизни. Она ведь меня знает, знает, что я всегда все воспринимаю более сложно, чем другие. Она тоже бросила моего отца не потому, что была влюблена в другого. Она ушла потому, что больше не могла притворяться. Эта столь интеллектуальная, непредсказуемая, аскетичная и чувственная Элизабет была не более чем поводом, таким же, как были для нее многочисленные романы, и рано или поздно я это пойму. Но она-то знает это хорошо, у нее была такая же проблема, как у меня, она тоже существовала, неся внутри мрак. Я, безусловно, этому не верю, она отлично знает, что я всегда презирал ее за манеры и ужимки примадонны, но это был ее способ держаться на плаву. Ей знаком этот

мрак, в котором я пребываю, точно слепой. Ей знакомо то же нетерпеливое ожидание того, что кто-то неизвестный, кто-то совершенно чужой откроет дверь, ведущую в этот мрак, впустит туда дневной свет и откроет ей, кто она на самом деле. Она ждала уже много лет, но такого человека — и она постепенно поняла это, — такого человека не существует. Надо самому выбираться на свет, во всяком случае время от времени, когда тьма внутри становится слишком густой и непроницаемой. Именно так она поступила, уйдя от моего скулящего остолопа отца, выбрав свободу со всеми ее издержками. И как раз это собираюсь сделать я, если, впрочем, у меня хватит мужества уйти от моей обольстительной красавицы жены, от моих прелестных деток и от моей удобной, приятной жизни, которая душит меня. Но это касается только меня, и она полагает, что нам едва ли стоит продолжать разговор на эту тему.

Я никогда раньше так не беседовал с моей матерью, и в последующие годы мы больше никогда так с ней не беседовали. Даже оставаясь одни, мы в разговоре никогда не касались «этой темы». Вышло так, как она предрекала и как сказал граф Монте Кристо в той главе, которую я тем же вечером читал Розе вслух: «Время и молчание —

лучшее оружие против всяческого зла». Когда мы вернулись в дом, у Астрид был уже готов завтрак, и моя мать реагировала на все столь же преувеличенно, как всегда. Жареная сельдь была не просто вкусна, но божественно вкусна, а Астрид никогда не выглядела столь пленительно, как в это лето. И вообще все было как никогда восхитительно, фантастически увлекательно, и так шла ее жизнь ко все новым, головокружительным вершинам. Мы были в совершенном изнеможении, когда мать через несколько дней вынуждена была вернуться к «своим репетициям», как она всегда говорила, словно режиссеры и другие актеры, затаив дыхание, не наблюдали, стараясь быть смиренными и благодарными свидетелями демонстрации ее таланта милостью Божьей. Когда я позднее вспоминал наш разговор в тот летний день на пляже и в лесу, я был поражен и тем, сколь многое она могла видеть насквозь, и тем, как мало она смогла из всего этого понять. Ее слова попали в цель, но я не мог отмахнуться от того, что произнесла их именно она. Настаивая на том, что мы похожи друг на друга, не пыталась ли она просто-напросто облегчить свою нечистую совесть, как бы делая меня своим соучастником? Может быть, думала что если я повторю ее давнее

преступление, то это оправдает ее в моих глазах? А иначе почему для нее было так важно, чтобы я бросил Астрид и детей? Она похвалялась тем, что сама ушла просто для того, чтобы уйти, а не ради какого-нибудь мужчины, и она вправду ушла не из-за одного, другого или третьего любовника. Тут она была права, она просто действовала в согласии со своей неугомонной натурой. После того как она покинула моего отца, у нее и двух недель не проходило без какого-нибудь жаждущего ее обожателя, которого она могла водить за нос или награждать своим теплом. Лишь когда возраст начал всерьез оставлять свои следы, она познала одиночество, и, быть может, это новое для нее чувство вынужденного одиночества попыталась выдать за нечто героическое, возымевшее обратное действие, когда она во время нашей прогулки говорила о себе, как о какой-нибудь Норе, героине Ибсена, которая покинула своего Хельмера исключительно из внутренней необходимости. С той лишь разницей, что в данном случае из дома был выставлен «Хельмер», между тем как «Нора» осталась жить в своем «кукольном доме» и превратила его в бордель. Если бы мы когда-нибудь снова вернулись к разговору о том, что происходило в Нью-Йорке той весной,

она наверняка раскритиковала бы меня за то, что я все-таки остался с Астрид. Посмеялась бы надо мной за то, что должна была воспринять как малодушие, но предпочла, так же как и я, чтобы время и молчание сами решили мою небольшую проблему. Впрочем, я думаю, что с годами она просто-напросто забыла, о чем мы говорили и о том, что мы когда-то вместе совершили эту прогулку по пляжу вдоль серого моря и по лесу с искореженными сосенками.

Лето шло своим чередом, и с каждой неделей мне все легче было скрывать мое внутреннее беспокойство. На первый взгляд все было как обычно. Астрид делала вид, что уверена в том, что именно мои «писания» иногда мучают меня и портят мне настроение. Она даже сама спрашивала меня, когда же я наконец поеду в Нью-Йорк, чтобы закончить мою книгу, и я отвечал, что самое удобное время для этого будет сентябрь, в августе там все-таки слишком жарко. Я научился жить со своим предательством и нейтрализовать гложущее меня чувство презрения к ней, которое постоянно манило меня и возникало где-то в глубине моего сознания, как соблазнительный предлог для освобождения от ощущения вины. Отвратительное, тайное презрение к ее довер-

чивости, которое заставляло меня относиться холодно к ее ласкам. Я боролся с ним, боролся, чтобы ощутить хотя бы прохладную, нейтральную нежность к ней во имя «того, что мы пережили вместе». Я попробовал защитить эту нежность от отягченной чувством вины страсти, когда любил ее, бурно, временами почти грубо, точно я силой хотел отогнать воспоминания о Элизабет на время, пусть даже всего на полчаса. И постепенно мне удалось разделить нечто во мне на два мира и избежать того, чтобы они соприкасались. Наверное, правду говорят, что привыкнуть можно ко всему. Быть может, мне помогло воспоминание о лицемерии, с которым моя мать сначала говорила о «светлом уме» Астрид и о том, что я слишком сложен для такой женщины, как она, а потом, спустя всего лишь четверть часа, когда мы вернулись домой, она обрушила на Астрид свои обычные фальшивые экзальтированные комплименты. Ее уничижительные замечания о жене заставили меня почти солидаризироваться с женщиной, которую я предал, и все последующие недели быть особенно внимательным к ней, временами просто нежным, точно она была опасно больна, сама не зная об этом. Я вставал рано утром и давал ей поспать подольше, плавал

и играл с детьми, пока она загорала на солнце, а в пасмурную погоду отправлялся с ними в лес кататься на велосипедах. Были моменты в течение дня, когда я обнаруживал, что совершенно забыл думать об Элизабет, и лишь вечерами, когда вокруг меня наступала тишина и я сидел одиноко на крыльце среди кустов шиповника и смотрел на море в вечных сумерках летней ночи, вдруг снова ощущал этот дом как чуждое мне место, к которому я не имею никакого отношения.

То же чувство подстерегало меня, когда я однажды поехал по каким-то делам в город и открыл дверь в нашу квартиру. Она стояла пустая уже больше месяца, и когда я ощутил затхлый пыльный запах, то подумал, что это не только место, которое мы покинули лишь на лето. Наша квартира уже походила на жилье, которое я покинул, чтобы больше сюда не возвращаться. Я набрал номер телефона Элизабет, пробегая заголовки на пожелтевшей газете, которую мы бросили в тот день, когда набили вещами автомобиль и уехали на дачу. На этот раз я не услышал автоответчика, но прошло долгое время и я уже собирался положить трубку, когда она наконец ответила. Чувствовалось, как Элизабет запыхалась. Она поднималась по лестнице, когда услышала зво-

нок. Она была рада слышать мой голос, боялась совсем забыть, как он звучит. Она вернулась из Мексики неделю назад, ездила по Юкатанскому полуострову совершенно одна, это было ужасно. Она лежала больная в грязном номере отеля с тараканами, огромными, как гусеницы, из нее текло со всех сторон, она страдала, и ей хотелось, чтобы я был здесь, она не думала, что когда-нибудь услышит обо мне снова. Я улыбнулся, вспомнив свои ревнивые фантазии о том, что она раскатывает по пустыне на мотоцикле с другим мужчиной. Она рассказала, что в Нью-Йорке так же жарко и влажно, как в Мексике, что не находит себе места, ничего не может делать и способна лишь лежать без единой нитки на теле и дышать при электрическом вентиляторе. Я увидел ее ясно перед собой, ее густую, буйную гриву волос, рассыпавшуюся на простыне, выступающие ребра под маленькими грудями, длинные белые ноги, блеклые, серые, бесстрашные глаза. И вдруг ощутил ее совсем близко, не только в мыслях, в воображении, но всю ее, ощутил отчетливо ее кожу и волосы. Я сказал, что мы скоро увидимся. Я собираюсь в Нью-Йорк? В голосе ее чувствовалась радость, но одновременно и удивление: она явно предполагала, что мы увидимся при других

обстоятельствах, когда счастливое совпадение неожиданно сделает возможной нашу встречу. Я сказал, что не могу без нее, что я много думал о случившемся между нами. Она тоже думала об этом, сказала она после паузы, сказала явно обдуманно. Когда я приеду? В сентябре, ответил я, где-то в сентябре. Я ничего не сказал о квартире, которую осматривал. Возможно, опасался напугать ее, а возможно, уже догадывался, что это всего лишь воздушный замок — эта квартира, воздушный замок с темным кафелем в ванной. Я еще не мог знать, была ли Элизабет лишь предлогом, лишь случайной незнакомкой, которая нечаянно открыла дверь во мрак внутри меня, как выразилась моя мать, так что свет внезапно проник туда и ослепил меня. Я должен был увидеть ее, чтобы понять это, подумал я, бормоча какие-то ненужные слова на прощанье. Как будто мог бы это сделать.

В сентябрьский вечер я снова приземлился в аэропорту Дж. Кеннеди. Я нигде не видел Элизабет, выйдя в зал прибытия, и озабоченно подумал, что она, должно быть, не слышала сообщения, которое я наговорил на ее автоответчик перед тем, как взойти на борт самолета. Я обескураженно стоял, оглядываясь по сторонам, в потоке

нетерпеливо толкающих меня пассажиров, когда ко мне подошла улыбающаяся молодая женщина. Сперва я узнал ее улыбку. Она подстриглась: теперь ее волнистые золотисто-каштановые волосы доходили лишь до середины шеи, и на ней был черный приталенный жакет, короткая черная юбочка и туфли на высоких каблуках, из-за которых она выглядела на полголовы выше меня. Я никогда не видел ее в юбке и вообще никогда не видел ее так хорошо одетой, и пока мы обнимали друг друга, я на минуту вспомнил о той элегантной, одетой в черное женщине, которую украдкой разглядывал в тот день, когда сидел в садике со скульптурами позади Музея современного искусства. Может быть, она так разоделась из-за меня, стремясь ликвидировать контраст между богемной расхристанной девицей и ее пристойно одетым, буржуазного вида любовником? А что, если она хотела этим показать мне, что вполне может войти в мой круг и что готова последовать за мной куда угодно? Но, возможно, есть кто-то другой, кто научил ее заботиться о своей внешности? Может быть, она стремилась стать привлекательной в полных ожидания глазах кого-то другого? Мы стояли так в долгом, неподвижном объятии посреди водоворота пас-

сажиров и багажа, и я вдыхал неожиданный, незнакомый аромат духов, исходивший от ее шеи. Мы сидели в такси, и она посмеивалась над моим удивлением при виде ее нового облика, а я ласкал ее обнаженную худенькую шею, и она расспрашивала меня насчет моей книги и рассказывала о своей прошедшей выставке и о путешествии по Юкатану, которое в ее изложении вдруг превратилось в долгое экзотическое приключение, словно и не было у нее никаких проблем с желудком. Внезапно все оказалось конкретным — и эта поездка в такси через Бруклин, и разговор о том о сем. Все было слишком конкретно. Она была почти пугающе красива, и ее новая, холодноватая элегантность встревожила меня, словно это было первое предупреждение о том, что все пойдет не так, как я надеялся, хотя она прижималась ко мне и прислоняла свою голову к моей. Но поначалу было нечто эйфорическое в нашей встрече, как будто мы отринули весь мир и все, что в минувшие месяцы мешало нам быть вместе, и мы едва могли дождаться, когда такси остановилось перед ее подъездом. Мы не выпускали друг друга из объятий до глубокой ночи, вспотевшие и задыхающиеся. Она вышла в ванную, а я остался лежать, изнемо-

женный перелетом и нашей бурной встречей. Кошка бесшумно кралась, кружа по голому полу, и осторожно принюхивалась к нашей одежде, которая лежала, сваленная бесформенной грудой. Я слышал, как вода лилась в ванну, сперва с твердым, металлическим звуком, а затем с мягким всплеском, по мере того как ванна наполнялась. Ржавые краны гудели, а потом все стихло. Я прислушивался к отдаленным полицейским сиренам, голосам, которые выкрикивали что-то по-испански на улице, и к звуку машин, проезжавших время от времени мимо, из которых доносились звуки техномузыки. Ночь была теплая, и окна в доме напротив были распахнуты настежь. В одном из них виден был мужчина, собирающийся бриться, хотя был четвертый час ночи; из другого доносились звуки медленного танго, и я узнал восторженное, страстное банджо Астора Пьяццоллы. В последний раз я слышал эту пластинку много лет назад.

Когда я вошел в ванную, Элизабет лежала в воде, с лицом, прикрытым махровой мочалкой. Зеленоватая вода немного искажала погруженное в нее тело, и оно казалось плоским, как фотография. Влажная махровая ткань приникла к ее носу и векам, точно маска. Я сел на край ван-

ны и сказал, что размышлял о том, о чем она не раз упоминала. О ее возможном переезде обратно в Копенгаген. Из крана капало, и капли, достигая водной поверхности, размеренно отделяли минуты тишины, наступавшей в промежутках. На водной глади возникали небольшие круги, они дрожали и искажали отражение ее неподвижного узкого тела. Я сказал, что люблю ее, что хочу быть только с ней, что решил уйти от Астрид, но капли лишь продолжали отмерять секунды, кап, кап, каждую секунду, как это обычно бывает. Осторожно я взялся за край махровой мочалки под ее подбородком и потянул за него, так что открылось лицо. Веки были сомкнуты, и она долго продолжала так лежать неподвижно, а потом разомкнула их наконец и глянула на меня своими блеклыми, серыми глазами.

И так наши часы, проведенные вместе, самые драгоценные для нас часы, все же не имели особых последствий. Неожиданное взаимопонимание, внезапно возникшая близость в отдельные моменты все же не превратилась в союз, в обещание таких же часов в будущем. Эти часы не могли быть связаны воедино, они не могли стать нашей историей, а если и стали, то в данном случае — историей, которая постоянно

завершалась и постоянно начиналась заново, пока однажды вечером не оборвалась на полуслове, так же неожиданно, как началась, когда я пять месяцев назад схватил ее руку, пока мы стояли, глядя на реку Гудзон.

Семь лет спустя, когда я стоял, замечтавшись, перед холодноватыми, монохромными абстракциями Элизабет в одной из галерей Сохо, ко мне подошел человек моего возраста и спросил, знакомы ли мне эти картины. Я сказал, что я старый друг художницы, но что в последние годы мы потеряли друг друга из виду. Он представился как ее торговый агент, и мы разговорились. Она жила в Вермонте, в сельской глуши, в большом доме вместе со своим мужем и их маленьким сыном. Он был скульптором, очень талантливым. Я заинтересованно кивал, слушая его рассказ. Торговый агент Элизабет показал мне фотографию, которая висела на доске объявлений над его столом в одном из задних помещений. Это был моментальный снимок, сделанный в вечернее время, незадолго перед заходом солнца, перед деревянным домом, выкрашенным белой краской. Был причудливый контраст между освещением и сернисто-желтым отблеском на узком отрезке неба позади дома. Я вспомнил об одиноких

американских домах на фоне вечернего неба, которые встречал на картинах Хоппера. Глаза снятых на снимке людей казались красноватыми — черноволосого парнишки в бейсбольных рукавицах и с загорелыми руками, смуглого человека с черной окладистой бородой, который стоял позади мальчика, положив руки ему на плечи, и Элизабет, которая стояла рядом с ним в старомодном, цветастом летнем платье, чуть склонив голову, так что щека ее оказалась прислоненной к щеке мужа. Она все еще была с короткой стрижкой и выглядела чуть старше, чем тогда. Она улыбалась, глядя в камеру красноватыми зрачками. Она была похожа на себя, эта улыбающаяся женщина, и все же это была не та, которая сентябрьской ночью семь лет назад лежала в ванне и смотрела на меня ничего не выражающими серыми глазами. Меня удивляло, что я был готов перевернуть вверх тормашками мою жизнь ради того, чтобы быть вместе с ней, хотя мы, в сущности, совсем не знали друг друга и лишь провели вместе несколько недель весной. Для меня этого оказалось достаточно, настолько ничтожными были мои представления о самом себе и о том, где мое место. Они, эти представления, оказались столь же невесомыми, как картины и слова.

Разумеется, мне стало больно, но не до такой степени, как я воображал, когда она доходчиво объяснила мне, что это, пожалуй, не то, о чем она думала, и не потому, что есть кто-то другой, с кем ей хотелось бы быть больше, чем со мной. Просто ей нравится жить одной, и к тому же она решила остаться в Нью-Йорке. Элизабет даже уронила слезинку из-за меня, в виде небольшой жертвы в честь той красивой истории, которую я о нас сочинил, а я поцелуем снял у нее со щеки эту слезинку и пришел в себя. Возможно, инспектор музеев был все-таки прав? Возможно, я и впрямь был всего лишь одним из мужчин в веренице других, которых вдруг увидел перед собой? В длинной, нетерпеливой, толкающейся очереди, протянувшейся по всей Первой авеню? Я никогда этого не узнал, да теперь это и неважно. На следующий день я поселился в дешевом отеле в районе Маленькой Италии, но мы пару раз сходили вместе в ресторан и говорили так же, как в начале нашего знакомства, о нью-йоркской школе и обо всем, что приходило нам в голову, и снова, как и прежде, чувствовали, что находимся на одной и той же длине волны. И если бы я не обременил создавшееся между нами равновесие своими несвоевременными и решительными планами

на будущее, мы, возможно, покувыркались бы еще с недельку на ее матрасе под наблюдением совершенно индифферентной кошки, потому что она действительно любила меня, между нами и впрямь пробегала искра, когда мы были вместе. Было лишь то, что было, и не более того. В тот день, когда я уезжал, мы позавтракали вместе на Спринг-стрит, там, где мы встретились в первый раз. Потом мы постояли немного, глядя друг на друга на углу Западного Бродвея, после чего я подозвал такси. Если бы она в этот момент изменила свое решение, все могло бы оказаться иначе. Но она лишь дружески похлопала меня и сказала, что я должен беречь себя. Мне хотелось сказать ей то же самое, но я удовольствовался тем что улыбнулся по-отечески и поцеловал ее в лоб. Потом я сел в такси и велел везти себя в аэропорт. Симпатичная леди, но очень уж худая, сказал мне шофер по-английски, но с неистребимым пакистанским акцентом. Да, очень симпатичная, ответил я, повернувшись на заднем сиденье, чтобы бросить последний взгляд через заднее стекло на ее высокую узкую фигуру, шедшую широким, быстрым шагом между другими пешеходами и минуту спустя ставшую неразличимой среди силуэтов движущихся людей.

9

Астрид провела в Порту всего одну ночь, а затем продолжила путь на юг. Судя по выписке из банка, она снова использовала кредитную карточку на бензоколонке перед Авейру, а затем позже позавтракала в Коимбре. В тот же вечер она поселилась в отеле в Лиссабоне, где мы прожили неделю в Граса, с видом на город и реку. Это было осенью семь лет назад, когда я вернулся домой из Нью-Йорка во второй раз так, словно бы ничего не случилось. Перед тем как покинуть Порту, она, возможно, выехала на Матозиньюш, к пустынному пляжу с нефтяными цистернами и закрытыми обветшалыми бараками, с кафе и кабинками для переодевания. Может быть, она пошла туда, куда мы когда-то шли вместе в ветреную погоду, вдыхая запах соли и водорослей, к прибою, который бился о берег с оглушительными всплесками, желтый от вихрящегося песка. Быть может, в тот день также было мглисто, и из-за тумана она не могла видеть горизонта, а видела лишь тусклый, тревожный блеск волн, которые отливали медью вдали, там, где море и туман сливались воедино.

Я предложил это еще в машине, когда она встретила меня в аэропорту Каструп. Сказал, что хочу, чтобы мы отправились в Португалию, вдвоем, только она и я. Я не знаю, почему предложил именно Португалию, возможно, потому, что мы раньше там никогда не бывали. Эта идея пришла мне в голову еще в самолете, когда я рассеянно листал журнал авиакомпании и рассматривал карту мира с двумя полушариями, обрезанными и сложенными, точно крылья бабочки, точно два разделенных мира, связанные лишь маршрутами авиакомпании, обозначенными красными линиями, которые пересекали друг друга, расходясь от узловых пунктов в больших городах. Я поместил палец на Нью-Йорке, перед Кони-Айлендом, и провел прямую линию через Атлантический океан между сороковым и сорок первым градусом северной широты и достиг побережья у Порту. Год был напряженным, сказал я, с моей книгой и прочим, так что нам с ней надо немного побыть одним. Быть может, мы уговорим мою мать переехать на это время к нам, а когда она будет по вечерам в театре, то Симон уже достаточно взрослый мальчик, чтобы позаботиться о Розе. Астрид улыбнулась с некоторым удивлением, ведя машину и следя за транспортом. Почему

бы и нет?

В самолете, когда мы летели сквозь пустыню потемневшего неба, мной овладела усталость, и я подивился самому себе. Как это все могло случиться? Как я мог отдать свою жизнь в длинные узкие руки, можно сказать, совершенно незнакомой женщины и предоставить ей распоряжаться ею? Может быть, все-таки Элизабет явилась лишь предлогом, толчком? Быть может, я уже годами, сам не догадываясь об этом, постепенно отдалялся от Астрид? Я снова вспомнил разговор с моей матерью в тот день, когда мы гуляли сперва по пляжу, а потом в лесочке с изогнутыми сосенками. Быть может, она была права, и может, мне следовало обдумать свои не имевшие ответа вопросы на кожаном диване с обивкой коньячного цвета в снятой чужой квартире с темным кафелем в ванной? Но от этого ни Астрид, ни я не стали бы счастливее, сказал я себе. Может, и вправду мысль об этом так расстроила меня именно из-за этих темных кафельных плиток? Перспектива стать этаким неутешным одиночкой, который разогревает остывшие готовые блюда в микроволновой печи, принадлежащей другому, и потерянно смотрит в окно на дождливую улицу? Его бездомность, его одиночество в череде дней,

заполненных пустыми заботами? Но будем ли мы счастливее, если станем продолжать нашу совместную жизнь? И я снова вспомнил вопрос, который Инес задала мне несколько лет назад, когда мы сидели в кафе на площади Альма. Она спросила, счастлив ли я с Астрид. С тех пор вопрос этот маячил где-то на заднем плане, а дни между тем шли своим чередом. Он сопровождал меня, словно луна сопровождает на пути человека, едущего ночью в машине, и как бы быстро он ни ехал, ее бледный рябоватый лик движется в боковом стекле, позади мелькающих мимо придорожных деревьев. Это был тот бесцветный, без всяких нюансов вопрос о счастье, который заставил меня поверить, что пришло время бежать от всего и всех.

Но кто задал его? Разве Элизабет, в сущности говоря, не была заместительницей Инес как раз в тот момент, когда я готов был поставить под вопрос всю мою сознательную жизнь? Не была ли Элизабет запоздалым орудием мести за мое давнее, юношеское, уже заплесневелое и дурно пахнущее поражение? А может, на самом деле я назначил Астрид на роль Инес, чтобы было кому мстить? Был ли он моим истинным «я», тот несчастный молодой человек, который стоял у

окна и смотрел, как Инес исчезает в метельной круговерти однажды вечером, давным-давно? Быть может, я уже никогда больше не стал самим собой, после того как его предал и впервые взял в свои ладони лицо Астрид? Или это была моя величайшая иллюзия, когда я думал, что именно он представляет мое изначальное, неиспорченное «я»? И не был ли я в таком случае всего лишь отголоском тех мимолетных искаженных теней, которые возникали в глубине загадочных взглядов самых разных женщин? Может быть, я был всего лишь их изменчивым перевоплощением? Может быть, просто моя усталость, а может быть, тряска над Атлантическим океаном вызвали у меня головокружение и ощущение того, что все мои мысли также были многочисленными масками, которые спадали, одна за другой, во вращающихся спиралях там, во тьме, над Лабрадорским проливом, и я никогда не пробьюсь сквозь все наслоения самообмана и разъяснений?

Астрид, должно быть, прибыла в Лиссабон лишь в конце дня. Если ей дали номер с видом на реку, она наверняка постояла на террасе, глядя на плоские поверхности черепичных крыш между бруствером крепости и рекой, которая столь широка, что ее противоположный берег в

дождливую погоду видится лишь как синеватая, едва различимая полоска. Я представил себе, как она стоит некоторое время с закрытыми глазами, подняв лицо к белесому свету, а дождь моросит, увлажняя ее волосы и орошая щеки и лоб, и проникает сквозь блузку, создавая ощущение, будто чьи-то прохладные кончики пальцев слегка касаются ее плеч. Так она, быть может, сидела, вдыхая запах пыли, растворившейся во влажном воздухе. Так она, может быть, постояла снова, прежде чем войти в комнату и лечь на постель, не сняв одежды. В тот раз, когда мы были вместе, я оставил балконную дверь открытой, хотя было прохладно, и снял туфли с ее ног, прежде чем лечь рядом с нею. Мы еще даже не распаковали вещи. Я положил руку, обняв ее, и спрятал лицо в тень, образовавшуюся между нашими телами. Наше путешествие окончилось, Лиссабон, последний город в Европе, был конечным пунктом поездки. Так сказала она с усталой улыбкой, когда шоссе вывело нас к предместью города с дешевыми, барачного типа домами из бетона. Она лежала на животе с закрытыми глазами, я накрыл ее покрывалом. Она провела по моим волосам спокойным, медленным движением рук, и теплое дыхание из ее ноздрей коснулось моего лица вместе со

слабым запахом пота, ее запахом. Так мы лежали оба, совсем тихо и неподвижно, я — положив руку ей на спину и чувствуя ее дыхание ладонью, как медленное движение поясницы, под теплым участком кожи между блузкой и колготками. Я не знал, уснула ли она. Возможно, Астрид все же заподозрила что-то в моем молчании? Быть может, в ее мыслях возникла набольшая трещина, куда проник холодный воздух? Воздух из чужого мира, который лишь на первый взгляд походил на тот мир, в котором она жила рядом со мной и который мы так долго создавали. Ее мир мог вместиться в мой, но для моего мира не было места в ее, в котором возникло это различие, и потому теперь наши знания больше не были одними и теми же. Могу ли я избежать того, чтобы сделать ее меньше, чем она должна быть? Разве не должен я покинуть ее теперь, когда мы живем в разных мирах? Разве я уже не отнял у нее слишком много времени из-за своего меланхолического эгоизма? По крайней мере я должен был бы рассказать ей о том, что случилось, чтобы она сама могла решить, сможет ли она дышать в том, другом, мире, из которого я рассматривал ее лицо, находящееся столь близко от меня, с закрытыми глазами, словно она спала. Я мог бы

рассказать ей обо всем в ту октябрьскую ночь в Лиссабоне, когда я лежал, прислушиваясь, как струи дождя бьют по плиткам террасы, по стальным жалюзи, опущенным на окнах лавчонок, по мотороллерам, проносящимся по Руа-Сеньора-ду-Монти. Я ничего не сказал, и это было мое самое большое предательство. Предательство было не в том, что я готов был бросить ее ради другой женщины, а в том, что я вернулся домой и проделал весь этот путь в Лиссабон вместе с нею. В том, что я приполз обратно с моим тайным, сдавленным поражением, словно речь шла о небольшом коротком замыкании, о незначительной технической неполадке. Я лежал здесь, в конце нашего пути, и молчал, точно мне нечего было сказать. Как же так случилось, что я не оставил ее? Почему трусливо вернулся обратно, когда мое приключение закончилось подобно аборту и было выскоблено, как и все другие упущенные возможности и обманутые ожидания, которые часто случаются на нашем пути сквозь череду лет. Быть может, я вернулся обратно из-за жизненных удобств? Из страха перед прежним безутешным одиночеством, которое все еще так хорошо помнил? Наверняка. Но не только.

Когда я той дождливой ночью в Лиссабоне,

лежа рядом с Астрид, дремал в полутемном номере отеля, обессиленный после долгой поездки в машине, я все никак не мог решить, пробудился ли я от сна или снова впал в спячку после нескольких месяцев бодрствования. Встреча с Астрид была словно пробуждение от моих юных грез об Инес. Встреча с Инес была словно пробуждение от моих детских грез. Когда же я встретился с Элизабет, мне показалось, что я много лет пребывал в спячке. И когда я вернулся к Астрид, мне представилось, что мои грезы о другой жизни были не чем иным, как грезами, вызванными взглядом пары блеклых, серых глаз, которые видели меня тем, кем я был, и никогда не видели кем-то иным. Женатым человеком, который потянулся к ней, — возможно, от скуки, возможно, от отчаяния, а возможно, от того, что она случайно попалась ему на пути. Быть может, я всю мою жизнь провел во сне, а быть может, так мы все проводим свою жизнь до тех пор пока не наступает момент, когда просыпаемся и видим вокруг себя абсолютную пустоту. А возможно, иначе и быть не может, возможно, мы дышим полной грудью только в наших мечтах и пребываем в разных мирах, прижимаясь друг к другу во сне. Так думал я, лежа рядом с Астрид однажды

ночью в Лиссабоне, семь лет назад, а дождь между тем прекратился, и синяя тьма была вокруг нас, и в ночной прохладе я чувствовал ее теплое тело рядом с моим. Она уснула; нахмурила лоб и пробормотала что-то, чего я не смог разобрать, а потом ее лицо стало снова спокойным. Я не мог знать, что она видит во сне. Рука у меня затекла после долгого лежания на ее пояснице. Я осторожно высвободился и встал с постели. Лицо Астрид было неразличимо в темноте и почти неузнаваемо. Я вышел на террасу, зажег сигарету и стал смотреть вниз, на протянувшуюся звездную цепочку уличных фонарей и на автомобильные фары, то возникавшие, то исчезавшие во мраке. Я не мог видеть реку, я только видел ее в своем воображении там, где кончалась цепочка фонарей, поглощенная непроницаемой тьмой, которая простиралась широкой полосой, а затем снова нарушалась слабым мерцанием фонарей на другом берегу.

Тогда, в выставочном салоне, я, должно быть долго стоял, рассматривая фотографию Элизабет ее мужа и их маленького сына, улыбающихся, с красноватыми от вспышки зрачками, стоящих перед своим белым домом в Вермонте. Наверное, слишком долго, потому что вспоминаю, как

торговый агент покашлял и спросил, не хочу ли я взять их адрес. Я отказался, поблагодарив, и покинул галерею на Вустер-стрит. Я пошел в кино, только для того, чтобы быть где-то, среди других людей, и для того, чтобы мне не нужно было что-то говорить или делать, затем поел в японском ресторане, а к вечеру взял такси и поехал обратно к себе в отель на Лексингтон-авеню. Кто знает, быть может, этот беглый взгляд на нынешнюю жизнь Элизабет произвел бы на меня более глубокое впечатление, если бы Астрид ждала меня дома в Копенгагене, если бы я мог позвонить ей из номера отеля, если бы мог рассчитывать, что она возьмет трубку, поскольку в это время она обычно уже возвращалась домой. Возможно, поэтому для меня это был теперь просто любительский снимок женщины, которую я когда-то знал, почти столь же чужую, как незнакомый мне мужчина, который стал ее мужем. Быть может, истина столь удручающе банальна, сколь явно непрочно то значение, которое мы в какой-то отрезок времени придаем чьему-то лицу, сколь ненадежна наша привязанность к чертам, которые какое-то время питают наши ожидания. Изображение Элизабет оказалось для меня столь же безболезненным, как встреча с

Инес, которую я много лет назад увидел в толпе, когда мы с Астрид выходили из кинозала. Если я все же немного погрустнел при встрече с огнем, который когда-то пылал во мне, то это было не только потому, что он превратился в пепел, но также и потому, что он так легко погас. Так же основательно я сжег самого себя, и даже если не мог вызвать в памяти свою тогдашнюю боль, по крайней мере помнил, что когда-то мне было очень больно. Теперь я жаждал вызвать в своем воображении Астрид. Я поднял трубку и набрал наш домашний номер — никогда ведь нельзя знать наверняка. Слушая гудок, я вдруг увидел свое отражение в погасшем экране телевизора — серый, сгорбленный человек, сидящий на краю постели в безликом номере отеля. Я схватил дистанционный пульт и включил телевизор, только чтобы больше не лицезреть этот одинокий, безымянный силуэт на выпуклом стекле экрана. Я приглушил звук и стал рассеянно смотреть на нечеткие изображения репортажа. Река вышла из берегов, я не мог понять, где это произошло. Деревья, дорожные знаки, крыши домов беспомощно колыхались на поверхности мутной воды. Почему я не кладу трубку? Я увидел перед собой нашу пустую квартиру, темные окна, выходящие

на озеро и фасады домов на противоположном берегу с рядами освещенных окон. А вдруг Астрид все же вернулась домой? Военный вертолет неподвижно завис в воздухе, и воздушные струи от вращения пропеллера вспучивали воду небольшими волнами, которые расходились во все стороны от лодки подплывшей к верхнему этажу одного из домов. Оттуда извлекли на носилках и стали поднимать вверх к вертолету чью-то накрытую, неподвижную, как мумия, фигуру, и во время подъема носилки медленно вращались. Вдруг на другом конце провода ответили. Это была Роза. Я разбудил ее, у нас дома было шесть часов утра. По голосу я мог слышать, что она рада моему звонку. Я спросил ее, вернулась ли она обратно домой. Она рассмеялась. Просто немного устала от своих возлюбленных и хочет некоторое время отдохнуть. А что, их у нее много? Она снова рассмеялась. Все-то мне надо знать! Я спросил, не знает ли она чего об Астрид. Репортер стоял, серьезно глядя в камеру, говорил что-то в микрофон, беззвучно шевеля губами. Она пробовала звонить Гунилле в Стокгольм, но никто не отвечает, так что они, должно быть, все еще живут в шхерах. По ее мнению, это здорово, что мы вот так догадались разъехаться в разные стороны и

немного отдохнуть друг от друга. На репортере были болотные сапоги, он стоял в воде среди домов затопленного города и продолжал шевелить губами. Но зато Симон звонил из Болоньи, там он встретил девушку, в которую втрескался по уши, так что трудно рассчитывать на то, что мы увидим его дома в ближайшее время. Роза сказала, что приедет за мной в аэропорт, я нашел свой билет и вслух прочитал ей номер рейса и время прибытия самолета.

Я продолжал сидеть перед экраном телевизора, глядя на меняющийся, безостановочный поток людей, которые говорили что-то или двигались на усеченных, меняющихся картинах, изображающих разные уголки мира. Было уже поздно, и я чувствовал себя усталым, но знал, что если лягу в постель, то все равно не усну. Я подумал о том что раньше сравнивал время с рекой, которая на первый взгляд не меняется, но никогда не бывает одной и той же. Я попробовал восстановить в памяти те семь лет, которые прошли с того момента, когда мы с Астрид отправились вместе в Лиссабон и бродили без цели, идя рядом друг с другом по узким улочкам Байру-Алту и Алфама между старыми, облезлыми и дребезжащими трамваями и закопченными геометрическими или органиче-

скими орнаментами на изразцах фасадов. За эти семь лет ничего особенного не произошло. Время шло своим чередом, дети повзрослели, а мы сами стали чуть-чуть старее, Астрид монтировала свои фильмы, а я писал о своих художниках. Я не мог видеть нас, месяцы и годы текли бесформенной, изменчивой пеной, и я представлял себе нас лишь в разрозненных обрывках часов и дней, которые скукоживались и сворачивались, словно увядшие листья в завихрениях потока, прежде чем исчезнуть из виду. Когда я попутно вспоминал об Элизабет, это выглядело так, как бывает, когда вспоминаешь какую-нибудь невероятную историю рассказанную сперва с покачиванием головы, а затем с пожатием плеч. Точно с годами не видишь большой разницы в том, пережил ли ты эти события сам или лишь услышал о них или увидел их по телевизору. Был ли это действительно я, или я был как бы вне себя, охваченный полугодовым преходящим помешательством, последним мятежным, неукротимым порывом, прежде чем наконец стать взрослым человеком? По прошествии нескольких месяцев я даже почувствовал облегчение от того, что пощадил Астрид и избавил ее от рассказа о моих эскападах. Зачем бы я стал ранить ее без всякой необходимости,

когда теперь уже сам преодолел свои фантазии о новой другой жизни? Так успокаивал я свою уязвленную совесть. Я все еще мог чувствовать смущение, когда Астрид отвечала на мой взгляд взглядом узких глаз. Я стыдился не только своего предательства, но также и предположения, что на самом деле мог помыслить о том, чтобы бежать от самого себя и стать кем-то другим, а не тем, кем я стал за все эти годы, проведенные вместе с ней и детьми. Кем бы я мог быть? Если бы не принадлежал этому дому, не жил рядом с Астрид в квартире, выходящей окнами на озера. Кем? Когда дети перестали нуждаться в нас и стали справляться сами, дни показались нам длиннее, чем прежде, они не были больше столь плотно заполненными, и когда мы встречались по вечерам в тихой квартире, то чувствовали некоторое смущение, некоторую озадаченность тем, что время ушло. Мы очутились в более спокойном, более свободном ритме прощаний и встреч, поскольку теперь вдруг ощутили свободу и могли углубиться каждый в свои проблемы, и часто делали то, что нам было удобно, поскольку теперь не имело особого значения, когда мы точно будем дома.

Я уже давно перестал спрашивать себя счастлив ли я. Не было необходимости да и смысла

спрашивать об этом. Ведь нельзя же быть счастливым постоянно, задыхаясь и захлебываясь в одном долгом судорожном спазме счастья с самого утра, когда встаешь с постели, до позднего вечера, когда ложишься и засыпаешь с идиотской улыбкой на слюнявых губах. Я подумал о своей матери, которая постоянно пыталась вести себя так, словно живет на вулкане. Вероятно, так оно и было, только жила она на потухшем вулкане, с опустевшим кратером и застывшей лавой. Быть может, вопрос с самого начала был поставлен неправильно? Был ли я счастлив? Быть может, я потянулся к Элизабет, потому что поверил, что она сделает меня счастливым? Скорее, я потянулся к ней, чтобы бежать от своего счастья, в припадке клаустрофобии. Еще будучи ребенком, я чувствовал беспокойство, когда слышал, как, согласно описаниям Библии, выглядит рай. Мне казалось, что там должно быть скучно со всеми этими красивыми песнопениями и беспечной жизнью, и, возможно, именно пресный привкус вечности вызвал у меня беспокойство и заставил предаться бунтарским мыслям об Элизабет. Возможно, виной тому было ощущение, что я могу заранее представить себе мое собственное будущее вместе с Астрид и детьми, а потом — вдвоем

с ней, когда однажды Симон и Роза больше не будут участвовать ежедневно в нашем житье-бытье. Мне предстояла работа с ее поражениями и победами, скука женатой жизни и преходящие мгновения вновь вспыхивающей супружеской страсти, воскресные поездки на природу, ужины с друзьями, глубокомысленные или поверхностные беседы о том о сем, поездки в отпуск, посещения музеев и кинотеатров и все остальное, на что найдется время. Весь этот объемистый и все-таки на удивление разочаровывающий каталог «интересов и деятельности», содержание которого все эти одинокие, но тем не менее жизнерадостные и экономически независимые бедняги перечисляют на столбцах воскресных газет, там, где помещают объявления о поиске контактов, быть может, в попытке убедить всех в том, что они нормальные люди. Это была перспектива повторений, как бывает, когда сидишь в парижском кафе со стенами из зеркал и видишь, как интерьер отражается, повторяясь в бесконечном зеркальном коридоре, где люди поднимают все тот же бокал вина, держат в пальцах ту же сигарету, снова, и снова, и снова, где сам человек остается все тем же до кончиков ногтей, до конца длинной перспективы. К счастью, это была

лишь еще одна иллюзия, все-таки каждый день не был одним и тем же, когда я по утрам просыпался рядом с Астрид, хотя временами и могло так показаться. И сами мы были не совсем теми же, из года в год, но изменение не было больше вопросом преодоления расстояний, достижения других миров, другой жизни. Это я постепенно стал понимать, когда вернулся к Астрид после моей неудавшейся попытки к бегству.

Изменение не означало, что мы куда-то движемся, оно происходило в наших телах и наших головах. Постепенно и неприметно оно вырисовывалось из монотонных спиралей повторяющейся повседневности, так что я лишь время от времени, с месячными интервалами замечал, что плоское, долговязое тело Розы начало обретать формы, или что над верхней губой Симона образовался темный пушок, а в каштановых волосах Астрид появилась еще одна сероватая полоска, или однажды утром, во время бритья, я вдруг увидел, что мои носогубные складки обозначились резче, стали глубже и длиннее, чем я привык их видеть. Мы не замечали времени — оно двигалось вместе с нами, потому что мы, вероятно, жили одновременно во многих временах. Астрид оставалась все той же молодой

женщиной, которая однажды зимним вечером сидела на заднем сиденье моего такси и утешала своего маленького сына. Я был все тем же молодым человеком, который сидел однажды летней ночью среди кустов шиповника перед простирающимся морем и повторял свое заклинание, свою мантру: «Держись, держись». И одновременно она была той женщиной, которую я хотел оставить, и той женщиной, к которой вернулся; а я был тем человеком, который попеременно смотрел на нее то как на свой спасательный якорь, то как на свою надзирательницу, то как на неожиданное, освобождающее облегчение в моей жизни, то как на бремя, приковавшее меня к ежедневно и вечно вертящимся жерновам однообразного существования. Когда она сидела у телефона и обменивалась сплетнями с Гуниллой из Стокгольма, я хватался за голову и спрашивал себя, как это могло случиться, что она однажды стала моей женщиной. А когда она входила в комнату, еще не сняв пальто, и ставила на подоконник букет белых тюльпанов, и стебли чуть поскрипывали, касаясь друг друга, а она неподвижно застывала у окна, устремляя задумчивый взгляд на покрытую рябью поверхность озера, я спрашивал себя, как это я мог подумать о том,

чтобы оставить ее. Когда я входил в спальню, а она лежала в постели, глядя на меня, обнаженная, и взгляд ее был недвусмысленно ждущим, мне иногда больше всего хотелось лечь к ней спиной и уснуть. А когда однажды мы договорились встретиться в кафе и я увидел ее под дождем, переходящей улицу, за секунду до того, как она увидела меня и рассеянным движением руки отбросила влажную прядь волос со лба, меня вдруг охватило такое неуемное желание, что пришлось сложить газету и прикрыть ею молнию на брюках. Это колебание между различными чувствами вызывалось не сплетнями по телефону, не тюльпанами, не ее наготой и недвусмысленно ждущим взглядом и не рукой, откидывающей пряди волос, оно вызывалось и не только тем, что происходило во мне самом. Причиной был постоянный обмен между тем, что происходило вокруг меня, и тем, что творилось во мне, между настоящим, которое никогда не оставалось неизменным и где мы по-новому смотрели друг на друга, и моими подвижными, изменчивыми воспоминаниями, которые чередой возникали снова и снова, всегда в несколько ином освещении, приобретая несколько иное значение по сравнению с прежними.

Но каким образом я переходил от одного к другому? Как мог сидеть в самолете, уносящем меня на запад через Атлантический океан, и быть уверенным в том, что я должен оставить Астрид ради собственного спасения от удушающей, бесконечной перспективы повторений, а потом всего лишь неделю спустя в самолете, летящем на восток, загореться идеей, чтобы мы с ней вместе отправились в Португалию? После того как Элизабет исчезла из виду в толпе других прохожих и под конец стала лишь силуэтом среди других силуэтов, освещенных сзади на Западном Бродвее, во мне все же оставалась нежность, молчаливая, неуверенная нежность, та, которую я потом чувствовал к Астрид, когда спустя несколько недель лежал, обнимая ее, однажды вечером в Лиссабоне и прислушивался к шуму дождя. Это была нежность при которой ее рот и кожа как бы сами собой притягивали мои губы и руки, старая, привычная близость, которая позволяла просто лежать и дышать рядом друг с другом, пока снаружи была тьма. Нежность, которая охватывала меня как бы сама собой, независимо от того, что думал я в данную минуту о себе, о нас. Мои ладони знали каждый изгиб ее тела, каждый бугорок на нем, словно

они годами формировали друг друга, ее тело и мои руки, мои руки и ее тело. Мои ласки были, скорее, непроницаемыми, но неопровержимыми фактами, чем вопросами, требовавшими ответа. Не имело значения, почему мы любили в те минуты, когда занимались любовью. Я не мог знать, сколь много или сколь мало ей было известно; я и сам больше не знал, что мне думать о случившемся, обо всем том, что происходило во мне с течением лет, о моем вечном, вызывающем головокружение колебании между сомнениями и заклинаниями, между вопросами без ответа и увядающей надеждой. Быть может, и она вынуждена была признать, что с самого начала не имеет значения, каким путем движешься и кто является твоим спутником, потому что неважно, на кого направлена твоя любовь, только бы ты имел возможность свободно плыть по течению по тем следам, по которым ступаешь, и смотреть в те глаза, которые встречают твой взгляд на этом пути. Может быть, и она поняла, что никто не преподнесет тебе твою историю на блюдечке, что ты должен сам ее рассказать и что она никому не ведома, пока не рассказана. И никогда нельзя знать наперед, что она означает и насколько она важна. И историю следует рассказывать

каждый раз по отдельным дням, по отдельным шагам, независимо от того, рассказываешь ли ты ее колеблясь или решительно, доверительно или мучимый сомнениями. Стало быть, она тоже колебалась, она также остановилась, чтобы спросить себя, не заблудилась ли, не позволила ли она увлечь себя по случайным ответвлениям лет руками вовсе не того человека, охваченного слепым тяготением, плыть по течению туда, куда прокладывала ему дорогу своими терпеливыми шагами. И вот однажды утром она все же упаковала чемодан и остановилась в дверях спальни, уже в пальто, в ожидании, пока я проснусь.

Быть может, Астрид в какой-то момент заметила, насколько изменилась она в моих глазах и утвердилась там именно такой, словно таково было ее надлежащее место? Быть может, ей пришлось покинуть меня, ей, которая не жила в одиночестве в течение почти двадцати пяти лет, именно потому, что она настолько уменьшилась под моим отстраненным взглядом, что могла вообще исчезнуть из виду? Или почувствовала, что ей стало чересчур тесно в том пространстве, которое мой взгляд когда-то очертил вокруг нее, и впервые поняла, что может стать сама собой, и подумала, что ей нужно бежать отсюда как мож-

но скорее и как можно дальше? Когда ее осенило, что все же существует некая незнакомая женщина, которая пытается дышать ее ноздрями и ее ртом, женщина, которую я никогда так и не смог разглядеть под знакомыми, привычными чертами? Когда она обнаружила в зеркале глаза этой незнакомки — в зеркале, в котором привыкла встречать свой собственный доверчивый взгляд? Глаза, которые смотрели на нее со сдержанным удивлением, каким образом сформировалась ее жизнь так, словно это происходило во сне. Быть может, она видела их в зеркалах, в номерах отелей, встречавшихся на ее пути, эти незнакомые, полные удивления глаза. Быть может, они подстерегали ее в зеркалах Сан-Себастьяна, Сантьяго-де-Компостела, Порту и Лиссабона. По пути через эти города она, возможно, смотрела на меня с тем же удивлением, которое отражалось в тех незнакомых глазах, и спрашивала себя, действительно ли этого человека она любила и продолжает ли она его любить. Но почему Астрид так долго ждала? Почему не покинула меня еще тогда, чтобы встретиться с незнакомкой, укрывавшейся в глубине зеркал? Быть может, она сомневалась, сможет ли та, другая, дышать без нее, без защитной маски знакомого лица? Быть

может, ждала, что я расскажу ей о том, о чем она уже догадывалась сама в моем молчании, ждала до тех пор, пока не показалось, что это ожидание слишком затянулось? А возможно, она ждала, что я признаюсь, что и я не совсем тот, за кого себя выдавал? Может быть, она уже тогда приняла решение и оставалась со мной из-за детей, пока они не повзрослели настолько, что ущерб от разрыва стал для них минимальным? Я не могу знать, что читала она в моем лице, что угадывала в моем взгляде, когда мы бродили покатыми улицами Байру-Алту, неуверенно и нерешительно, как бродят туристы по чужому городу, потому что бродят, собственно, без определенной цели. Город постоянно был с нами, со своими трамваями и закопченными изразцами, сверкающей рекой и дымом от жаровен торговцев каштанами, город, в котором я надеялся обрести ее снова. Нам не за что было уцепиться здесь, так далеко от места, к которому мы принадлежали, у нас были только слова друг друга, а они так быстро растворялись в чужой, всепоглощающей тишине. У нас были лишь тела друг друга в безымянном гостиничном номере, где я лежал после нашего приезда, ухватившись за нее, точно потерпевший крушение, прислушиваясь к шуму дождя, наблюдая за мерк-

нущим светом и ощущая прохладный ветерок снаружи.

Была ли она счастлива? Сделал ли я ее счастливой? Я думаю, Астрид была счастлива поначалу, когда я в ответ на тревожную новость о ее беременности отреагировал своим юношеским беспечным «Почему нет?» Когда я своим невзвешенным, азартным и самоуверенным «Почему нет?» ухватился за этот шанс и сделал прыжок в неизвестность, а затем, к своему удивлению, обнаружил что я приземлился на обе ноги, после того как месяцами кружил по городу в своем такси, точно одинокий космонавт по орбите вокруг Земли. Я думаю, что сделал ее счастливой в те годы, которые прошли с той летней ночи у моря, когда я сидел на крыльце среди кустов шиповника и, стиснув зубы, заклинал и ее, и наше еще неродившееся дитя, повторяя: «Держись, держись!» Те несколько лет, что Роза была малышкой, я полностью был при ней. Может быть, поэтому я помню их так смутно. Пока девочка училась ходить, пока она начала говорить, я был только охваченным радостью, усталым человеком, который отдался на волю дней и часов, отдался их безумному круговороту. Я находился в центре моей жизни, и никогда столь близко

не был от этого центра, как в ту пору, когда мы с Астрид просто двигались вперед, изо дня в день, не задумываясь о том, куда мы движемся. Я полагаю, она и сама думала так же об этих годах позднее, когда ощутила, как холодный воздух чего-то чужого просачивается сквозь невидимый пробел в ее знании о том, кем мы были. И когда она заметила, что я стал рассеянным, когда мои сомнения стали проявляться в виде смущенного молчания, ускользающего взгляда и чувства неловкости, возникавшего после того, как я ложился в постель рядом с нею.

Должно быть, я уснул. Было совсем темно, когда я проснулся в гостиничном номере на Руа-Сеньора-ду-Монти. На том месте, где я раньше ощущал ладонью ее теплую поясницу, теперь была лишь холодная простыня. Я позвал ее — ее не было. Я посидел немного на краю кровати, глядя на цепочку сверкающих огней Лиссабона под террасой. Такие огни могли быть в любом другом городе. Я надел ботинки и сошел вниз, в регистратуру там мне сказали, что она ушла из отеля полчаса назад. Отель находился в тихом жилом квартале с узкими, покатыми улочками. Я подумал, что, возможно, найду ее, если похожу вокруг. Наверняка она не ушла слишком далеко.

На улице было совсем мало людей. Две женщины средних лет в фартуках стояли у ворот, вполголоса беседуя о чем-то. Молодая пара проехала на мотороллере, девушка прислонилась щекой к спине парня. Вдруг я почувствовал, как холодная тонкая струйка воды проникла в мои волосы и потекла по затылку. Глянув вверх, я увидел старика, который поливал на балконе цветочные горшки. Он поднял руку жестом, в котором ощущалось одновременно и приветствие, и извинение, и сказал несколько слов, которых я не понял. На небольшой площадке среди платанов с ободранной корой несколько мальчишек гоняли по гравию мяч. Гравий неестественно сверкал в свете оранжевых уличных фонарей, пересекаемый вдоль и поперек изогнутыми тенями деревьев, а выцветшие фасады домов походили на кулисы в ярком освещении. Позади ковров, развешанных на балконных оградах, я мог слышать энергичные голоса дикторов из телевизоров и более приглушенные, отдельные голоса, смешивавшиеся со звоном посуды. Я сел на одну из скамеек под платанами и зажег сигарету, слушая восклицания мальчишек, глухие удары мяча о гравий и внезапно ставшие чуждыми звуки, доносящиеся из квартир через открытые двери

балконов. Астрид, разумеется, всего лишь вышла прогуляться, так же как и я, но я уже скучал по ней, чувствуя себя одиноким, как бывало прежде, когда уезжал один в чужой город, оставив ее дома с детьми.

Я попытался представить себе, что я оставил ее, что вместо этой поездки я рассказал бы ей, что произошло в Нью-Йорке. Я вообразил, что рассказал ей об этом, когда она приехала за мной в аэропорт, как часто это делала; или в машине; или позднее, в спальне, после того как мы уложили детей в постель. Была бы она подавлена или просто выслушала бы меня и посмотрела тем же взглядом, которым смотрела, стоя в дверях спальни в день своего отъезда? Как будто она уже все знала. Я представил себе, что рассказал об этом детям. Представил себе плач Розы и немного смущенное молчание Симона. Как я помедлил бы немного, держа Розу в объятиях, а затем вырвался бы и ушел. Я снял бы квартиру, возможно, ту, в которой представлял нашу совместную жизнь с Элизабет. Я забирал бы дочь из квартиры у озера, так же как седоватый кинорежиссер некогда забирал Симона на выходные, пытаясь походить на того, кем он прежде был. Роза стояла бы наготове с сумочкой и куклой под мышкой, и был бы

момент, когда она находилась бы между нами, перед тем как поцеловать на прощанье Астрид и двинуться следом за мной вниз по лестнице, короткий миг, когда Астрид и я были бы вынуждены посмотреть друг другу в глаза. О чем бы мы тогда подумали? О том, что Роза — это все, что нас связывает? Единственное доказательство того, что мы когда-то любили друг друга и верили, что дошли до середины нашей жизни? До того пункта, когда все можно видеть и все рассказать? Быть может, я сидел бы в чужой квартире с кожаными диванами коньячного цвета и журнальными столиками с дымчатой столешницей и вслух читал бы Розе, одновременно думая о том, что она, в сущности, результат недоразумения, ошибочного суждения, необдуманного поступка? В те семь лет, что прошли с того вечера, когда я сидел на небольшой площадке в Граса, где мальчишки с криком гоняли мяч, я не раз спрашивал себя, остался ли я с Астрид только ради детей. В таком случае я должен был бы почувствовать почти облегчение, когда они покинули дом и Астрид однажды утром упаковала свой чемодан и оставила меня в тишине, как до этого они оставили нас обоих. Но когда она покинула меня, я сам начал верить, что головокружение и сомнения

постепенно возмещались тяжестью лет в наших изменившихся телах и загадочной неожиданной нежностью, которая возникала в те моменты, когда мы внезапно как бы вновь видели друг друга.

Если бы я оставил Астрид, то, возможно, поехал бы в Лиссабон один, впервые за десять лет, в город, где никогда прежде не бывал. Сидел бы и смотрел на мальчишек, гоняющих мяч по гравию, на их кричащие маленькие фигурки в оранжевом уличном освещении, и слышал бы разрозненные звуки, доносящиеся из домов, окружавших площадку, звуки работающих телевизоров, звон посуды и смех, звуки чужой жизни. Мне было бы все равно, где я нахожусь, в каком городе, разницы не было бы никакой. Я не знаю, сколько времени так просидел на скамье среди платанов — может быть, пять минут, а может, и десять. Позади я слышал быстрые, тявкающие, прерывистые звуки и глубокий, искаженный электроникой мужской голос из видеомагнитофона. Я обернулся. Парнишка в возрасте Симона стоял, склонившись над видеоэкраном, позади бисерного занавеса, висевшего перед входом в небольшой бар. Позади него, у стойки бара, я увидел Астрид. Она помахала мне рукой. Я вошел внутрь. Она стояла и смотрела на меня. Где она

была? Астрид пожала плечами и усмехнулась своей кривой усмешкой. Здесь. Я убрал волосы с ее лба и провел тыльной стороной руки по ее щеке. В тот же миг я узнал это движение, ощутил рукой ее щеку, точно так же как тогда, когда я стоял перед ней в моей кухне, зимой, давным-давно, когда мы впервые прикоснулись друг к другу. Она, должно быть, тоже узнала этот ласковый жест, потому что снова улыбнулась, медленно склонила голову и прижалась щекой к моей руке. Я охватил пальцами ее затылок и притянул ее к себе. Я ощутил ее тихий голос как слабое, теплое дуновение на моей шее. «Что с тобой? — спросила она. — А ты где был?» Здесь, ответил я. Она испытующе улыбнулась, на этот раз чуть слабее, словно забыла улыбку на губах, задумавшись над тем, что видела.

Роза рассмеялась, когда я пожелал ей спокойной ночи. Она собирается выйти за хлебом к завтраку, раз уж я все равно разбудил ее, и я улыбнулся, вспомнив, сколько времени разделяет нас, ее в квартире у озера — и меня в моем номере отеля на Лексингтон-авеню. Я немного полистал каталог с выставки Эдварда Хоппера в музее Уитни и засмотрелся на репродукцию картины, изображающей молодую женщину, си-

дящую, откинувшись на руки, на кровати, нагую, освещенную солнцем, проникающим из окна, и смотрящую на крыши домов далеким взглядом, быть может, пораженную осенившей ее мыслью о том, что мир есть то, что он есть, от края и до края, под бездонным небом. И что другого нет. Я лег в постель, погасил свет и стал рассматривать бесцветные, приглушенные очертания предметов в отсветах мерцающего экрана телевизора и освещенных контор в здании напротив. Было хорошо лежать в полутьме, так я мог лучше представлять себе Астрид, едва различимые картины разрозненных мгновений, которые блекли под моим взглядом, потому что их свет был светом давно минувших дней. Я подумал о снимках с вертолета, изображавших реку, которая разлилась вширь среди домов и деревьев, полей и лесов. Я подумал, что жизнь — это не просто река, но река, беспрестанно выходящая из берегов, так что приходится спасаться бегством, когда она заливает все за твоей спиной, бежать в будущее с пустыми руками, а река между тем уничтожает твои следы, каждый твой шаг, который ты делаешь, переходя от одной секунды к другой. Лишь твое собственное беспомощное выпадение из времени, леность чувств, иллюзорная сила

воспоминаний и привычек щадят тебя, не давая взглянуть в глаза неизвестности, когда ты утром разлепляешь веки, захлестнутый ширью еще одного неизвестного дня. Каждое утро ты вступаешь в неизвестность, и остаются лишь смутные, изменчивые воспоминания, о которых ты можешь поведать тому, кем себя воображаешь. Бессвязные, отрывочные воспоминания, которые больше не делают различия между тем миром, который ты уже миновал, и тенями, роящимися в твоей дырявой голове, в которой гуляет ветер, пока ты мчишься вперед безостановочно, все дальше и дальше. Иногда ты подавляешь страх падения и оборачиваешься назад, пытаешься оглянуться в последний раз, а потом еще раз, в самый последний раз, потому что не понимаешь того чуждого и неизвестного, что идет тебе навстречу, и слов, которыми можно его определить, не понимаешь, что это безнадежно, и мчишься дальше, прочь от разрушений времени, пока не превращаешься в историю, в которой повествуется обо всем том, что ты утратил.

Я думал, что описание моей истории приблизит меня к тому пункту, когда она покинула меня, но все фразы были лишь способом отдалиться самому, в то время как Астрид удалялась в про-

тивоположном направлении. Я думал, что пишу об Астрид, или об Инес, или об Элизабет ради самой истории, но на самом деле я писал лишь о себе самом, и когда попытался вызвать в памяти свои собственные мысли и чувства в течение всех этих лет, я истолковывал лишь те беглые и неуловимые тени, которые то Астрид, то Инес, то Элизабет по очереди отбрасывали в полушариях моего мозга, изнывающего в одиночестве. Я думал, что знаю Астрид, но, быть может, она начала исчезать уже тогда, когда я зимним вечером, в далекой молодости, поднялся и подошел к молодой женщине, которая стояла в моей кухне и при моем приближении застыла с мокрой, блестящей от влаги тарелкой в руках, глядя во тьму, на свое неясное зеркальное отражение. К этой чужой, неизвестной еще женщине с узкими глазами и кривой усмешкой, которую я посадил в свое такси, а затем поселил в своей квартире только потому, что никто из нас не знал, куда еще можно было ее отвезти. Может, она стала лишь еще более незнакомой, когда обернулась ко мне, а я поднял руку и погладил ее по щеке, и это был первый знак того, что я хочу ее узнать. Быть может, я преградил дорогу собственному взгляду; возможно, мои слова нарушили неслышное дыхание,

живую тишину, которая больше, чем все слова, говорит о другом человеке. Быть может, Астрид сама нарушила ее, когда все последующие дни и годы рассказывала мне отдельные отрывки своей истории, не связанные между собой, суммарные наброски, которые люди рассказывают о себе, в то время как жизнь продолжает повествование, так что все рассказанное — это уже другая история. Потому что ее слова уже были обращены ко мне до того, как они были произнесены, уже сказаны, уже вплетены в ту историю, которую мы теперь вместе рассказывали друг о друге и о нас самих, о тех, кем мы становились. Подобно тому, как были кое-какие вещи, о которых я никогда не рассказывал ей, было наверняка что-то, о чем она никогда не рассказывала мне, и подобно тому, как я хранил что-то втайне, наверняка и она не рассказывала мне о каких-то людях и событиях в своей жизни. Когда она освободила меня от моих грез об Инес, и задолго до того, как я возмечтал о том, чтобы Элизабет снова освободила меня, было время, когда я думал, что она знает все, что можно знать обо мне, знает даже больше, чем я мог знать сам. Что она могла видеть меня таким, каким я был, подобно тому, как я чувствовал, что знаю ее, когда просыпался рядом с нею и шептал

ее имя. Но, возможно, мы никогда не были так слепы, как в те минуты, когда смотрели в глаза друг другу, пытаясь быть узнанными. Мы начали нашу историю сообща, и эта история поглотила все предыдущие, так что они под конец превратились лишь в излишние, оставшиеся в прошлом отклонения в продолжающемся повествовании о нашей совместной жизни. Но в человеке должно быть нечто другое, нечто большее, чем то, что рассказывается, и то, что вообще может быть рассказано. Большая часть исчезает в потоке слов. Оно дает себя знать в паузах, до того, как человек начинает говорить, в молчании, с которым он устремляет взгляд в пол или в окно, не зная толком что сказать. Когда человек исчезает навсегда, после него остается лишь история, но когда уехала Астрид, она оставила меня в пустоте и тишине, которые я заполнил словами, хотя, быть может, мне следовало бы попытаться сохранить эту тишину посредством своего молчания. Но мне остались лишь мои слова, и без них я не мог бы слышать ее молчания в паузах между словами, провалами и трещинами в моем повествовании, когда она уходит в тень, точно так же, как однажды зимним вечером возникла из ничего, ведя за руку малыша.

В день моего возвращения из Нью-Йорка Роза встретила меня в аэропорту, как и обещала. Когда мы вышли из зала прибытия, я направился было к очереди у стоянки такси, но она рассмеялась и побренчала перед моим носом ключами от машины Астрид. Пока я отсутствовал, она сдала экзамен и получила водительские права. Теперь она уже по-настоящему взрослая. Роза вела машину неуверенно и медленно, и в коробке скоростей скрежетало, когда она переключала скорость. Но я помалкивал. Она спросила, можно ли ей одолжить машину на две недели, я ведь все равно не так часто езжу. Она договорилась поехать в Берлин со своим возлюбленным. Теперь все разъезжают. Значит, она уже обзавелась новым возлюбленным? Она рассмеялась и покачала головой. Нет, это все тот же, она решила дать ему шанс. Я подумал об этом художнике с обритой макушкой, который сидел у меня на кухне и с отчаянием смотрел на меня, пока я гладил рубашки. Ну так что, как насчет машины? Астрид сказала, что она может ее взять. Я посмотрел на нее. Астрид? Она улыбнулась, обгоняя автобус, и резко крутанула вправо, чтобы не врезаться в едущий навстречу автомобиль, который приближался к нам со смертоносной скоростью. Я был

ошеломлен как тем, что секунду назад смотрел в глаза смерти, так и беглой репликой дочери. Разве Астрид звонила? Она терпеливо улыбнулась, видимо полагая, что я от усталости уже мало что соображаю. Да, Астрид звонила накануне днем. Она думала, что я уже вернулся. Откуда она звонила? Роза сказала, что не знает, вероятно, из Стокгольма, откуда же еще? Сообщила она матери, когда я вернусь домой? Роза наморщила лоб, пытаясь вспомнить. Нет, мать об этом не спрашивала, а потом они заговорили о другом. Сказала ли Астрид, когда она сама вернется домой? Роза помедлила, обдумывая. Нет, она совсем забыла об этом спросить. Она высадила меня у нашего подъезда и сказала, что ей надо сразу же ехать дальше, ее ждет художник. Дочь поцеловала меня в щеку, и я остался стоять, озабоченно наблюдая, как она вливается в поток транспорта. Издалека было слышно, когда она переключает скорость. Астрид звонила, и наверняка позвонит снова. Возможно, последнее слово еще не сказано.

Я подобрал почту с пола в прихожей и пошел с пачкой посланий к себе в кабинет. Снова и снова просматривал я выписки из счетов с обозначением мест и часов, где Астрид пользовалась кредитной карточкой, — лаконичный перечень

названий и дат ее передвижений. Она оставляла эти следы и, таким образом, привела меня обратно в Лиссабон нашим давним маршрутом. Тут она покидает меня, предоставив меня моим воспоминаниям.

В ту минуту, когда я, все еще не сняв пальто, сижу за своим письменным столом, в комнате, откуда открывается вид на озеро, она проснулась в номере отеля на Руа-Сеньора-ду-Монти. Быть может, она сидит на краю кровати, блуждая взором по открывающемуся из окна усеченному виду на город и реку. Быть может, она медлит немного, прежде чем одеться и уйти. Я представляю себе, как она сидит, освещенная солнечным лучом, откинувшись назад, нагая, и смотрит на крыши Лиссабона, на широкую реку, на противоположный берег, где окна невидимых автомобилей в какие-то доли секунды ловят луч солнца и посылают его отражение обратно через реку, к ней в затененную комнату, словно отрывистые, бессвязные сигналы Морзе. Быть может, она удивляется тому, что все случилось так, точно не могло быть иначе. Словно все еще не завершено. Когда я снова вижу Астрид перед собой в Лиссабоне семь лет назад, я вижу ее идущей в одиночестве и не могу видеть себя. Она

идет одна, там где мы шли с нею, щуря глаза от ясного осеннего солнца, и трамвайные рельсы на горбатых улицах блестят перед нею. Утром, в день нашего приезда, сияло солнце, и мы гуляли по Граса мимо рынка, где уже начали убирать палатки. Мы шли, не зная толком куда, просто шли по направлению к голубеющей реке, которая то и дело открывалась взору среди крыш, когда улицы внезапно оканчивались крутым обрывом. Меня нет на немногочисленных фотографиях, снятых в Лиссабоне: там снята только Астрид, а меня словно и не было. Она сидит на Росиу, на тротуаре перед кафе, выходящим на площадь, по которой дребезжат трамваи, совсем близко от нашего столика, а лучи солнца пронизывают легкий дым, поднимающийся от жаровен торговцев каштанами. Она наклонила голову и устремила взгляд в кофейную чашку, стоящую перед ней, погруженная в какие-то свои мысли. На другом снимке она идет спиной ко мне по тропинке ботанического сада под куполами крон деревьев, которые фильтруют солнечные лучи, так что и тропинка, и ее светлое пальто испещрены желтыми пятнами. Потом она повернула голову, ее лицо видно в профиль и смотрит на меня настороженным взглядом, а в это время крылья какой-то

птицы бьются о густую листву платанов. Вот она стоит, облокотившись о поручни небольшого парома, который перевозит нас в Касильяш, на ней солнцезащитные очки, она улыбается своей белозубой улыбкой, стоя на фоне далекого белого города. Она лишь один раз сфотографировала меня — у развалин церкви на Ларгуду-Карму. На церкви не было крыши, воробьи свободно летали между голыми, поросшими мхом стенами. Я стою в траве под стрельчатыми арками, которые выделяются на фоне неба, словно обглоданные ребра. Я улыбаюсь ей, невидимому фотографу, но она слишком долго наводила резкость, и улыбка получилась застывшей. Собственно, это была уже не улыбка, а напряженная, дурацкая гримаса. Я встречаю свой взгляд, смотрящий словно сквозь нее. Словно своим взглядом на самого себя, в свои глаза, я открываю пустое пространство, в котором она уже исчезла.